



# НЕВА

4  
2020

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Александр КЛИМОВ-ЮЖИН**

Стихи • 3

**Светлана РОЗЕНФЕЛЬД**

Эквилибр на проволоке. *Роман* • 10

**Владимир СПЕКТОР**

Стихи • 104

**Олег ЗАХАРОВ**

Яичница на двоих. Мокрая история. *Рассказы* • 108

**Александр СОБОЛЕВ**

Стихи • 119

### ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

**Николай ХЛЕСТОВ**

Мама приехала. *Рассказ* • 124

### ПЕРЕВОДЫ

**Уильям ШЕКСПИР**

Сонеты.

*Перевод Нины Сапрыгиной* • 127

### ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ

**Дмитрий ЗИНОВЬЕВ**

Страх и ужас оккупации. *Документы и заявления жителей Павловска и Гатчины* • 136

**Юлиан ФРУМКИН-РЫБАКОВ**

Броня России • 148

## ИЗ АРХИВА

Блокада Льва Друскина.  
*Предисловие Александра Щелкина* • 172

## КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Владимир АЛЕЙНИКОВ**

Битов: шестидесятые • 184

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Искусство чтения.** *Вера Харченко.* Фет и космос.  
**Заметки постороннего.** *Наталья Гранцева.* Немцы в Виндзоре. **Книжный остров.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 223

## ПИЛИГРИМ

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

Россия и Запад. *Об отношении Православной церкви к инославным вероисповеданиям. Часть 1* • 244

---

*Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9).  
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

---

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Верстка **Д. Зенченко**

## Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

### КАРТИНКИ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИИ

#### 1

Из всех Тюдоров мне нравится Генрих Восьмой.  
Вот, к примеру: захотел развестись с женой,  
Послал папу и стал Англиканской церкви главой,  
Сам себя развел, а кто не согласен, к ереси значит причастен.  
Впрочем, уже не причастен, распротысь с головой.  
Надоела жена? Отрубил ей голову или объявил сестрой,  
Вновь женился и вновь отрубил жене голову, —  
На щеках румянец, аппетит под стать борову,  
Не соскучишься при жизни такой.  
Анна Болейн, Кромвель, Генри Говард граф Суррей  
Украшали жизнь счастливейшего из королей,  
Пока им тоже не отрубили голову.  
Как-то я шел, а навстречу мне бомж,  
На Генриха каждым мазком похож  
С портрета Гольбейна, с бутылкой портвейна, один, без вельмож.  
Да, Генрих Восьмой просто копия, пьяный, как Томаса Мора утопия.  
В общем, несчастнейший из людей, как некогда счастливейший из королей,  
Хоть безголовый, а все же жить здорово.

#### 2

### Безумие Георга Третьего

*На прогулке Георг Третий очень неожиданно  
вежливо раскланялся с деревом в парке,  
потому что он видел на месте этого дерева  
прусского короля, Фридриха Второго Великого.*

Здравствуйте, Фридрих,  
Тетя Кристина,  
Здравствуйте липа и дуб,  
Здравствуйте, милые граб и осина...  
Все говорят, что я груб,  
Немец, а правлю английским престолом,  
Даже жена у меня —  
Немка, живет по немецким законам,  
Вы-то мне тоже родня.

---

Александр Николаевич Климов родился в городе Южа в 1959 году. Автор четырех поэтических сборников. Один из основателей газеты «Театральный курьер». Лауреат премии «Нового мира» за 2008 год. Живет в Москве.

Вот мне от вас и безумства оковы,  
В Виндзоре разве вольно?!  
Стать англичанином немцу по крови —  
Это совсем не смешно.  
Стал же им Гершель,  
Стал же им Гендель,  
Дед мой покойный Георг.  
Был бы гешефт тут, Всевышний свидетель, —  
Предназначение и долг.  
Я ваши руки и ветки целую,  
Пальцев сжимаю листву,  
Но за Британию, с детства родную,  
Пасть вам мгновенно порву.  
Так что вперед мои вязы и тисы  
С копьями наперевес,  
Стрелы — лещины, ядра — самшиты,  
Славный Бирнамский мой лес.  
Кленов знамена, шпалеры настурций,  
То-то ж я вам покажу  
Наполеонов... Дух революций  
На дух не переносу.  
Прелость корней,  
Вкус земляники,  
Все разнотравье лугов,  
Запах лаванды и вероники —  
Вот что вдыхать я готов.  
Влагу алкают политые грядки,  
Тянется к Пруссии мак,  
Оспой на грунте дождя отпечатки,  
Зонтик раскрыл пастернак.  
Завтра из ревеня с милой Шарлоттой  
Будем варенье варить,  
Виги и Тори, обрыдли до рвоты  
В кознях меня низложить.  
Не облегчает забвением бренди  
Порфироносную боль,  
Рода проклятия бродит в сорбенте,  
Но я английский король.

### 3

#### **Викторианская эпоха**

Жить бы где-нибудь в Брандфорде  
Во времена викторианской эпохи,  
Затеряться между протестантами  
Подальше от суматохи,  
Мегаполисов, омнибусов, вони, смога,  
В церковь ходить в воскресенье —  
Не верить в Бога.

Слушать гимнов пасхальных детское пение,  
Нищим раздавать на паперти сдачу,  
Хорошо бы еще иметь и собственное имение,  
К собственному мнению именье иметь в придачу.  
О, как влекут меня рыжие англичанки,  
Честь охраняют их чопорные джентльмены,  
Все они пуритане, все они пуританки,  
Все они валяются в мыслях на сеновал измены.  
В темных гостиных их на стенах Констебл и Тернер,  
А на фрай-ап на столах — овсянка и пудинг,  
Выезд с семейством на Эр во вторник,  
Луг перед домом пострижен и изумруден.  
Вот экономки в корсете и пышны груди,  
Как неприступностью пальцы влечет шнуровка,  
Но кавалер со спины овладел ей ловко,  
Юбку задрал, пристроился и принудил.  
Стон переходит в шепот, что скажут люди?  
Но интенданту в окне машет чертовка  
(Тайну хранит разврат, добродетель судит),  
Сэру Артуру по вкусу ее шарлотка.

\* \* \*

К тебе по хлоркой отдающим залам  
В сопровожденье главного врача  
Вошел, ты спал, на тумбочке лежала  
Открытой — «Смерть Ивана Ильича».  
Я, пыльный том открыв, как ты в больнице,  
Преобразив в парадную жильё,  
С утра читая, трудно, по крупичам,  
Отсрочил до полуночи ее.  
А дальше я дочитывать не буду,  
Ты не умрешь, он тоже не умрет,  
Я верю чуду, верю в куклу вуду,  
И в то, что главный врач правдиво врет.  
Иду домой жизнь доживать, сосуды  
До блеска чистить чем-то, ждать весны, —  
Как шумный город без меня безлюден,  
Прохожие грустны, дома грустны.

\* \* \*

Природа начиналась за порогом —  
Калитка, поле, лог, река за логом...  
Представим, Бог за речкою живет,

А я иду куриной слепотою,  
Сплошь желтою, как в детстве, беленою,  
И солнце за спиной моей встает.

Вот и река, еще туман слонится,  
Поет в сосне неведомая птица,  
Чуть глуховатый по воде шлепок;

В одну струю вкатились два потока,  
Ныряют плавни, шелестит осока,  
Шумит реки усилившийся ток.

И местный бог к приколу чалит лодку,  
Чтоб обменять улов с утра на водку,  
Подпрыгивают с рыбой норота.

И дальше Бог, конечно, не за чашей,  
А в созерцанье радости творящей  
Без нот, без слов, без кисти и холста.

Зачем меня Он поселил далече  
От пустоши? С тоскою человеческой  
Я вновь и вновь Его воссоздаю:

Ближущим прогретым днем июльским,  
Язем, на глубину стремглав порскнувшим...  
В подробностях, у жизни на краю.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

### **1**

Прощайте, коалы и панды,  
И бурые мишки, прощайте,  
На сушу выходят мутанты,  
Вы стали не нужны, как гланды.

Прощайте, слоны и пичуги,  
В морях — кашалоты-гиганты,  
Прощайте, зверюшки, зверюги,  
Макак большеротые банды.

Мы вас никогда не забудем,  
Вы жертвами стали прогресса,  
Бездушные, алчные люди  
Лишили вас дома и леса.

Прощайте, леса Амазонки,  
Таежные кедры Сибири;  
Колибри, стрекозы и пчелки,  
Магрибские сони в Алжире.

Вверху кислород убывает  
В огромных озоновых дырах,  
Никто никогда не узнает  
О страусах, зебрах, тапирах.

Когда обожрут гурманы,  
А почву сожрут пестициды,  
Щедрее покажутся манны  
В пустыне Христовой акриды.

Когда откачаем все соки,  
А рыба вся сварится в реках,  
Вонючие грязные стоки  
Прольются в сосуд человека.

И станут ходившие прямо  
Без выбора на четвереньки,  
Не имут голодные срама,  
А жизни не купишь за деньги.

Она даже в смерти желанна,  
Горят равнодушные звезды...  
Не нефть на земле первозданна —  
Вода, атмосфера и воздух.

## 2

Осинник — дом лося,  
А кабана — дубравы.  
Без стука, не спросясь  
И со своим уставом  
Мы входим в дом зверей,  
Как в личное жилище;  
Доносится с полей  
Дух гари с пепелища.  
Пустынь на много лет,  
Паль выжженная беса,  
Их дома больше нет  
За узкой кромкой леса.  
Пять елок, вещей вран,  
Изъезженная трасса,  
А к нам придет кабан —  
Так мы его на мясо.  
Сохатому — меж глаз,  
И никакого свинства:  
Давно в чести у нас  
Закон гостеприимства.  
Пожалует лиса,  
С порога снимем шубку,  
А как весна, леса  
Опять закурят трубку.

3

Пусть скорбные Богу осанну поют,  
Пусть страждущих губы молитвы возносят,  
Пусть лбы во спасенье себя разобьют,  
Надежды обрящут — чего не попросят.  
Я вместе с другими прошу:  
Дай нам днесь,  
Покуда дышу,  
И сегодня, и здесь  
Благую о жизни приветствую весть.  
Когда позабудется в клетках геном,  
А сам я нездешней субстанцией стану...  
Вам в рясах расскажут, что будет потом,  
Но я эту жизнь воспевать не устану:  
Не роскошь чертогов, не славу чудес,  
Не церковь и Бога,  
А поле и лес;  
Веселые веси  
Да баржи с зерном  
По Клязьме и Тезе,  
Как вздох о былом.

**ПАСЮК 1984 ГОДА**

Открытия мы ждали магазина,  
Толпа у винно-водочного, слева,  
К восьми все ощутимей подпирала,  
Давленье возрастало за спиной.  
Сейчас не вспомнить, Зоя или Зина  
Ходила среди ящиков неспешно,  
Как маятник, туда-сюда, но стрелки  
Показывали вечность без восьми.  
Ее боготворили ровно столько,  
Насколько ненавидели, она же,  
Публично восседая на витрине,  
С издевкою смотрела на часы.  
Но вот слегка поправила прическу,  
И павою направилась к народу  
Советская бутылок королева, —  
Чуть от дверей отпрянула толпа...

Из глубины двора большая крыса  
Борзей Борзова тотчас стартовала,  
Как будто в братьев Знаменских спорткомплекс  
Ходила бегать крыса КМС.  
Действительно ль гигантскою  
Была она? Но память сохранила:  
Подернутую голову чуть набок,  
Победно устрашающую пасть.



Под женский визг, притоптыванье, хохот  
Пасюк влетел в щель приоткрытой створки,  
По потрясенным наглостью ступеням  
И скрылся прочь, толпа ввалилась вслед.

Доподлинно известно — наши гены  
С крысиными на девяносто схожи  
Процентов, что болеют диабетом  
Они, как мы. Страдают ожиреньем  
И связанною с ним  
Сердечной недостаточностью.  
В общем, они как мы,  
А это значит также,  
Что выпить и они не дураки;  
А пристрастившись, бедные страдают  
Зависимостью алкогольной, м-да.  
Сказать по правде, мало ли бутылок  
О кафель жесткий бьется в магазинах?

У Зины было золотое сердце,  
Хоть алкашей и мужа не любила  
(причина та же), пасюка поила,  
Жалела Зина-Зоя пасюка.  
Однако шваброй вон перед уходом  
На волю выпроваживала гостя,  
Чтоб каждый раз он неизменно в восемь  
С толпою штурмом шел на Ла-Рошель.  
Всех друг,  
Пройдоха, баловень, легенда,  
Он первым был у ленточки,  
Героя недолгий век был все же предрешен.  
Рассказывают, в ростепели краткой,  
Он после джина не дошел до дома,  
Где мать его старушка дожидалась,  
И в лужу ночью шерстью пьяной вмерз.

Кого из века нынешнего вспомню?  
Соседа, что живет напротив:  
Отряд млекопитающих, семейство  
Приматов, вид —  
Ното сариенс, пожалуй все на этом  
(Он дня серей декабрьского).  
Или жену его Аделаиду?  
Отряд млекопитающих, семейство  
Приматов... Дальше продолжать?  
И вот я накануне года мыши  
Год мыши вспомнил прошлого столетья,  
Реального героя пасюка,  
Пар из ноздрей, толпу, мороз и ветер  
И загрустил по тяготам совка.

---

---

Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

# ЭКВИЛИБР НА ПРОВОЛОКЕ

Роман

## ЧАСТЬ 1. «ГВОЗДЬ»

### Глава 1

Он стоял перед матерью, вытянувшись в струнку, прижимая одну руку к порванному карману, а другой пытаясь прикрыть болтающийся на груди клочок пальто, и смотрел в пол, где от мокрых ботинок уже натекла грязная лужа. Свальявшаяся шапка, которую он забыл снять, противно холодила голову. Мать стояла в отдалении, опершись рукой на швабру, которой она только что, перед его приходом, приводила в порядок прихожую. Лицо ее было спокойным, даже чересчур спокойным, и он уже знал, что это означает: мышцы как будто готовились, накапливали силы, чтобы через несколько мгновений одновременно включиться в работу, и тогда лицо, от волос до шеи, превратится в крик, страшнее которого ничего на свете не бывает. Он ждал этого крика, автоматически размазывая ногой лужу на чистом полу.

— Ну что, паразит? — началось, подумал он. — Явился? Я-ви-и-л-ся?! Где шлялся? — швабра с громким стуком упала на пол, и кричащее лицо тут же приблизилось. — С кем дрался, скотина?!

— Я не дрался, — пропищал он, продолжая размазывать лужу.

— Ах, не дрался! — кричало лицо. — А карман где порвал?! — она рванула ткань, и карман повис на нитке. — А это что? — вырванный клочок пальто полетел на пол. — А ботинки? А шапка? А морда твоя красная?! Ах ты, сволочь неблагодарная, да я ж всю душу из тебя вытрясу, да ты ж у меня...

Она никогда его не била, только угрожала, он и не боялся, что побьет, но чувствовал, что от оглушительного крика впадает в транс, словно уплывает куда-то, и это дает ему возможность перетерпеть. Крик был похож на боль, от которой человек может потерять сознание. Болевой шок. Главное, выжить. Шок, транс... Он уже плохо осознавал себя и вдруг произнес словно во сне, в бреду:

— Ты лучше скажи, почему хотела меня сдать в Дом малютки. Да еще в другом городе...

Стало тихо, словно выключили радиоточку.

— Что-о-о? — чуть слышно прошептали ее губы.

— То, что слышала, — спокойно, из глубины транс, произнес он и, медленно скинув пальто и шапку, поплелся в свою комнату, накинул крючок изнутри двери, прямо

---

Светлана Владимировна Розенфельд — петербургский поэт и прозаик, автор пятнадцати книг стихов и прозы и многочисленных публикаций в периодической печати. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета. Родилась в Ленинграде.

в мокрых ботинках свалился на диван и упал в короткий сон. Его разбудило подергивание двери и скрип крючка, он и спал-то всего несколько минут и, когда пошел открывать, все еще чувствовал слабость и легкое головокружение.

— Что ж ты в мокрых ботинках разгуливаешь, грязь разводишь? — уже спокойно спросила мать.

«Лучше бы сказала: простудишься», — подумал он, но это уже не важно, главное, крик иссяк.

Он снял ботинки, поставил у батареи, стащил носки, надел сухие. Она все это время молча стояла у двери, потом присела на стул.

— С чего ты взял?

— Что?

— Насчет Дома малютки.

— Не знаю, я так просто сказал. Ляпнул. А что — было дело?

— Не то что было. Ну, подумала однажды. Хилый ты был, беспокойный. А папаша к крале своей ушел, денег нет, комната в общежитии, крыша в дырках. Весь пол тазами уставлен, и стены трещат. Как жить дальше? Вот и подумала...

— А почему в другой город?

— Чтобы от сердца подальше.

— И что ж передумала?

— Квартиру дали. А чего хорошего? Вот это самое жилье и предложили: мол, малонаселенная квартира, да еще две комнаты получишь, раз у тебя сын, разнополые то есть. А знаешь, как такая малонаселенная квартира в новом доме называется? Жилье с подселенцем. Потому что это должна была быть отдельная квартира, только нищенкам, вроде меня, такая благодать не позволена, вот и сделали коммуналку, подсунули подселенца в третью комнату. Бабку Зину. Так лучше бы десять семей вместе поселить, чем одного подселенца. Хуже нет, жить в коммуналке один на один, без свидетелей. Сколько я от этой Зины натерпелась! Вот помрет, другую поделят или мужика пьющего. А нет бы всю квартиру нам отдать. Кукиш с маслом... Ну, а тогда, когда дали жилье, конечно, счастье было большое. Вот и передумала я отдавать тебя. Только ты-то откуда это можешь знать? Да еще про другой город. Я ж такими мыслями ни с кем не делилась.

— Да говорю же: просто так ляпнул.

— А дрался почему?

— Я не дрался.

Генка не дрался. Он вообще не дрался. Не потому, что не умел или не хотел. Еще как умел да и хотел не раз. Но в драку не лез. Он не боялся, что избыют, когда его охватывала ярость, он чувствовал в себе богатырскую силу, возможно, мог и убить. Но он боялся унижения. В свои двенадцать лет он был мелким, хилым и каким-то узким, тонким, тело без изгибов, как глиняный человечек, которого вылепили в формачке целиком: ноги-палочки, длинные руки, прижатые к телу, плавно переходящему в приплюснутую на макушке головку. Он представлял себе, как кинется в драку, а пацаны будут тесниться вокруг и ржать: «Ишь Гвоздик, шас всех уokoшит! Силища!» Они не знали, какой он сильный на самом деле, потому что он не дрался, страшился насмешек.

Они еще многого о нем не знали, хотя кличка «Гвоздик», данная ему в раннем детстве за внешнее сходство, со временем превратилась в «Гвоздь», а здесь уже прослеживался некий подтекст, некий намек на характер, что-то неясное, но неприятное: острый такой, ржавый гвоздь, влезет — клещами не отодрать. И друзей у него не было, сторонились как-то, да и не очень они были ему нужны, только бы не унижали. Потому и не дрался.

И пришел он домой в тот раз в порванном пальто, грязный и мокрый не после драки, а потому что «шлялся незнамо где» — так мать говорила и хорошо знала эту его привычку не бежать домой после школы, уроки учить, как приличные люди, а болтаться с неизвестными целями, от которых хлопот не меньше, чем от драк. Он все время что-то вытворял. Мать специально отдала Генке маленькую комнату, а сама осталась в проходной, чтобы когда была дома, следить за ним, не выпускать на улицу, хватать вовремя за руку и удерживать от глупостей. Какое там! Если работаешь в магазине в смену, разве уследишь? И вот пожалуйста: то деньги из комода спер, а что купил — неведомо, то целый батон извел на корм диким уткам в пруду за домом, то на лестнице одеколон поджег, то портфель потерял, то вообще в школу не попал, утром ушел, да за партой не появился. От учителей жалобы на какое-то плохое поведение, а чем плохое — не поймешь, плохое — и все тут. И двойки, двойки, двойки...

А в тот день, когда Генка пришел рваный-драный и сказал про Дом малютки, он был в лесу. Возвращаться из школы не хотелось: мать дома, опять начнется... Он вышел из школы и обомлел: середина апреля, и вдруг повалил снег. Ненастоящий какой-то, можно сказать — сказочный, медленный-медленный, задумчивый, густой, и каждая снежинка — размером с ладонь, словно из бумаги вырезана для новогодней елки. Он даже потрогал одну звездочку — нет, настоящая, холодная и влажная, но никак не улетает в сторону, кружит и кружит рядом, а потом легла на грудь и лежит, скучает. Он пошел через стоящий в воздухе снег и сразу стал белым с головы до ног, и уже проклянувшаяся под ногами трава побелела, того и гляди, сугробы выскочат и задымятся белым дымком. Совсем рядом, две остановки на трамвае, был лес, вернее, то, что от него осталось, когда здесь построили новый микрорайон. Генка подумал, что мокрый, почерневший лес, наверно, тоже весь оброс снегом и хорошо бы посмотреть на вернувшуюся с полдороги зиму, вновь разукрасившую деревья, и устроить в лесу метель, стряхивая вьюгу с веток. Он вскочил в трамвай, «зайцем» добрался до лесу и опоздал. Что делать настоящему снегу в апреле? Так, почудил немного и умчался обратно на небо, распластался до прозрачной голубизны и окончательно исчез, растопленный расплавленным желтком солнца. А лес остался перемогаться до настоящей весны: черный, сырой, неуютный.

Генке сразу стало скучно. Он постоял среди деревьев, поискал глазами белые заплатки снега с серыми разводами, притаившиеся внутри ям и канав, посмотрел, прищурившись, на солнце и присвистнул. Высокая ель, достающая аж до самого неба своей мощной макушкой, была залита светом, и длинные, бурые в это время года шишки словно кто-то окунул в розовую краску и сверху посыпал слюдой. Нарвать бы этих шишек, когда еще увидишь такие чудеса? Высоко, ствол мокрый и скользкий. Ну и что? Генка ловкий, на дерево забраться — ему раз плюнуть. Как белка — цоп-цоп своими тонкими руками и ногами, — добрался-таки до макушки, начал срывать цепкими пальцами крепко сидящие на ветках розовые чудеса и пихать в карманы. А потом развеселился: отщипнет шишку, карман подставит и ловит. Р-раз — попала, два — попала! Цирк...

Карман, конечно, не выдержал, надорвался. А потом когда Генка спускался вниз, он покалечил пальто и промок, конечно, весь. Но это ничего. Обидно, что внизу розовые шишки, отражавшие, оказывается, солнце, померкли, слиняли, и Генке расхотелось тащить домой это барахло. Выбросил тут же, под елью. А потом поднял парочку и запихал в карманы брюк — шишки шершавые, колючие, пригодятся для каких-нибудь интересных дел. Зачем ему драться? Он Гвоздь. Умеет постоять за себя.

В соседней комнате было тихо, но это ничего не значило: сейчас она опять задергает дверь, ворвется со своим заранее кричащим лицом, увидит, что он сидит за пустым столом и начнет голосить об уроках, о двойках, об искалеченном пальто и деньгах, ко-

торых нет, о бабе Зине, коммуналке с подселенцем и о поганой жизни, которую сыночек только и знает, что портит, вместо того чтобы помогать матери. Генка на всякий случай достал учебник по математике, тетрадку и ручку, но все никак не мог прийти в себя, слышал ее голос и фразы, которые она выкрикивала. Он не помнил, чтобы мать когда-нибудь улыбалась, тем более смеялась, никогда не слышал от нее слов одобрения или утешения, хотя иногда представлял ее ладонь, мягко поглаживающую его волосы, или руку, обнявшую его за плечо. Воображение на миг подсовывало эти картинки, а потом их словно сдувало ветром ее крика, и Генка знал, что никогда ничего подобного не произойдет. Всегда будет порядок в комнате, недорогая, но сытная еда, чистая одежда, а если он заболит — появятся лекарства на тумбочке и кружка чая перед кроватью на ночь. Но никогда не ляжет на его горячий лоб мягкая ладонь, и лекарства, кинутые с размаху на тумбочку, разлетятся по полу, а кружка с чаем грохнет о дерево и расплещет брызги по столешнице. И все это под обычный, привычный, невыносимый, даже если негромкий, крик: «Говорила — надень шапку, теперь вот валяйся, вся зарплата на таблетки ушла!..», «Потерял шарф, растяпа, вот и мычи, как бык, еще и вовсе голос потеряешь!..», «А нечего было шляться под дождем, ишь устроился, в школу не ходить, уроков не учить!..», «Останешься на второй год — заберу из школы, пойдешь работать, матери помогать!..» Однажды в жару и бреде он, не увидев ее около себя, вдруг решил, что она собирается уйти навсегда, оставить его одного и, ужаснувшись, громко закричал: «Мама!» Она ворвалась из соседней комнаты, стала на пороге, не приблизившись к постели:

— Чего орешь? Ночь на дворе.

Он не ответил, отвернулся к стене и успокоился: никуда она не ушла, ну и ладно, пусть будет, как есть, только бы не уходила...

Может быть, тогда и затеплилась в мозгу мысль о Доме малютки? Генка не помнил. То, что он высказал ей сегодня, родилось неожиданно, как будто ничего подобного он не думал, просто язык сам по себе сболтнул, — а оказывается, так и было. Он сидел за столом, перед раскрытыми учебником и тетрадью и видел четкую картину: вот мать роется в сумочке, достает кошелек, железнодорожный билет, упаковывает в сумку детские вещи, кладет на диван сверток в байковом клетчатом одеяльце — зеленое с белым, — перевязанный оранжевой лентой, садится на стул, упершись руками в колени и опустив голову. Потом картина уплывает.

Генка отчетливо видел и сверток, и клетчатое бело-зеленое одеяльце, и ее опущенную голову в желтых «шестимесячных» кудрях. От этого видения болела голова, и надо было переключиться, забыть. Он попытался решить задачу, ничего, как всегда, не понял, однако знал, что сможет понять, если захочет. Но тогда еще сильнее заболит голова. Зато он безболезненно может проделать другой фокус: придумать ответ на вопрос задачи, а потом посмотреть в конец учебника, и окажется, что ответ совпадает. В этом мало проку, учительница не поверит, скажет, случайно попал в точку или подсмотрел, и двойку вlepит, чтобы не фокусничал. Вот и все достижение.

А он хотел, чтобы его уважали. И знал: есть за что. Ну, ладно, пусть внешностью не вышел, зато многое, другим недоступное, умеет. У него цепкие руки и ноги, он быстрее и ловчее всех лазает на уроках физкультуры по канату, на перекладине крутится, как флюгер на крыше, и по бревну может пробежать на одной ножке, а никто вокруг не восхищается, и учитель выгоняет его с урока, чтобы не обезьянничал. Или вот, например, эти шишки, которые он принес из леса. Завтра на уроке математики он незаметно подложит их в штаны отличника Пашки именно в тот момент, когда этот воображала пойдет к доске объяснять, как он додумался решить эту самую задачу, в которой ничего не понял Генка, хотя знает ответ. Все просто: Пашка сидит рядом, он встанет, и Генка подпихнет шишки через ремень его брюк, почти целиком, только макушки оста-

вит. А уж у доски шишки соскользнут вниз, и этот умник будет крутиться, вертеться и дергать задницей. На радость всему классу. А потом все поймут, — но не докажут! — что это Генка постарался. Может, зауважают тогда? Вряд ли. Завопят: «Это Гвоздь, дурак, придумал». А он начнет оправдываться: «Ничего подобного». Какое уж тут уважение!

А может, все-таки решить эту задачу, выйти завтра к доске вместо Пашки и всех удивить? Для этого нужно напрячься, как от материнского крика, уплыть глубоко в себя и смотреть внимательно на напечатанный текст. Потом взять авторучку, и по бумаге, как дрессированные цирковые лошади, поскачут радостные цифры, то друг за другом, то парами, выстраиваясь в ряды: первая, вторая, третья. А потом они все припадут на передние ноги и поклонятся вместе с дрессировщиком, красивым и стройным, как ответ в задачнике. Генка-Гвоздь умеет проделывать такие штуки, он особенный, только потом очень сильно болит голова, поэтому заслуживать уважение этим способом — себе дороже выходит. И опять же — не верят. Он однажды на контрольной работе решил, принес в жертву голову, которая потом весь день раскалывалась, — и что же? «Гвоздь у Пашки все перекатал, думал, дурак, училка не заметит!» Заметила она, кол поставила — не списывай...

Он сидел за столом, писал на полях тетради каракули и ждал материнского крика: «Опять бездельничаешь? Заберу из школы!..»

## Глава 2

Из школы она его все-таки забрала. Это случилось после того, как он проделал хохму с училкой по физике. Не то что она была злая или вредная, а просто случай подвернулся. Он стоял у доски, мямлил что-то о законе Ома, никак не мог вспомнить формулу, потому что думал о чем-то другом, а эта *дура* расхаживала по классу, и нет бы отправить его на место с двойкой — ждала, как он выпутается. Он смотрел на нее и потешался про себя: старуха, а юбку надела вязаную, всю в дырочках, и в дырки просвечивает розовая рубашка. Красота, да и только! Из-за этих дырок все и произошло. Генка сделал шаг к доске, будто хочет записать формулу, которую будто бы неожиданно вспомнил, качнулся к окну, одним мгновенным движением вырвал из кактуса на подоконнике самую длинную иглу и — р-раз! — всадил ее в центр стула. Одна секунда — дело сделано. Формулу он так и не написал, покрошил мел о доску, положил и пошел к столу за своей долгожданной двойкой. А старуха уже плюхнулась на стул и вопила благим матом — игла, видать, попала прямо в дырку на юбке. А дальше уже взяла дело в свои руки судьба, потому что игла вошла в ее толстую задницу по самое никуда, и потребовалось в больнице делать операцию, — короче, *пожилая учительница получила в школе производственную травму*. А кто виноват? Генка-Гвоздь, хотя никто ничего не видел, но пришлось ему оправдываться в кабинете директора, а мать сидела тут же, молчала и кивала головой. Потом сказала, спокойно так, культурно: «Простите, пожалуйста. Больше ничего такого не повторится. Сына из школы я забираю, пойдет в ПТУ. Может, поумнеет». А уж кричала-то она дома, да так, что бабка Зина в коридоре испугалась и начала вопить с ней на пару. Может, единственный случай, когда они с матерью пели на один голос. Ужас!

ПТУ — это производственно-техническое училище. Генка всегда думал, что там собираются самые тупые никчемные парни и девчонки, которые и таблицу умножения выучить не способны, и десять к десяти прибавить не могут. Мать решила выучить его на токаря, и он думал, что среди пэтэушной шушеры сможет наконец выделиться, показать себя. Оказалось, что не совсем и шушера, не очень-то и тупые, хотя всякие попадались, но были и такие, кому нравилось работать у станка, и такие, которые хотели

поскорее получить специальность и начать зарабатывать для себя, а то и для семьи, не имеющей кормильца. В общем, всякие были: и крутые, и с железными кулаками, с речью, в которой на каждые три слова приходилось два матерных. И покуривали. И пивом баловались. Генка понял, что и здесь, как в школе, трудно ему будет завоевать *заслуженное* уважение, но попробовать стоило. Хорошо было то, что в ПТУ двоек по общеобразовательным предметам не ставили, а ставили тройки с минусами, то есть минус можно было не учитывать. Тройка — хорошая оценка, по крайней мере, мощь материнского крика она снижала, как капли в нос, которые утихомиривают насморк, но почти никогда его не излечивают, — разве что сам пройдет. Насчет «сам пройдет» применительно к материнскому крику у Генки иллюзий не было, но все-таки жить стало полегче. Плохо было другое. С ним в группе оказался сосед по дому, который, кроме школьного пренебрежительного отношения к Генке, притащил с собой в училище его кличку, поэтому с самого начала он снова стал Гвоздем, и, как шлейф, потянулись за этой кличкой его прежние проделки, которые призваны были породить уважение, а оборачивались презрением. Мириться с этим он не хотел.

Со станком Генка подружился быстро, все, что требовалось, освоил, и — раз-раз! — деталька готова, красивая, точно по размерам. Мастер Василь Васильич — пожилой человек с густыми седыми волосами, аккуратно подстриженной бородой и в массивных очках, больше похожий на профессора, чем на мастера производственного обучения, — иной раз подходил к нему, молча стоял рядом несколько секунд и спешил к его соседу, неумехе, у которого вечно ничего не получалось, долго что-то объяснял и показывал. Правда, Генку Васильич иногда хвалил, но как-то не по-профессорски. Ему бы сказать: «Молодец, парень! Золотые у тебя руки». Так нет. Посмотрит, посмотрит, бровями подергает и говорит: «Это надо же! Ни кожи, ни рожи, чего бы ждать от него? А глянь, как фокусничает, хитрец!» Разве так хвалят? От такой похвалы только обидно становится. А около соседа Митьки стоит и стоит, «молодец» да «молодец». Какой «молодец», если брак один?

Генка злился. И больше на Митьку этого, чем на мастера. «Ну, ты ж у меня получишь, растяпа!» — подумал он однажды и тут же, быстренько, когда Митька на миг отвернулся, подбросил ему горсть своих деталей, перемешал одним движением с его косыми уродцами и занялся своим делом, словно и не отвлекался. Васильич подошел к Митьке, посмотрел внимательно, пожал плечами. «Это ты, Митя, так насобачился? Будто не твои руки делали». Митька молчал, видно, и сам удивился, а тут Генка-Гвоздь подошел вразвалочку и небрежно так сказал:

— И как же это понимать? Смотрю, у меня продукции мало. А она, оказывается, вон где, у соседа моего. Ишь, как получается: отвернуться нельзя, тут же продукцию умыкнут. Ставьте, Василь Васильич, меня подальше от этого ворюги.

— Да не брал я у тебя ничего! — завопил Митька. — Я все сам делал, тоже кое-что умею.

— Ладно, — примирительно сказал мастер. — Не пойман — не вор. Только что-то здесь не так. Давай, Гвоздь, переходи на другой станок. А ты, Митя, смотри у меня! Еще раз поймаю — накажу крепко.

Вроде и выкрутился Митька, а осадок, как говорится, остался. Понял же опытный мастер, кто автор деталей, его не проведешь. Здорово! Только зачем же он, солидный человек, Гвоздем своего *лучшего токаря* назвал. Неправильно это, неуважительно.

Об этой истории долго потом судачили. Генка надеялся, что пацаны начнут шельмовать вора, а ему самому как потерпевшему, к тому же классному токарю сочувствовать, но вышло как-то странно.

— Слыхал, что Митька Гвоздю устроил?

— А так этому Гвоздю и надо. Также нашелся персона! Ему бы дать да еще раз поддать, чтобы не чванился.

Почему так? За что?!

Генка охладел к работе и уже механически, по привычке точил и точил свои детали и похвал не ждал. Зато теперь он хотел денег. Ему, ученику, почему-то хорошо платили, и скорее всего, это было делом рук Васильича, неплохого, в сущности, мужика, но в целом — такого, как все. И нечего было о нем думать. А вот денежки — другое дело. Он ничего не тратил на себя, все отдавал матери, и она даже как-то подобрела, стала копить на новый диван — сын заработал. А однажды пришла с работы, хотела пересчитать накопленное — в ящике пусто.

— Ген, а деньги-то где? Куда перепрятал? Забудешь, потом обыщемся.

— Не обыщемся. Нет никаких денег.

— Где ж они?

— А вон в прихожей, видела, велик стоит?

— Какой такой велик?

— Велосипед купил. Имею право.

— А диван?

— А диван и этот хорош.

— Ах, ты...

Она схватила от двери тряпку для пола и долго, методически била сына по лицу, груди, спине — куда попало. В первый и последний раз.

Генка сначала закрывался руками и даже пошел было в наступление, но вдруг увидел, что мать плачет, утирая глаза все той же грязной тряпкой. Он остановился в растерянности.

— Ты чего? Чего плачешь? Подумаешь, диван! Подожди, я тебе столько заработаю, что некуда будет тратить.

— Как же, заработаешь ты, хилытик! Зачем рожала?

Он мигом вспомнил бело-зеленый сверток на диване, оранжевую ленту, сумку с детскими вещами — и заплакал в свои шестнадцать лет, как ребенок, с всхлипываниями и подвываниями. Зачем она его рожала? От кого? Кто этот его неизвестный отец?

Генка долго не мог заснуть в ту ночь, думал об отце. Почему вдруг? Он раньше не сильно рассуждал на эту тему, иногда, в детстве, спрашивал у матери, а она если и отвечала, то одной загадочной фразой о какой-то «кравле», к которой ушел папаша. А расспрашивать начнешь — начинался крик, себе дороже выходило. Да и не все ли равно? На нет — и суда нет. А тут вдруг Генка не мог заснуть и стал думать, в кого он такой уродился, особенный, не как все. Сначала он с удовольствием вспоминал свои проделки: что-то спрятал, что-то подсунул, кого-то обвел вокруг пальца. Вот, к примеру, случай с баскетбольным мячом. Он уже почти засыпал, когда вспомнил ту историю: круги какие-то пошли перед глазами, шарики, мячики — и выкатился этот самый, баскетбольный, Генкина удача, жаль, что никто не оценил. Они играли на уроке физкультуры, Генкина команда проигрывала, даже не то что проигрывала, а счет был равным, опасным. Генка очень хотел выиграть, но как выиграешь в команде лопухов — не помогают, а только мешают. Надо было что-то придумать. Он бежал к сетке, стучал мячом, увертываясь от соперника, потом, не замедляя бега, подсунул мяч в кучу небрежно сваленных матов и продолжал бежать, похлопывая воздух ладонью.

— Эй! — крикнул физрук. — Что случилось? Мяч-то где?

— Как где? — *удивился* Генка. — Вот он. То есть... Ой! Пусто...

— Куда мяч дел? — заорали возбужденные игроки.

— Да здесь он был только что...

— Куда делся?

— Откуда я знаю?

Искали всем классом, во всех углах, под лавками, даже друг друга обыскивали. А в лохматую от старости кучу матов, которые давно пора бы выбросить, никто и не



заглянул. Как может баскетбольный мяч туда закатиться? И вдруг — глядь: лежит искомый спортивный снаряд на виду и покачивается, словно посмеивается: вот он, я.

— А где он был-то? — не понимали мальчишки. — Гвоздь, говори, откуда мяч достал?

— Ниоткуда не доставал. Так и лежит, как лежал.

— Фокус-покус, — сказал физрук и засчитал ничью...

И сколько еще их было, таких случаев! Генка засыпал, а в ушах, как детская считалка, ритмически постукивало: фокус-покус, фокус-покус. Конечно, не всякий так умеет, тут нужны способности. А откуда им взяться, не от матери же? Он погрузился в сон и вдруг снова очнулся, резко сел на кровати. Фокусник! Его папаша был фокусником! Артистом. Его можно найти, надо только разузнать, как это делается. Хотя, конечно, если он артист, мог фамилию сменить, типа Жемчугов или Хрусталева. У них это принято, чтоб красивше звучало. Дураки, что от фамилии меняется? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Однако если фамилия другая, искать трудно. Есть способ, верный, но мучительный. Тот, от которого болит голова, и в сон клонит, и долго потом не можешь прийти в себя. Нет, поиски отца он отложит на потом.

Потом, потом, потом...

Фокус-покус...

### Глава 3

От срочной службы в армии Генка, считай, «откосил»: сам себе устроил какие-то шумы в сердце — опять пришлось напрячься, а потом долго мучиться головной болью. Но стоило того: в армии его бы и вовсе «опустили».

Он пришел на работу в большой инструментальный цех и быстро преуспел, дошел до седьмого разряда, а похвал больше не ждал: что в них толку, тем более что дурацкая кличка «Гвоздь» неведомыми путями пробралась вслед за ним и прилипла, навеки. Не отодрать. И как бы классно он ни работал, премий особенных не давали и на Доску почета не вешали. И к дружбе с ним никто не рвался, словно все время ждали от этого Гвоздя какой-то каверзы. Какой каверзы? Человек работает, деньги зарабатывает, так чего вы хотите? Завидовали, что ли?..

Правда, однажды он все-таки прославился. К его станку подвели группу подростково-практикантов.

— Вот смотрите, как работает Гвоздь, — сказал мастер. — Тьфу-ты, господи! Геннадий. Товарищ Геннадий, токарь седьмого разряда. Смотрите и учитесь.

Товарищ Геннадий, удивленный вниманием к своей персоне, расставил учеников, как положено, чтобы и видно было, и безопасно, — и начал свое волшебство, периодически переставляя пацанов в удобные для обзора места. Мальчишки не очень-то интересовались его работой, скучали, шептались, переминались с ноги на ногу. Он остановил станок, оглядел внимательно всю компанию и спросил:

— Вот скажите-ка, зачем вам нужны эти детали?

Один пацан довольно бестолково начал объяснять назначение изделий.

— Это понятно, — прервал его Генка. — А для личных целей — зачем они вам?

— Для каких личных? — не поняли ребята.

— Вот и я думаю: для каких? На продажу, что ли? Да кто ж их купит?

Они переглядывались, не понимая.

— Ты чего, Гвоздь, несешь? — разозлился мастер.

— А вот смотрите. Давайте, парни, становитесь в ряд. На первый-второй рассчитайтесь! Теперь каждый второй сует руку в карман и достает... Ну, что стоишь? Лезь в карман. И что там? Показывай, показывай... Детальки мои родные, вот что у тебя в кармане. А теперь ты показывай. Опять детальки? Не может быть! А у тебя? Давай-давай

не ломайся. Картина та же. Ну, и зачем вы их набрали? Играть собрались? Они ведь денег стоят, а мне выговор объявят. Это ведь материальные ценности. А?

— Мы не брали, — прошептали испуганные пацаны.

— Они не брали, — заступился мастер. — Чего ты гонишь, Гвоздь?!

Генка выдержал паузу, сокрушенно помотал головой и засмеялся:

— Ладно. Отомрите. Это я вас развеселить хотел, больно уж вы скучные. Ну, что молчите? Фокус я показал. Ничего вы не брали, я сам подсунул в карманы, а никто и не заметил. Фокус-покус.

Пацаны пришли наконец в себя и... заплодировали вместе с мастером. «Надо же, — подумал Генка, — как в цирке». Ему было приятно. Слава, как не научившийся ходить младенец, подползла к нему и уцепилась за рукав. А вы говорите: Гвоздь, Гвоздь...

Хотя теперь главным была для него не слава. Теперь он хотел и мог заработать много денег. Страстное желание разбогатеть возникло в нем в тот момент, когда плачущая мать, аккуратистка и чистюля, принялась вытирать глаза грязной тряпкой с пола. Не слезы ее, а именно эта тряпка, которую она схватила *в отчаянии*, вырвали из него незнакомое доселе чувство жалости. Оно, это чувство, всегда пряталось где-то в душе или в каком-то другом органе, как покалывающая боль, которая в конце концов оборачивается приступом болезни. Генка заболел. Он вдруг понял, что мать несчастна, и не знал почему. Что такое ужасное, кроме «крали», случилось в ее жизни? Нормальная жизнь. Жилье есть, ребенка родила, работает в хорошем месте, в магазине, а потому в доме всегда водятся конфеты, весной появляются первые свежие огурцы и корюшка. И везде у матери знакомые: в парикмахерской — без очереди и свой мастер; водопроводчика вызвать — все исправит, как надо, и не будет болтать, что нет прокладок, он, мол, поставит свою, а это стоит три рубля; в аптеке, если вдруг пропала куда-то вата, — вынесут из подсобки; а если надо купить обувь подешевле — позвонят и скажут, когда ожидается привоз. Чем не жизнь? Разве что мало платят и ребенок получился неудачный? Вот эти два пункта он и собирался исправить, тогда еще не понимая, что человек может быть несчастен от того, что жизнь сложилась не так, как мечталось, что нет в ней ярких красок, а только серость, постоянная борьба за существование, которую приходится вести в одиночку, не имея поддержки, помощи и родного плеча, чтобы уткнуться в него в трудную минуту. Всего этого Генка не понимал, но знал, что может стать хорошим сыном, которым мать будет гордиться, потому что он умеет прилично заработать.

Генка старался. Вот и диван купили, и новым постельным бельем разжились, и чайный сервиз, польский, белый с золотой каймой, о котором мать мечтала, украсил пустующую «горку» буфета. А на Новый год Генка подарил ей фланелевый халат — эксклюзивный товар, купленный им в открывшемся возле дома кооперативе. О себе Генка тоже не забывал. Догадался, что не красота украшает мужчину, а упаковка и ее цена. В первую очередь надо купить джинсы, теперь их носят все приличные мужики, джинсы хорошей марки, импортные, он видел такие на начальнике смены, обтягивающие, а на заднице ярлык «levis». Пошел в другой кооператив, спросил эти самые «levis», говорят: «Мы-то шьем отечественные, но для вас... сейчас посмотрим». И выносят: в упаковочке, красиво сложенные — радость для глаз и души. «А примерить?» — спрашивает Генка. «Ну, как же упаковку портить? Это ваш размер, к тому же товар эластичный, будут сидеть как влитые». И тут у Генки разболелась голова. С чего бы? Он напрягся и молча уставился в лицо продавца.

— Это джинсы фирмы «Levis»?», — спросил строгим начальническим голосом.

— Да, да, вы же видите марку.

— Марку вижу и сейчас приведу милицию. Будем делать экспертизу, что это за «Levis» такой, в какой стране изготовлен.

Упаковка мигом была сметена на пол настороженной рукой продавца.

— Гражданин, что вы здесь стоите? Идите, идите, мы закрываемся на обед.

— Ах ты, козел, — сказал Генка. — Ты что хотел мне подсунуть?

— Не понимаю, о чем вы говорите. У нас обед.

Голова болела страшно, но Генка был доволен. Вот каким точным прибором одарила его природа. Сколько славных дел можно повернуть, имея такое богатство! Если бы только башка не разламывалась...

Джинсы он все-таки купил, правда, у какого-то фарцовщика и за дорого — но уж точно настоящие, фирменные — он это *знал* — и к ним курточку и разные мелочи, даже трусы импортные раздобыл: не сатиновые, «семейные», жуткого фиолетово-голубого цвета, а белые, трикотажные, похожие на плавки. И раздеться при людях не стыдно. Вот только девушкой не обзавелся. Да и немного их было в инструментальном цехе, хотя некоторые женщины, как мужики, работали на станках, и были среди них две молодые, незамужние — он выяснял, осторожно, словно ненароком, интересовался. Только что ж это за девушки, которые в платочках, в синих халатах с масляными пятнами, с грязью под ногтями выполняют мужскую работу и сами постепенно становятся мужиками? Голоса грубые, движения резкие и матерятся через слово. Да еще курят папиросы! Не нравились Генке такие девушки, к тому же он был робок. Подкатишь к такой, а она захохочет на весь цех и пошлет куда подальше: ты чего, Гвоздь, трахнуться хочешь?..

Но одна девушка все-таки привлекла его внимание. Она работала учетчицей, сидела в маленькой застекленной конторке с всегда открытым окошком, и рабочие частенько общались с ней по тем или иным насущным вопросам. Генке, конечно, тоже приходилось. Девушка выглядела скромно, говорила тихим голосом и никогда не грубила. У нее были неяркое курносое лицо и очень круглые большие глаза серо-голубого цвета, распахнутые, как будто она все время удивлялась. Конечно, халат и платочек ей тоже приходилось носить, но иногда платок сползал на затылок, и были видны ее светлые вьющиеся, очень густые волосы, так что Генке один раз захотелось их потрогать: мягкие или жесткие? Но это так, один раз, вообще-то, он на эту Катю не нацеливался, невзрачная какая-то. А однажды, когда он уточнял у нее что-то о своей дневной выработке, она сказала:

— У тебя хорошие показатели, Гвоздик. Молодец!

Если тебя назовут дураком — это обидно. А если скажут: дурачок — получается ласково. Вот так и с этим «Гвоздиком». Не Гвоздь, а Гвоздик. Так его в детстве называли, по-хорошему, без грубых намеков. Из-за этого «Гвоздика» Генка на Катю запал. И из-за волос. И из-за глаз: круглые, внимательные — честные.

Через два дня он снова стоял у окошка, а Катя, листая свою конторскую книгу, никак не могла найти его фамилию. Он смотрел на ее склоненную над книгой голову, любовался золотящимися пышными волосами под сползшим на затылок платочком и редкими, но очень длинными опущенными ресницами, от чего она становилась похожей на спящую девочку. Потом протянул в окошко руку и ткнул пальцем в свою фамилию.

— Ой, вот же она, — сказала девушка. — Как это я пропустила? Все в порядке, Гвоздик, иди обедать.

— А ты, я смотрю, сладкое любишь покушать.

— Почему? — округлила она глаза. — С чего ты взял? Я что, толстая?

— Нет, ты не толстая, а очень даже нормальная. Но сладкоежка. Стесняешься своей слабости, прячешь конфеты?

— Почему прячу? Что-то я не понимаю...

— Ну, я же вижу. Вон, под платочком, что это у тебя?

Она подняла руки к голове, пошевелила волосы и вытащила шоколадный батончик.

— Ой! Откуда это?

— А говоришь: не прятала.

— Да я... Это не мое. Откуда?

— С неба упало, — засмеялся Генка. — Кушай на здоровье.

В другой раз он подsunул ей между страницами ее толстого «гроссбуха» тонкую шоколадку и сказал небрежно:

— А ну-ка глянь, за прошлый месяц я норму выполнил?

— Конечно. Ты всегда выполняешь.

— А ты все-таки проверь.

Она полистала страницы, нашла шоколадку, опять удивилась, потом засмеялась.

— Ну, ты даешь! Когда же успел? А я не заметила.

— Фокус-покус, — сказал Генка...

Он еще не знал женщин и, сталкиваясь с ними на улицах или в метро, порой чувствовал неясное беспокойство, тревожное и одновременно приятное. Он был взрослым мужчиной, хотя по-прежнему хилым и тонким, давно уже брился по утрам и даже подумывал отпустить бороду — для солидности. Пора было стать мужчиной по-настоящему. Однако, странное дело, думая о Кате, он не рисовал мысленно будоражащих воображение картин физического обладания ею, а чувствовал кожей ладони ее густые волосы, и слышал ее тихий голос, и видел ее круглые детские глаза. Все, чего он хотел, — держать ее за руку и чтобы она называла его «Гвоздиком» и удивлялась его фокусам...

Он закончил смену, вышел из ворот завода, порадовался спокойным зимним сумеркам, без большого мороза, снегопада и ветра, который всегда нервировал его и толкал на странные поступки, — и увидел идущую впереди Катю в коротком пальтишке, из-под которого выглядывала юбка, шерстяной шапочке и сапожках на низком каблуке. Через ее плечо были перекинута связанные шнурками ботинки с коньками, что делало девушку похожей на девчонку, спешащую после школьных уроков на каток. Генка не удержался, догнал ее и неслышно пошел рядом — он умел так ходить: чтобы и снег не скрипел под ногами, и никакого движения воздуха не ощущалось. Как кошка. Или тигр.

— Привет спортсменам-разрядникам! — негромко произнес он.

— Ой! — вскрикнула от неожиданности Катя.

— Чего пугаешься? Я не съем. На каток собралась? Рекорды ставить?

— Да какие рекорды? Я просто так, для удовольствия.

— А где катаешься?

— На «Динамо». Там школьников пускают бесплатно. И меня пускают, думаю, я маленькая.

— А меня пустят?

— Вряд ли. Ты все-таки взрослый.

Генке не понравилось это «все-таки» — намек на его худобу и длинные руки и ноги.

— А за деньги мне можно?

— Наверно.

— Так возьми меня с собой. Ты будешь дочкой, а я папашей.

Она засмеялась.

— Тоже мне — папаша. А ты умеешь кататься?

— Я все умею.

- Ну, пошли.
- Завтра, ладно? Коньки возьму.
- Ладно. Хотя можно взять напрокат.
- Нет, лучше свои. И лучше послезавтра. Завтра у меня дела...
- А как тебя зовут, вообще-то?
- Геннадий, — важно представился он. — Можно просто Гена. Значит, договорились?

У него не было коньков, и он никогда в жизни не пробовал кататься. Впрочем, Генку-Гвоздя этот факт не пугал ни капли, он въедливый, если чего захочет, обязательно сделает. Он в тот же день купил в магазине «хоккейки», а назавтра, в свой выходной, пошел с утра на пруд за домом, где зимой по замерзшей поверхности крутилась на «снегурках» и «фигурках» всякая малышня, и, не боясь насмешек, покатил. Ну, не с первого раза, конечно. Он сначала установил себя на льду, покачался на острых подошвах, приспособился. Посмотрел, как малявки сучат ножками, присел чуть-чуть для надежности — и вперед. Пару раз упал, даже не то что упал, — вот бы насмешил! — а коснулся руками льда и резко выпрямился. В общем, поехал худо-бедно. После обеда пришел снова, пригляделся к ребятам постарше, получил свою долю шуточек и насмешек, но выдержал. Вечером, уже в темноте, он оттачивал мастерство, был доволен собой, и возбужден предстоящей завтра авантюрой, и уже чувствовал Катину ладошку в своей руке, и старался не думать о материнском крике, который встретит его в прихожей:

— Где опять шляешься? Зачем купил эти костыли?! Деньги девать некуда?!

Генке было хорошо...

Они вышли на лед, держась за руки, и Генка сначала немного покривлялся, изображая неумеху, впервые оказавшегося на льду, а потом выпрямился, подпрыгнул и понесся вперед, увлекая со собой Катю, — и они помчались вместе, ловко огибая катающихся. Здорово! Катя раскраснелась, пышные волосы, выбившись из-под шапки, покрылись инеем. Снегурочка. Генка не смотрел на нее, но видел и был на седьмом небе от скорости, от ее улыбающейся мордашки и ладошки в красной шерстяной варежке. Потом они остановились около скамейки, Катя плюхнулась на сиденье:

— Уф-ф!

Генка опустил рядом, хотел поправить ее волосы, подпихнуть под шапку, но не решился. А может, он просто оттягивал удовольствие: куда торопиться, зачем все сразу? Успеется.

— Смотри, — он ткнул пальцем в сугроб, притулившийся к скамейке. — Лето пришло.

— Ой! — округлила она глаза. — Цветочек растет... прямо из сугроба. Он, наверно, искусственный, бумажный... Кто-то воткнул...

Он вытащил цветок из сугроба, повертел в руках, понюхал.

— Нет, он живой, настоящий, как только не замерз? Это тебе, Катерина, держи.

— Ой, — опять удивилась она, — а как же? Был один, а теперь три...

— Размножились, — засмеялся он. — Фокус-покус.

Генка решил, что каждый день таскаться с ней на каток — глупо, быстро надоест и ей, и ему самому. И вообще, он не хотел настырничать, он хотел, чтобы она ждала его у своего окошка и мучилась, что он молчит, деловито осведомляется о выработке и фокусов не показывает. Через неделю она спросила:

— А на каток ты ходишь?

— Не-а, я старый, спина болит. И подагра разыгралась.

— Бедненький, — засмеялась она.

Генке нравилось, что по отношению к нему она использует уменьшительно-ласкательные суффиксы. Получалось несколько не жалостливо, а нежно и опять-таки по-детски. О ее возрасте он осторожно узнал, иметь дело с малолеткой было ни к чему.

Оказалось, ей двадцать лет — а глаза круглые, как у куклы, и голос тонкий. Хорошая девчонка, подходящая.

— Слушай, Снегурочка, — сказал он, — я сегодня пообедать не успел. Пойду в кафе после работы. Пойдешь со мной? Музыку послушаем, а то смотрю, ты что-то грустная. Обидел кто?

— Да нет, — покачала она головой, — так просто... Пойдем в чебуречную, я чебуреки люблю.

— Годится, — сказал Генка.

И правда, грустная она сегодня. Узнать бы, что у нее за жизнь, есть ли парень? Или был? Спрашивать ни в коем случае нельзя — вообразит, что он крепко подсел, начнет выпендриваться. Он мог бы узнать, но не хотел, — голова будет болеть, да и зачем? Посмотрим.

Но он в самом деле подсел. Он видел, что рабочие, стоя у окошка, пытаются с ней заигрывать, представлял себе, как она отвечает им тихо и ласково, злился и чувствовал иногда, что кулаки чешутся накостылять трепачу по шее. Он ревновал ко всем, однако держался, виду не подавал, а в кафе был серьезен и деловит, читал меню, сдвинув брови, и когда с тарелки вдруг пропал хлеб, а потом неожиданно появился, только молча пожал плечами. Катя уже не говорила «ой!», а улыбалась и смотрела на него с уважением.

— Какой ты талантливый! Кто тебя научил фокусы показывать?

— От отца передалось.

— А он кто? Артист?

— Да, фокусник в цирке.

— А-а, он тебя учит...

— Нет, он не учит, он все время на гастролях, дома бывает редко. А это уж по наследству передалось.

— Так что же ты у станка стоишь? Шел бы тоже в артисты.

— Кто-то должен стоять у станка, дело делать, а не людей смешить. Рабочий класс — фундамент нашего общества.

— Фундамент, — повторила она и засмеялась.

Нет, не обидно засмеялась, не презрительно, а просто над тем, как он выразился, пафосно, словно строчкой из газеты. Он и хотел ее насмешить.

Потом Генка проводил ее до дома, за руку не брал, молча шел рядом, засунув кулаки в карманы, и думал о том, что на прощание поцелует ее, только не знал, как лучше: в губы или в щечку. Почему-то он больше хотел в нежную, румяную от мороза щечку, но у самой двери, по-прежнему держа руки в карманах, наклонился и едва успел коснуться ее губ, как она вывернулась и, улыбаясь, принялась искать в сумочке ключи. «Девчонка, — подумал Генка с умилением, — стесняется. Или не хочет? Или кто-то есть у нее?» Он мог бы, мог бы узнать, и голова уже начинала болеть в предвкушении того странного *состояния*, которое туманит мозги, но проясняет действительность...

Генка старался как можно реже подходить к ее рабочему месту, чтобы не начали над ним потешаться всевидящие бабы и скабрзные мужики, которым только дай повод потрепаться на щекотливые темы. Он задерживался около Катиного окошка только по делу и на несколько минут, но успевал как-то насмешить или что-нибудь предложить в небрежной форме, походя: то в кино сходить (одному, мол, скучно), то опять же на каток (только другой, посолиднее, в ЦПКиО, например), то покататься на «американских» горах (один боюсь, надо за кого-то держаться, а мамочке некогда). Катя соглашалась, но он чувствовал, что она все время ждет фокусов, а ему надоело развлекать ее, хотелось чего-то другого, бóльшего, а чего именно — он не знал. Генка хотел уверенности.

Он выбрал недорогой, но симпатичный ресторанчик, названный, по двусмысленной моде последних лет, «Мягкое место», — имелись в виду, конечно, стульчики с мягкими сиденьями и общая размягченная атмосфера отдыха. Он пошел туда один, сидел за столиком с бокалом вина и легкой закуской, присмотрелся, прислушался. Оркестр играл что-то несусветное, странный солист с почему-то раскрашенным лицом, перекрикивая визг саксофона и воинственный бой барабана, выкидывал коленца, делал сальто, теребил ширинку и показывал руками что-то непристойное. Потом отдыхающие, подкрепившись и поднабравшись, потихоньку подтянулись к танцевальной площадке — и понеслось. Собственно, ради этого зрелища Генка и пришел сюда. Он хотел научиться танцевать. Оказалось, нехитрое это дело в наше время — танцевать. Не надо обниматься, прижиматься друг к другу, музыку слушать. Можно даже одному сплясать, без партнера. Стой и крути ногами и задницей. Он посмотрел, посмотрел, потом попробовал — нормально, руки и ноги ходят ходуном, можно вприсядку, можно в ладоши бить, можно качаться или вертеться вьюном. Это тебе не вальс или танго, как в старом кино показывают. Он бы и вальс смог, и танго, и краковяк, но не прикасаться — все-таки лучше. Прикасаться он будет потом и не здесь, на людях.

— Премию дали, — буркнул он в Катину окошко. — Надо срочно потратить, а то на мороженое проем. Любишь мороженое? Ешь, — и ловко вытащил «рожок» из ворота своего рабочего халата, со спины.

— Фокус-покус?

— Ага. Так я говорю, деньги надо срочно потратить. Пойдем в ресторан вечером, поедим, потанцуем?

— Ой, нет, Гена. Не могу я сегодня.

И смотрит как-то загадочно: глаза не круглые, а узкие, сощуренные.

— А в субботу? Знаю один хороший кабак. «Мягкое место» называется.

— Как, как?! — прыснула Катя.

— Как услышала, так и называется. Пойдем в субботу?

— Не знаю, Гена. Посмотрим.

Вот тебе и раз! Посмотрим... И улыбается, и глаза щурит.

У Генки болела голова. Он кое-как отработал смену, стараясь не смотреть в сторону Катиной «избушки». И не смотрел. И домой пошел, даже не взглянув в ее сторону. Посмотрим... А что смотреть, и так ясно. Ясно до отвращения. До отчаяния...

Он поужинал и направился в прихожую — одеваться.

— Куда пошел на ночь глядя? — заранее настроиваясь на крик, бросила мать ему в спину.

— Голова болит. Прогуляюсь перед сном.

— Попробуй только в чего-нибудь ввязаться!

— Не ввяжусь. Не бойся.

Нет бы забеспокоиться, таблетку дать. Куда там!

«Это как же получается? — думал он, направляясь к автобусной остановке. — Выходит, не я своей башкой команду, а она мной. Только этого не хватало. Шалишь. Не поеду никуда».

Но он понимал, что поедет.

На катке даже в будний день чувствовался праздник. Каток в городе... С его огнями, перемежающими свет с тенью, как откровение с тайной, оглушительной музыкой, туманящей слова и придающей им двойной, интимный смысл; каток в городе — с его, казалось бы, вечным движением, кружением, круг, из которого всегда можно при желании выскочить или остаться и мчаться, мчаться, не думая о том, что находится вне этого радостного пути. Всегда веселые румяные лица, смех, знакомства. Знакомства...

Генка стоял на «бровке», в тени, засунув руки в карманы, и ждал. Не высматривал ее среди мелькающих фигур, а именно ждал, потому что знал: она появится, она уже летит в его сторону, и он не обрадуется встрече. Румяная. С выбившимися из-под шапки, украшенными инеем волосами. Снегурочка...

Катя не мчалась, не летела — она плыла по льду, медленно, тормозя общее движение и нисколько об этом не беспокоясь. Ее рука в красной варежке покоилась в другой руке, просто отдыхала, нежилась. Касалась. У нее было счастливое лицо. Улыбка, сощуренные глаза и что-то еще, чему нет названия, потому что в этот момент невидимая *душа* проступает сквозь жесткость и неровности кожи, преобразует черты и делает человека неузнаваемым. Катю нельзя было узнать. Не девчонка — женщина. Любящая женщина... Неподалеку от Генки они остановились, обнялись, поцеловались.

Он пошел прочь, ослепленный, оглушенный — опустошенный. Зато голова не болела. Отработала свое и успокоилась.

Назавтра он подошел к Катиному окошку, спросил спокойно, даже не притворяясь, равнодушным, лишенным оттенков голосом:

- Это твой парень?
- Какой?
- Ну тот, вчера на катке. Я вас видел.
- Ты тоже катался?
- Неважно. Так твой?
- Да.
- Что ж не сказала мне?
- Мы в ссоре были. А что говорить?
- Теперь помирились?
- Ага, — и улыбнулась.

Генка не собирался мстить, получилось само собой. Так сложились обстоятельства. Кто-то заглянул в дверь конторки, Катя привстала, оглянулась. Генкина рука вмиг нырнула в окошко и быстро, бесшумно, ровненько вырвала из ее учетной книги лист за вчерашний день. Генка скомкал его, сунул в карман и отошел. Пусть помучается, получит нагоняй от рабочих и от начальства. Так ей и надо. Он не собирался ее наказывать, само получилось....

Он и не подумал вынюхивать, что у нее за парень. Какая разница? Может, он вообще не заводской. Какой-нибудь пижон с мускулами, культурный, шибко грамотный. С такими умниками девчонкам приходится держать ухо востро, подчиняться и шурить глаза, — того и гляди, бросит. А с Генкой-Гвоздем что церемониться? Вернее, с Гвоздиком?

Весь день Генка чувствовал себя беспомощным, пустым, без мыслей в голове. Можно сказать, он вообще себя не чувствовал. Даже обида как будто не проникала в его существо, а кружилась вокруг, только била по ушам неумолчным грохотом инструментального цеха. Генка вяло точил свои детали, автоматически следил за станком и по окончании смены к окошку учетчицы не подошел. Наплевать на выработку, тоже мне счастье — герой труда!

Мать была на работе, и слава богу, только крика ее ему сейчас не хватало, ему была нужна тишина. Да и тишина ни к чему — ничего не было ему нужно. Он схватил коньки, пошел на пруд за домом, — может, полегчает? Но на детском катке стоял галдеж несусветный: мамы пришли с работы, потащили детей дышать свежим воздухом, пользуясь мягкой погодой. Генка представил себе — отрешенно, словно во сне, — что медленно плывет по льду, и Катина ладошка в красной варежке *покоится* на его сильной руке, и морозный воздух обволакивает их со всех сторон, сближая друг с другом.



Когда ты со всех сторон окутан нежной паутиной тонкой морозной накидки, можно и целоваться у людей на глазах, — даже если они видят тебя, ты-то их не видишь!..

Мелкий пацан грохнулся об лед, заревел, и рев его вырвал Генку из сна и поместил обратно в действительность. Он повернулся и пошел в сторону дома, по дороге остановился около мусорного бака и хотел бросить туда свои почти новые коньки, но кто-то извне схватил его за руку. Не кто-то, а он сам, прежний живой Генка-Гвоздь, которому умирать из-за куклы с закрывающимися глазами нет никакого резона. Ну, выбросит он неудачливые коньки, а какой-то олух получит задарма хорошую вещь. Не выйдет.

Назавтра он продал свой спортивный инвентарь в собственном дворе мужчине, систематически по утрам «бегающему от инфаркта». Продал и имел навар, потому что убедил этого борца за здоровый образ жизни, будто коньки особенные, почти волшебные. Тут, конечно, одних слов было недостаточно, нужно было удивить. Генка поставил ботинки на землю, сунул в них руки и покатил на руках по длинной замерзшей луже. Мужчина обалдел и купился. Правильно, Генка-Гвоздь, вернее, Гвоздик всегда был ловким, все мог...

Плохо было то, что он совсем охладел к работе. Да он и раньше не пылал, просто хотел безбедно жить, и это получалось легко. Теперь деньги перестали его интересовать, постоянный шум в цехе раздражал, и окошко учетчицы, которое нельзя было обойти стороной, нервировало своей настойчивой обязательностью.

— Ухожу с завода, — сказал он матери.

— Куда это?

— Пока не знаю.

— Ну, ясно, чего было ждать от такого недоумка. Недолго музыка игралась, недолго фраер танцевал, — последнюю фразу она уже кричала.

#### Глава 4

Генка гулял без определенного направления и цели по какой-то пустынной улице, остановился у щита с объявлениями и бездумно уставился в приклеенные к нему листочки, то небрежные, написанные от руки, то отпечатанные на пишущей машинке или даже типографским шрифтом. Ветер слегка трепал их, шуршал бумагой, и Генке представилось, что собралась компания сплетников, которые нашептывают друг другу свои тайные истории, переговариваются, смеются и хвастают, подвирая. Одно объявление бросилось ему в глаза, потому что было напечатано крупно и на фоне общей болтовни выглядело солидно — как значительный человек, случайно затесавшийся в толпу мелких трепачей. Объявление гласило, что некоему кирпичному заводу требуются специалисты рабочих профессий: фрезеровщики, токари, слесари и прочие другие. Генке это было не интересно: рабочие в цеха требовались постоянно, а он уже наелся, хватит с него. Но в конце списка приютилось требование непонятное: *рабочий в лабораторию физики стекла*. «Физика стекла» звучало серьезно. Не просто «физика» — шут бы с ней, — а *физика стекла*, словосочетание, от которого пахло фундаментальной наукой, причем *стекло* — ключевое слово, звонкое, прозрачное.

Он уже три недели слонялся без работы, почти привык к материнскому ору, но выходное пособие заканчивалось, а жить совсем без денег — скверно. Не у матери же просить, да она и не даст. Генка запомнил адрес и поехал на следующий день. Свободно вошел на территорию завода, огляделся. Точно, кирпичный. На высокой эстакаде мужчины в рабочих спецовках, без пальто и шапок, прямо с вагонеток, руками в уродливых рукавицах выхватывали из раструба печи, скрытой в глубине цеха, дымящиеся

кирпичи и укладывали их на поддоны, которые тут же увозили автопогрузчики. Быстрая работа, горячая — Генке понравилось. Только при чем здесь «физика стекла»?

— А где здесь лаборатория? — спросил он проходящего мимо дядьку.

— Какая лаборатория? — удивился тот.

— Ну, эта, где физику стекла изучают.

— Изучают? У нас здесь работают, а не изучают.

— А в объявлении написано про лабораторию стекла.

— А-а... Так это, наверно, тебе в стекловаренный цех идти. Вон там, видишь, новое здание?

Первое, что он услышал, войдя в здание, — шум, вернее, рев, почище, чем грохот инструментального цеха, так что женщина, к которой он обратился с вопросом о лаборатории, не вдруг его расслышала, а он едва ли не по ее губам поймал ответ: идите наверх — и показала куда, для верности.

Наверху, слава богу, стояла тишина, и искать не пришлось. Прямо перед глазами табличка: *заведующий лабораторией*. Генка и сунулся в эту дверь.

Дама средних лет подняла на него глаза, сняла очки и сказала не очень приветливо, но негромко, а ему показалось, что заорет, как мать: такое у нее было лицо, напряженное и унылое:

— Слушаю вас.

— Я по объявлению, насчет работы, написано: требуется рабочий. А я как раз токарь седьмого разряда, — он показал свое удостоверение.

— При такой высокой квалификации вам бы в цех идти, а не к нам.

— Да я два года в цеху работал, слух подсел, пришлось уволиться.

— А-а... — голос подобрел, и в глазах мелькнуло подобие улыбки. — Пьете?

— В смысле?

— Выпить любите?

— Нет, совсем не пью.

— Прямо уж совсем. Ну ладно, вы нам, наверно, подойдете. Подошли бы мы вам...

— А какая работа?

— Сейчас расскажу. Не торопитесь?

— Нет.

Она начала издали и рассказывала, как сказительница, растягивая слова, словно заинтриговывая. Даже похорошела. «Ишь, артистка», — подумал Генка.

— Ну вот. Завод у нас кирпичный, но вы же знаете, сейчас страна идет по пути индустриального панельного строительства. Что такое железобетонные панели? Серость, неприглядность, скука. Поэтому их облицовывают керамической плиткой, вы это видите повсеместно. Наш замечательный город должен выглядеть красиво. Но надо идти вперед. Правительство нацеливает нас на производство современного строительного материала — мозаичной плитки из стекла. Нашему заводу выпала честь организовать у себя дополнительное производство. Я вам потом его покажу.

— Я видел эти плитки. Они отваливаются от стен, некрасиво выглядит, — неудачно ввернул Генка.

Дама нахмурилась.

— Конечно. Они же не пористые, как керамика. Но есть специальные герметики, над креплением неустанно работает научно-исследовательский институт. А задача нашей лаборатории — контролировать и изучать физические свойства изделий: прочность, термостойкость, морозоустойчивость и прочее.

«Ну, запела», — заскучал Генка, продолжая вглядываться в сказительницу с видом поглощенного сказкой ребенка.

— У нас хорошо оснащенная лаборатория, вы сейчас увидите. Но только сразу скажу, чтобы не терять даром времени. Ставки рабочего у нас нет, вы пойдете по сетке лаборантов, а это очень скромная зарплата. Особенно для токаря седьмого разряда, — она почему-то усмехнулась.

— А сколько в месяц?

Она назвала, Генка внутренне чертыхнулся, но сказал:

— Подойдет. А что надо делать?

— Ну, пойдете.

Она с трудом выбралась из-за стола, взяла из угла трость и, тяжело переваливаясь, заковыляла к выходу. «Калека, — понял Генка, — потому и злая, на судьбу злится. Мать тоже калека, — вдруг подумал он, — хотелось одной жизни, а получилась другая... И я тоже...» — он тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли, и пошел следом за начальницей, искусственно укорачивая шаг.

Идти оказалось недалеко, в соседнюю просторную и светлую комнату, уставленную по периметру незнакомыми Генке приборами. В центре лаборатории за несколькими сдвинутыми столами сидели четыре женщины, читали какие-то бумаги и что-то записывали в конторские книги. «Прикидываются трудягами, — сразу определил Генка. — Тоже мне, научные работники. А сами небось сбились в кучку и трендят о всякой ерунде. Приборы работают, а они языками чешут».

— Это наши лаборанты, — начальница строгим взглядом обвела сидящих за столом дам, и одна тут же вскочила, направилась к прибору и принялась изучать какую-то шкалу с движущейся стрелкой. — А вон за той дверкой — комната инженеров. Вы потом познакомитесь. А пока — нам сюда.

Она открыла еще одну боковую дверь, и они очутились в крошечном светлом помещении, — огромное окно, равное по площади едва ли не самой комнатке, заливало ее зимним застенчивым солнцем, не бьющим нахально в глаза, а словно подсматривающим сбоку. Узорчатые тени танцевали по стенам, и весело поблескивали на длинном, похожем на верстак столе миниатюрный токарный станок и воинственная газовая горелка — взрослые игрушки в уютной детской комнате.

— Вот здесь будет ваше рабочее место, — сказала, натужно улыбаясь, унылая начальница. — Работы не так уж много: по обслуживанию приборов, если что-то выйдет из строя — гайку заменить, втулку, штуцер; кое-какая мужская работа — у нас здесь все женщины. И вот еще: видите, ящик? Сюда из цеха будут приносить «бой» стекла, а вам придется формировать из него образцы для испытаний. Вот на этой мощной горелке будете оплавливать стекло и превращать в аккуратные образцы, так называемые «колбочки».

— Это дело мне незнакомо, — важно сказал Генка.

— Ничего страшного. Научитесь, никакой сложности нет.

— У вас сменный график?

— Нет, что вы! С девяти до шести и один час обеда. У нас приличная столовая. Так будете оформляться или подумаете?

— А что думать? Мне годится пока.

— Тогда пойдём в цех, все-таки познакомитесь с производством, надо знать, зачем и для чего работаешь. Верно ведь?

Генке в цех идти не хотелось. Там этот закладывающий уши шум, который навеивает неприятные воспоминания. Но, с другой стороны, он никогда не видел, как варят стекло. Это, пожалуй, интересно.

Да, интересно. И странно, что обстановка, деловая обстановка обширного пространства, где люди действительно *занимаются делом*, а не прикидываются честными тру-

жениками, ему приятна, от нее веет не тоской по обманувшей его ожидания жизни, а светлой ностальгической грустью по родному инструментальному цеху.

— Вот ванная печь для варки стекла, вот штамповочные пресса для формирования плиток, вот конвейерная печь для охлаждения, — скороговоркой рассказывала начальница.

— *Печь для охлаждения?* — усмехнулся Генка, демонстрируя свою внимательность и гибкость ума.

— Да, да, — опять едва заметно улыбнулась дама. — Стекло — коварный материал, его нельзя охлаждать резко. А здесь его нагревают и медленно, по специальному режиму охлаждают. Это, конечно, не совсем печь, мы зовем ее «лер».

— Поэтичное имя, — ввернул Генка. — Печь по имени Валерия...

Начальница бросила на него короткий заинтересованный взгляд: не то обнаружила в нем какую-то странность, не то восхитилась его находчивостью и остроумием.

— Ну, Валерией ее не называют. Просто «лер». Кстати, забыла, как вас зовут.

— Геннадий.

— Запомню. А я Татьяна Федоровна Рощина, Прошу любить и жаловать.

«Вот прямо сейчас начну тебя любить и жаловать, не отходя от кассы. Поглядим еще, кто кого будет жаловать».

— Пойдемте дальше, уважаемый Геннадий.

Ванная печь заинтересовала Генку, показалась похожей на мартеновскую для варки стали, которой живьем он не видел, но, как всякий человек с десятиклассным образованием, слышал о ней и представлял по виденным где-то картинкам и кинофильмам. Да что там! О мартеновских печах даже в песнях поется. Генка хотел остановиться около ванной печи, этого ревущего газовыми горелками, булькающего, огнедышащего чудовища, заглянуть внутрь, посмотреть, как оно дышит, как тяжело ходят бока расплавленной стекломассы, урча и отрывая пену. Но милейшая Татьяна Федоровна торопилась, проводила экскурсию коротко и вовсе не для того, чтобы заинтриговать нового работника, но исключительно потому, что *так положено*. «Ладно, — решил Генка, — потом посмотрю, если будет охота», — он совсем не был уверен в желании досконально изучить производство стеклянных плиток: на кой черт они ему сдались?

Но дальше стало действительно интересно, потому что где-то в подкорке промелькнула за короткую долю секунды легкая, как мотылек, мысль, даже не мысль, а шелчок какой-то, сигнал: внимание: это может пригодиться.

— Вот еще одна ванная печь, — тарахтела деловитая начальница. — Здесь в дополнение к основному производству мы производим ширпотреб, это выгодно заводу, а следовательно, нашему государству. Мы делаем вазы, большие и маленькие, кувшины, графины для воды. Ручная работа. Вот посмотрите, какие изделия придумал наш художник.

Ваза из бесцветного прозрачного стекла была выполнена в виде огромной пузатой рюмки. Забавно, но как-то уныло. У Генкиной матери была одна вазочка для конфет, подарили на день рождения сотрудники. Так она же вся переливалась, блестела гранями — любо-дорого смотреть. А здесь что? Ни красоты, ни пользы: ни цветы поставить, ни водку пить.

— Это хрусталь? — с видом знатока спросил Генка. — У нее рисунок должен быть, переливчатый.

— У нас не варят хрустальное стекло. Это производство повышенной вредности. Но вы видите? Из обычного стекла тоже можно делать уникальные вещи. Пойдемте.

— А можно я немного посмотрю?

— Только недолго, время бежит, а дел много.

— Так вы идите, а я посмотрю и приду.

— Нет, нельзя. Это «горячий» цех, а вы еще не ознакомлены с правилами техники безопасности. Ладно, постоим пять минут, коли вы такой любознательный.

Генка смотрел и глаз не мог оторвать от этого волшебства. Крепкий мужик с полуголым торсом, в одной майке, окунает в расплавленную стекломассу длинную металлическую трубку, вытаскивает красный, раскаленный комок и начинает осторожно раскачивать во все стороны, умудряясь удерживать огнедышащую каплю на конце трубки, — как фокусник, четкими продуманными движениями скрывающий от посторонних глаз свои тайные замыслы. Потом движения становятся широкими, размашистыми, капля вытягивается и словно распускает крылья — вот-вот полетит, как маленькая огненная жар-птица. Но нет, не полетишь, дорогая! Утратившая яркость птица на конце трубки опускается на металлическую плоскость — теперь она пленница, безжалостно терзаемая грозным инквизитором, который катает ее по поверхности, бьет, мнет и наконец запихивает, словно выплевывает, в клетку — разъемную форму с накрепко сжатыми створками. Она, бывшая капля, бывшая птица, уже почти смирилась, задохнулась, погасла, но мучения не заканчиваются: злобный инквизитор дует в трубку изо всех сил, вращает ее и покрывается потом, багровея от своей безжалостности. Вот и все, нет больше огненной птицы, нет полета, нет счастья свободы. Смерть... И вот тогда медленно расползаются стенки клетки, и внутри ее, тонкая и прозрачная, красуется душа погибшей птицы, робкая, хрупкая, готовая разбиться от любого толчка и одновременно прочная и долговечная: стеклянный графин ручной работы. Неважно, что в нем нет никаких прибабасов, линии просты и бесхитротны — душа всегда красива, даже если называется грубым словом «ширпотреб».

«Вот это работа! — думал Генка, направляясь в отдел кадров. — Научиться-то можно, только хватило бы сил: вон какой мощный мужик старается, аж потом изошел. А я что? Хлюпик...»

Почему, собственно, хлюпик? Он худой и нескладный, но сильный, к тому же научиться может всему, было бы желание. Пока особого желания нет, хочется покоя и безделья, а там видно будет. Пока поработаем на газовой горелке, в комнате-кладовке, в окружении баб и приборов непонятного назначения. А потом... Смутная мысль о будущей пользе новой работы уже шевелилась в его голове, но он не дал ей хода. Посмотрим...

— Я устроился на работу, — сказал он матери.

— Куда?

— Лаборантом в лабораторию стекла.

— Сколько ж тебе отвалят за такую работу?

— Восемьдесят рублей в месяц.

— Восемьдесят рублей?! — ужаснулась мать. — Ты что, совсем сбрендил? На что жить собираешься?!

— Мне многого не надо, все есть.

— Ишь ты, ему не надо! — взвизгнула мать. — Ему ничего не надо, а мать хоть подыхай. Мне на пенсию скоро...

И вдруг остановилась, плюхнулась на стул и закрыла лицо ладонями. Ну, орала бы она, руками махала, трудно стало бы в комнате дышать, однако спертый воздух тем не менее тоже поддерживает дыхание. Но в этой *мертвой* тишине Генка задохнулся. Он отчетливо представил себе свою мать худой нищей старухой, с неприбранными седыми космами, в рваном платье, с бледными губами и морщинистым лицом. Отвратительная нищая старуха, которая никогда не кричит, а только плачет, вытирая глаза нечистой ладонью, как тогда, давным-давно грязной тряпкой для пола.

Он впервые, кажется, в жизни подошел к ней и обнял за плечи — неумело, осторожно. Он не хотел, чтобы она плакала.

— Это временно, — сказал он почему-то шепотом. — Я найду такую работу, что денег некуда будет девать. Вот увидишь.

— На какой помойке ты ее найдешь? — спокойно спросила она. — Не хотела я тебя рожать, не хотела, как в воду смотрела. Лаборант хренов... — и вытерла глаза чистым носовым платком из кармана фартука.

## Глава 5

В первый день Генкиной работы на новом месте случилось в лаборатории ЧП — событие, малоприятное в принципе, но полезное для самого Генки. Загорелся электрический провод одного из приборов. Генка как раз вошел в общую комнату, чтобы рассмотреть приборы, а заодно и красавиц, трудящихся не покладая рук за своими сдвинутыми столами. И вдруг: вспышка, грохот стульев, вопли — дамы кинулись к горящему проводу, заметались, одна, находчивая, кинулась в коридор к ящику, наполненному песком. Генка тут же сориентировался, тоже рванул к ящику, — а там песка на самом доньшке. Он выхватил из рук женщины лопату, поскреб по дну, набрал, сколько мог, побежал обратно, выбросил песок на горящий провод — напрасно, как потушить пламя жалкой щепоткой?

— Там песка нет, — сказал он.

— Как это нет?! — возбужденно прошептала прибежавшая на шум Рощина. — Песок есть всегда.

— Съели, — попробовал пошутить Генка.

— Надо пожарных вызывать! — крикнула из своей двери инженерша и устремилась к телефону.

У Генки разболелась голова, казалось, пламя перекинулось на нее, готовое испепелить, разорвать, уничтожить. Он не мог ни о чем думать, да и некогда было. Подбежал к горящему проводу и быстро-быстро, движением фокусника, провел ладонью по пламени. Что такое фокус? Обман, мелкое мошенничество на радость детям и недоразвитым придуркам взрослым. Фокус-покус. А здесь никакого обмана. Пламя под его быстрой рукой вздрогнуло и пропало, словно растворилось в воздухе или всосалось в землю. Женщины замерли и молча уставились на героя.

— Рука... — простонала начальница. — Ожог... Надо обработать спиртом. Сейчас принесу.

— Не надо, — сказал Генка и слегка подул на пальцы. — Я не обжегся.

Сотрудницы сгрудились вокруг него, рассматривая руку: легкое покраснение, несколько едва заметных пятен.

— Болит? — заботливо спросила Рощина.

— Да ничего же нет, нечему болеть, — слабо улыбнулся Генка, пытаясь преодолеть другую боль, головную, которая была почище мелких укусов пламени.

— А куда песок делся?! — возмущенно воскликнула Рощина. — Что за безобразия? — уставилась она на инженеров. — Почему не проследили?

«А сама-то ты на что? — подумал Генка. — Сгорело бы все, к чертовой матери».

Потом вызвали электрика, Генка ему помогал, одновременно овладевая новыми знаниями.

Когда закончился рабочий день, одна из дам, уважительно глядя на нового работника, спросила:

— Как же так получилось? Рукой потушили и не обожглись?

— Быстрота и натиск, — ответил он.

— Вам надо премию дать за находчивость и героизм.

— Ленинскую, — уточнил Генка, улыбаясь.

В голове его качался туман, но боль прошла — Генка был доволен, неплохо прошел его первый рабочий день.

«Вот это да! — думал он по дороге домой. — Выходит, моя башка на чудеса способна. Может, и кровь могу останавливать? Для медицины полезно».

Дома он хотел попробовать: поранить палец и попробовать остановить кровь. Но вспомнил про головную боль и отказался от этой затеи. Спасибо, не надо...

Генкин поступок — героизм настоящего мужчины — сразу определил его статус на новом месте. Его называли уважительно Геннадий, обращались на «вы», и даже унылая начальница его *любила и жаловала*, что и требовалось доказать. Никто не называл его «Гвоздем», новые коллеги не знали этого прозвища, так что Генка иной раз даже сожалел. А что? Гвоздь — это нечто крепкое, надежное, не отдерешь за просто так. Хотя, конечно, и обидное, но все зависит от того, какой смысл вкладывать в слова. «Гвоздик» тоже неплохо звучит, но это неприятная тема.

Тема женщин вообще его чрезвычайно интересовала, особенно если целый день пасешься в таком «цветнике»: восемь девок, один я. Восемь гражданок: начальница, три инженерши, четыре лаборантки. Ну, инженерши, сидящие в отдельной комнате, были малодоступны, и Генка недоумевал, что они там делают за закрытыми дверями и что вообще можно делать технически грамотному человеку, если приборы работают, а неумомимые лаборантки тщательно записывают их показания в конторских книгах. Однажды, меняя втулку на одном из приборов, он услышал разговор инженеров между собой. Ясное дело. Они все были довольно молодыми, семейными, стало быть, озабоченными. Мужья, дети, зарплата — о чем еще говорить? О научных разработках? Смешно. Можно еще о любовниках, но это уж не в коллективе, а на ушко друг другу.

В общем, инженеры были Генке не интересны. Другое дело — лаборантки, тоже молодые, но незамужние. Трое — красивые, лет под тридцать, с такими *ищущими* глазами, вспыхивающими интересом при появлении на горизонте всякого случайного мужчины. Когда Генка в первый раз зашел в лабораторию, он заметил в их взглядах специфическое любопытство, по которому сразу определил: замуж хотят, ищут и надеются. Но все-таки... Все-таки, что там говорить, не увидели они в нем своего суженого, уважали, конечно, а насчет любви... Не стоит и пробовать.

Зато четвертая, самая молодая, Генкина ровесница, пожалуй, стоила его внимания. Не расфуфыренная, не размалеванная, никого, похоже, не ищущая — скромная. Но дело не в скромности. Он, вообще-то, предпочел бы более эффектную женщину и постарше, из тех троих, общение с которыми ему не светило. А эта... Он быстро приспособился к климату своего нового трудового коллектива, хотя климат оказался не очень здоровым. Ему, в принципе, было все равно, он чувствовал себя закаленным парнем, не хлюпающим носом от непогоды, но умел распознавать перемену ветров и приближение ливня. Здесь, в лаборатории, при видимой чистоте неба и удручающем на первый взгляд штиле, постоянно пряталась коварная буря, готовая разразиться неожиданно и разрушающе. Причиной же бури, служил тайфун, носящий, как принято, женское имя. В данном случае он назывался Полиной, по имени этой самой скромной молодой девицы.

Чего они не поделили — этого Генка так до конца и не понял. Он пришел в лабораторию, когда там уже установился климат неприязни и злобы, но не тот скандальный случай всеобщей склоки, ссор и перебранки, а стойкое надежное единение — все против одного. Конечно, вредной была эта Полина, неуступчивой, грубила всем, включая начальницу, но пренебрежение, полное игнорирование, бойкот — и все против одной! Что такое она натворила? Наушничала, подличала, нарочно искажала результа-

ты испытаний? По разговорам дам Генка понял, что именно так оно и было. Только вопрос: кто первым начал? Может, она так отвечала на нападки?

Не то что Генка ее пожалел, но почувствовал, как говорится, родство душ. Эта Полина, как он сам, была изгоем...

Он быстро научился выплавлять из битого стекла «колбы» для испытаний, иногда вытачивал мелкие детали на лабораторном токарном станке, но работы как-то не хватало. Он скучал. Однажды пошел в цех и долго стоял около ванной печи, смотрел, как крепкий мужик в майке творит свое волшебство, высвобождая душу из пропитанной огнем стеклянной капли. Ну, что за глупость — тупо превращать битое стекло в бездушные «колбы», все на одно лицо, и только для того, чтобы умные приборы их тут же снова превратили в «бой». А что если?..

Он подошел к металлическому ящику для «боя», полюбовался разноцветными осколками, осторожно опустил вниз руку и выбрал несколько, самых красивых: синий, коричневый, зеленый и бесцветный.

— Молодой человек, что это вы тут воруете? — остановил его мужской голос.

— Ворую? — не понял Генка. — Я же не вазы взял, а осколки. Все равно выбрасывать, — и насмешливо улыбнулся.

— Вы кто такой? — спросил человек в синем халате, наверно, мастер.

— Рабочий лаборатории.

— Недавно работаете?

— Скоро месяц.

— В лаборатории «бой» закончился? Пусть Рощина подаст заявку, мы принесем.

— Да нет, это я так, для себя.

— Для себя?! Вот ведь работники! Нет бы объяснить новому человеку, что к чему, а то приходит, ворует и лыбится.

— Да чего я тут ворую?! — возмутился Генка. — Мусор.

— Нет, молодой человек, это не мусор. Это двадцать процентов стекольной шихты, без добавки «боя» никакое стекло не сварить, Материал, кстати, дефицитный, своего не хватает, приходится покупать на стороне. А вы — мусор! Кладите обратно все, что взяли, и познакомьтесь все-таки с технологией варки стекла. Нельзя работать вслепую.

— Ладно, познакомлюсь, — миролюбиво произнес Генка.

«Познакомлюсь, а как же? — думал он, возвращаясь на свое рабочее место. — Приду, похожу, поинтересуюсь, а ваш дефицитный материал умыкну так, что никто не заметит. Пара пустых».

Так он и поступил. Проходя мимо боехранилища, на ходу, легко, словно пыль с комода, смахнул в глубокий карман рабочего халата разноцветные стекляшки, и был таков. «Дефицитный материал надо под замком хранить, — мысленно потешался он. — А то еще найдутся фокусники, вроде меня. Хотя где они найдутся? — похвастал он сам перед собой. — Не всякий так сможет».

А зачем, собственно, ему нужен был этот «мусор»? Толком он еще не знал. Вернее, предполагал и даже чувствовал возбуждение, которое всегда будоражило его на пороге новой затеи. Но он пока не знал, сможет ли. Не пробовал еще. Однако, если вспомнить, на коньках, например, он научился бегать за один день. И «колбы» эти дурацкие, как пельмени, валял. Хотя то, что он сейчас задумал, будет похитрее. То, что он задумал, называлось *искусством*. Но ничего, фокусы показывать — тоже искусство. Все, что нужно, есть: держатель, шпатель, щипцы, металлическая доска для обкатывания — инструменты, помогающие выплавлять «колбы». И, конечно, мощная, ревушая, как зверь, газовая горелка. Но две проблемы напрягали: во-первых, опасение, что кто-то



войдет в его каморку и поймает за посторонним делом. Хотя это вряд ли, редко кто к нему заглядывал. А вот вторая проблема была существенной. Генка никогда не рисовал и не лепил, тем более лепить из стекла — это как? Хорошо стеклодуву: за него чугунная форма лепит, знай дуи в трубку.

Он принес из дому свою старую детскую книжку, долго перелистывал, изучал иллюстрации, потом решил: взял щипцами осколок, размягчил в пламени и начал лепить из мягкого стекла свое первое *произведение искусства* — ежика из детской книжки. Ежик оказался кособоким и невыразительным. Ничего, ничего, получится, обязательно получится. Правильно говорят: первый блин комом. Он «нажарил» еще парочку уродцев и наконец получил желаемое. Чудо! Зверек из прозрачного стекла, с коричневыми оплавленными бугорками иголок и большими зелеными глазами. Потом Генка вспомнил, что стекло надо охлаждать медленно, соорудил на столе нечто вроде домика из металлических обрезков и сунул туда свой шедевр, мысленно приговаривая: полежи, отдохни, вспотел ты, брат. К обеду зверек был жив и здоров, бодр и весел, иголками не кололся, пыхтеть — не пыхтел, но озорно поблескивал большими зелеными глазами — сейчас убегу, мол. «Не убежишь, — сказал ему скульптор. — Мы тебя пристроим в хорошие руки».

Насчет «хороших рук» он не был уверен. Дыма без огня не бывает, может, скромница Полина — дрянь последняя, но когда все против одного — это несправедливо. Семеро одного не бьют, слишком больно получается, так и убить недолго.

Когда все сотрудники ушли в столовую, а Полина осталась, как обычно, у своего стола жевать бутерброды, Генка вошел в общую комнату, деловито осмотрел снаружи и изнутри лабораторную муфельную печь, отыскивая несуществующие неполадки, и приблизился к девушке.

— Ты бы водички попила или чайник вскипятила. Подавишься всухомятку.

— Не твое дело, — буркнула она, продолжая жевать.

— Точно, не мое. Только смотри, как бы твою колбасу не умыкнули. Бегают тут всякие звери.

— А ты не бегай, — хмыкнула девушка. — Иди в свою конуру и там твякай.

— Я-то уйду, а вот *он* тебя голодной оставит.

Ежик с зелеными глазами заскользил по столу и уперся носом в бутерброд

— Ой! — взвизгнула Полина и улыбнулась.

Улыбка получилась хорошая, все зубы белые, ровные — загляденье. Генка никогда не видел ее улыбающейся. Приятный сюрприз...

— Бери. Это тебе.

Она прогнала улыбку, словно отмахнулась от назойливого комара, и опустила глаза:

— Знаем мы ваши поделки-проделки. Забирай свое животное и убирайся вместе с ним.

— Да ладно тебе. Что ты такая колючая, хуже моего ежика. Я его для тебя сработал, хотел, чтобы ты улыбнулась. Вон какая у тебя улыбка красивая.

Полина подняла глаза. В них светилось недоверие.

— Поставь дома этого красавца под стекло в серванте. Смотри на него и улыбайся, — сказал Генка.

Она взяла игрушку в руки, погладила.

— Правда, не колется.

— Ну, я же говорю. Он добрый парень.

И пошел в столовую. Улыбкой сыт не будешь.

## Глава 6

Теперь он знал, чего хочет. Во-первых, деньги, оказывается, все-таки нужны, на восемьдесят рэ в месяц мужчина, даже такой хлипкий, как он, не проживет. Надо принимать меры. Обозначилась перспектива, ее необходимо было осваивать, очищать от тумана и идти вперед к светлой цели. *Укрощение стекла* — вот как пафосно сформулировал Генка свою ближайшую задачу. Укрощение — великое дело, это участь сильного мужчины, подчиняющего себе мир. Внутри великого дела Генка поместил дело, более мелкое, как дрессировщик диких зверей, отвлекающийся для передышки на обучение и подчинение маленьких собачек. Правильно, маленькая собачка, — вот кто она, агрессивная Полина. Мелкая, жалкая, забитая, но кусачая собачка, ее надо приласкать и подчинить, пользуясь в том числе *укрощенным стеклом*. Такие запутанные мысли мелькали у Генки в голове, даже не мелькали, а кружились, как кольцо хула-хуп вокруг гибкого тела. Одно общее кольцо, одна большая мысль, он вращал ее сначала тяжело, потом быстрее, не давая упасть и не делая остановки.

Он научился работать быстро и точно, держать симметрию и прилеплять детали изделия одним движением. Плохо, что приходилось опасаться быть пойманным, постоянное напряжение мешало *творчеству*. Тогда он придумал правду. Если застанут за посторонним делом, он скажет, что готовит в свободное от работы время подарки для коллег к Первомаю. Но тогда уж придется дарить, а дарить он не собирался, только Полине.

Он вылепил кудрявую марганцового цвета собачку, кольца стеклянной шерсти легли, как живые, и переливались. Такая получилась красавица, что и отдавать не хотелось. Но надо.

Генка не стал дарить девушке игрушку на работе. Он подождал Полину у ворот завода, и когда увидел ее, подошел, делая вид, что запыхался.

— Не заметил, как ты ушла, еле догнал. Хотел подарить тебе свою новую работу, может, понравится? — и вытащил собачку из ворота ее пальто.

Он понял, что фокус Полине понравился, но ему самому стало как-то грустно, вспомнил Катю. «Дуры девчонки, покажи палец — они радуются и смеются. Ладно, дальше будем обходиться без фокусов. Статуэтка из стекла — это тебе не шоколадка».

— За что ты меня все одариваешь? — недоверчиво спросила Полина, поглаживая гладкую собачью спинку.

— Да не знаю. Сочувствую тебе. Все на тебя ополчились. За что?

— За язык. Они строят из себя, а я в детдоме выросла, жизнь научила за себя бороться, а то сядут и поедут, ножки свесив.

— Ишь ты, гордая, значит.

— Да, гордая, — она вскинула голову и прищурилась.

— Плохо одной-то, — осторожно сказал Генка. — Или у тебя парень есть?

— Тебе-то какое дело? И вообще, что ты за мной увязался?

— А мне такие нравятся, гордые. Ладно, пойду тогда, — и пошел в сторону, засунув руки в карманы. Он тоже гордый...

— У меня нет парня, — негромко произнесла Полина ему в спину.

Он тут же вернулся, опять пошел рядом.

— Это другое дело. Буду твоим рыцарем.

— Тоже мне рыцарь, — усмехнулась она.

— Да уж какой есть.

— Не обижайся. Вот мы пришли, — она остановилась возле парадной двери. — Зайдешь?

Ничего себе! Так сразу? Нет, так он не хотел, не мог. Он должен был обдумать, превратить стратегию в тактику, составить план.

— В другой раз, — небрежно бросил он и заспешил прочь, подальше от искушения. Не время пока. Он должен был овладеть новым делом, наладить «производство». Искусство должно полностью овладевать художником, поглощать все его чувства. Теперь он художник или скульптор — творец. «Вот успокоюсь, попривыкну, тогда и займусь как следует этой красавицей Полиной. Все-таки жалко ее. Но гордая, независимая. Голову вскидывает, глаза шурит... А улыбка красивая...»

В маленьком шкафчике бережно, поштучно, как нежные ранимые персики, завернутые в папиросную бумагу, хранились плоды его вдохновения и труда: зайчики, мишки, кошечки и другие представители мелкой фауны, скопированные с рисунков из детской книги. Был среди них один настоящий шедевр — павлин с распущенным разноцветным хвостом. Генка умудрился аккуратно оплавить края каждого пера — изделие должно быть безопасным. Он любовался своим красавцем, хотел подарить его Полине, но не стал: павлин будет главным экспонатом его коллекции.

Приближалась весна, в природе шла борьба добра со злом, но где добро, где зло — не всегда определишь с первого взгляда. Снег или дождь — что хорошо, что плохо? Мороз или солнце — что красивее? «Мороз и солнце — день чудесный». Потому и чудесный, что все вместе, выбирать не надо. Это называется *гармонией*. Генка, впрочем, не умел мыслить умными словами, но он умел *ощущать*. Он ощущал бьющее по глазам солнце и тревожно бодрящий мороз; дождь, падающий за ворот, и снег, покалывающий щеки; траву, щекочущую через подошвы ноги, и фальшиво улыбающуюся грязь, сторонящуюся его движения. Он ощущал добро и зло, но не по отдельности, а всегда туго сплетенными вместе, как канат из грубого шелка, одним концом зарытый в землю, а другим царапающий небо. Он ощущал *жизнь*, однако не знал, не понимал, не чувствовал *любви*, даже не других людей к себе, хоть и хотелось бы, но это ладно, он привык быть нелюбимым. Но любить самому... Не в лесу он родился, не в пещере, а в крупном городе, до краев наполненном чьей-то любовью, с которой он почему-то не соприкасался. Весна будоражила с каждым годом все сильнее и острее этой тайной жизни, которая источает ароматы и раскрывается не как медленный задумчивый цветок или ленивые почки на деревьях, а как внезапно зазеленевший газон, вдруг однажды с утра вспыхнувший невысоким, стелющимся по земле фисташковым пламенем. В этот момент все кажется простым и понятным, любовь волнует траву легким движением ветра, и можно ее поймать. Генка понимал, что поймает, только не знал когда.

Полина, забитая девушка, которую он жалел, появилась перед его глазами, как мелкая, невзрачная, но позолоченная солнцем капля мать-и-мачехи на волнующейся траве вспыхнувшего газона. Генка, как всегда, не торопился, дарить девушке свои поделки не спешил, в общую комнату лаборатории заходил редко и только по делу, но иногда, *случайно* увидев ее по дороге домой, несколько кварталов шел рядом и, что называется, трепался. Он обнаружил в себе способность безостановочно, с умным лицом нести всякую чушь, вкрапляя в нее нотки юмора и насмешек. Иногда он даже удивлялся, как гладко льется его речь и как легко удается ему насмешить эту невеселую девчонку или расцветить улыбкой ее неяркое лицо.

Порой Генка все-таки доводил ее до дома, благо недалеко, и ждал, что пригласит, хотя не совсем был готов откликнуться на приглашение. Но ждал. Она не приглашала. Когда он почувствовал, что созрел для новых отношений, — не стоило дольше тянуть, надо было действовать. Он отступил от решения не завоевывать внимание к себе фокусными, потому что другой возможности пока не видел.

Они шли рядом в сторону ее дома, Генка рассказывал сочиненную на ходу байку о том, как однажды заблудился в лесу и вышел на дорогу только потому, что определил

в траве следы собачьих лап и шерсти и, как следопыт, зорким взглядом и чутким нюхом проложил себе дорогу к спасению.

День выдался солнечный и ветреный, ветер нервировал, а солнце успокаивало, и получалось, что в мире опять царила гармония, когда человек совершает правильные и полезные для себя поступки.

— Хочешь, понесу твою сумку? Тяжелая ведь, — сказал Генка.

— Нисколько она не тяжелая.

— Ну да! Женщины всегда таскают всякую ерунду, — он с легким усилием отобрал у Полины объемистую сумку. — Я же говорил! У тебя кирпичи там, что ли? Воруешь поштучно на заводе? Дом новый строишь, как — помнишь? — какой-то герой из сказки про Чиполлино?

— Ничего я не строю, — улыбнулась девушка. — Отдай мою торбу, трепач.

— Бери. Смотри не надорвись.

Она взяла сумку, покачала, прикидывая вес, нахмурилась.

— Что-то тяжеловатая.

— Посмотри. Что ты сунула туда? Или давай я посмотрю.

— Отстань со своими глупостями.

— Ну, девушка, ну, дайте свой *ридикульчик*, я посмотреть хочу, — занул Генка.

— Еще не хватало! — промолвила она, раскрывая сумку. — Пакет какой-то... Это твои шуточки, рыцарь?

— А что там?

Она вытащила увесистый целлофановый пакет, приоткрыла.

— Пирожные! Когда ты успел?

— А они сами туда впрыгнули. Может, пригласишь чайку попить? Куда тебе одной столько пирожных, живот заболит.

— Ну, пошли.

Квартира оказалась крошечной: комнатка и миниатюрная кухня, ванная комната, совмещенная с туалетом, унитаз упирался в борт сидячей ванны, а прихожая выглядела почти неуловимой — два шага налево, два шага направо. Однако комната казалась чистой, даже уютной: покрывало на диване, расшитая цветами скатерть на столе, в центре — стеклянная ваза светло-фиолетового цвета. Под вазой отдыхали симпатичные, знакомые Генке до боли ежик и собачка. Он отметил этот факт сразу и с удовольствием.

— Это наша ваза? Заводская? — ухмыляясь, спросил он. — Украла?

— Ничего я не крада. Попросила, и дали. Подарил стеклодув.

— Ухажер твой? — прищурился Генка.

— Никакой не ухажер. Ваза бракованная, видишь, камушек и пузырек на стенке? Почему сразу украла?

— Я пошутил.

— Пойду поставлю чайник.

— Давай, — сказал Генка, неловко схватил ее за талию, прижал к себе и слегка подтолкнул к дивану. — Диванчик-то маленький, как ты с ним управляешься? Или раздвижной?

— Нет... Подожди, куда ты так спешишь, Геша? Попьем чаю...

Геша... От этого «Геши» он как следует раззадорился.

— Потом... Будет тебе и шампанское, и кофе, и какао с чаем, — задыхаясь, прошептал он, неумело расстегивая пуговицы на ее кофточке.

Генка привык долго ко всему готовиться, но уж если брался, делал быстро и качественно. Может быть, сейчас был единственный случай, когда качество уступило скорости.

— Мог бы сдержаться, — недовольно процедила Полина, — Женщине одной минуты мало. Не знаешь, что ли?

Он знал, но ничего не умел и до этой минуты не особенно хотел. Он просто решил, что пора. Что-то такое не очень понятное он почувствовал, когда увидел ее без пальто и рабочего халата: глубокий вырез кофточки, острая ключица и белая ляпка лифчика. Его взбудоражил этот «натюрморт», а тут еще «Геша», как острая приправа к незнакомому блюду. Да, надо было потерпеть, сдержать внезапно нахлынувшую страсть, довести даму до кондиции, — теоретически он это знал и мог, потому что он мог все, просто не успел подумать.

— Извини, исправлюсь, — сказал он. — А ты часто этим занимаешься?

— Чем?

— Ну, этим... с мужчинами.

— Иногда, от случая к случаю.

— А давно начала?

— Давно, в четырнадцать лет. Меня мальчик в детдоме изнасиловал.

— И тебе понравилось?

— Нет. А что было делать? Пожаловаться некому, да и стыдно, скажут, сама виновата, в тебе материнские гены играют, развратная ты, мол.

— А мои *Гены* в тебе не играют?

— Научись сначала с женщинами обращаться, а то строишь из себя кобеля, а сам — тык-тык, и на боковую.

— Ну, ты не очень-то, я ведь могу обидеться.

— Нечего тебе обижаться. Давай пить чай, а потом я займусь твоим неполным средним образованием.

— Лучше полным и высшим, — засмеялся Генка, поглаживая ее грудь и чувствуя новую готовность к бою. — А эта лилипутка у тебя откуда? — спросил он за чаем. — Откуда такая квартира?

— Так дали, когда уходила из детдома. По закону нам всем полагается. Другим достаются только комнаты, да такие, что и жить в них человеку стыдно. А мы разве люди? Детдомовское отродье. Некоторые вообще ничего не получают, бегают потом, выпрашивают, как милостыню. А мне повезло. Вот эта квартира. Стояла, никому не нужная, мне и подсунули. Все завидовали. Счастливая ты, Поля, говорили. Как же! Счастливая я...

— А мать умерла?

— Кто ее знает? Пьяница она, распутная, меня в роддоме оставила.

— Найти ее не хочешь?

— Зачем искать-то?

— Ну, может, помощь твоя ей нужна?

— Какая помощь? Водку покупать и хахалей ее обслуживать? Только этой радости мне и не хватало.

— Жалко. Мать все-таки... А отца тоже нет?

— Отец — заезжий молодец. Она, поди, и сама не знает, чей я подарок.

— У меня тоже нет отца

— А он кто?

Генка хотел соврать, как Кате, что его отец — артист цирка, фокусник. Но почему-то сказал:

— Не знаю...

Жалко. Почему так: его никто не любит, а ему всех жалко? И Полину, и ее мать, и свою мать, родившую такого неудачного сына. Жалость, которая внезапно заливает грудь изнутри, как расплавленное раскаленное стекло, и пузырится, и бурлит, и хо-

чется закричать от боли, выхватить из себя огненный ком и терзать его, мять, чтобы наконец выпустить на свободу душу.

— Мне, наверно, пора уходить, — сказал Генка.

— Зачем? Можешь остаться, утром на работу вместе пойдем.

— Нет, вместе не стоит, женщины начнут прикалываться. Да и как у тебя заночуешь? Диванчик-то маленький. Вот купим новый, тогда...

— *Купим?* — недоверчиво спросила Полина.

— Премию дадут, и купим вместе.

Она подошла, уткнулась головой в Генкино плечо. Он погладил девушку по волосам. Жалко, ух ты, до чего жалко. Хоть плачь.

Он называл ее *Полюшко*. Именно, не *Полюшка*, а *Полюшко*, неосознанно угадывая в этом не то имени, не то прозвище тайный смысл одиночества и простора. Когда Генка видел перед собой распахнутое поле — пусть даже не наяву, а, например, в кино, — его всегда охватывала грусть от бесконечного живого пространства, в котором нет никого, кроме равнодушных птиц, отдавшихся во власть полета, и ветра, не ведающего преград на своем свободном пути. Свобода и одиночество... *Полюшко*...

Ничего особенного в Полине не было, разве что улыбка в тридцать два зуба. Но одиночество и свобода, выкованные в ее характере трудным детством и проявляющиеся — для всех — в грубости, вредности и унынии, казались Генке чудом стойкости и женской красоты и, перевязанные, как шелковой лентой, его жалостью, превратились в ценный подарок, который просто так, за здорово живешь отпустила ему судьба.

Они скрывали свои отношения от насмешливых лабораторных дам, но зоркий взгляд мог бы заметить перемены в ершистой Полине и отчужденном замкнутом Геннадии, если бы, конечно, зоркость взгляда лабораторного сообщества нерационально расходовалась на эту малосимпатичную пару. Паре, впрочем, всеобщее равнодушие было только на руку. Они жили в своем маленьком мире, огражденном от общего *мира людей* странным чувством, которое, возможно, называлось любовью, возможно, слиянием душ, а такое слияние даже у любящих друг друга людей случается нечасто, дефицит же, как известно, всегда приобретает повышенную ценность.

Не то чтобы Генка летал на крыльях восторга или тем более счастья. Не таким он был человеком, чтобы отдаваться естественным человеческим ощущениям в ущерб поставленной перед собой цели. Просто в его жизнь, окрашенную прежде цветом маренго, добавилась яркая краска, да и яркая-то только для него самого, потому что он родился фокусником и мог выпускать голубей из пустого цилиндра. Фокус-покус. Возможно, Полина играла в этом фокусе роль ассистентки. Но играла хорошо, искренне, — Генка понимал ее искренность и был благодарен своему *Полюшку*. Свобода, одиночество, благодарность, жалость и улыбка в тридцать два зуба — вполне достаточно знаков, чтобы неискушенный человек, подобно бедному замороженному Каю из «Снежной королевы», мог сложить из льдинок магическое слово *Любовь*. Все-таки любовь...

Разумеется, они купили новый диван, который занял собой почти всю комнату, так что, встречаясь, они большую часть времени проводили на этом располагающем к острым ощущениям месте, а потом сидели на пятиметровой кухне и объедались пельменями или омлетом. Когда были деньги, Полина готовила мясо, а по выходным жарила котлеты с картофельным пюре, и получалось не хуже, чем у Генкиной матери, которая, поняв, что сын затеял какие-то дела на стороне, помалкивала и пока приглядывалась, лишь изредка изрыгая проклятия на свою нищенскую долю. Так, в пространство, чтобы ее придурок не расслаблялся. Она не знала, что Генка скоро выбьется в люди и сделает это ради нее. Из жалости.

А Генка работал. День за днем, рискуя быть уличенным и наказанным унылой, но грозной Рощиной, он создавал свою коллекцию, совершенствуя точность и быстроту, укрощая агрессивное стекло и заставляя его служить мирному и доброму *искусству*. Он не рассказывал Полине о своей тайной работе и планах на будущее, но иногда дарил ей одну из фигурок, если изделие казалось ему недостаточно совершенным. На столе в ее комнате уже красовалось целое стадо мелких зверушек, их, конечно, не стыдно было поставить в сервант, на выставку, как ставят напоказ хрустальные рюмки тщеславные люди, которым нечем гордиться, кроме мнимого богатства. Жаль, что у Полины не было серванта.

Генка чувствовал себя неплохо. Иногда, бросая взгляд в зеркало, он с легким сожалением получал очередное подтверждение поговорки «горбатого могила исправит», но при этом отмечал увеличение своего роста и стройность худой, но ладной фигуры. А что еще мужчине надо? Кроме того, он давно овладел интимным ремеслом мужчины, которое тоже можно назвать «творчеством», если иметь в виду разнообразие приемов и уникальность окраски каждого отдельно взятого случая. Как бы то ни было, опытная Полина была довольна своим другом, его покладистостью, готовностью прийти на помощь и шутливым отношением к серьезным вещам. Фокусов он не показывал.

Однажды, расслабившись на новом диване, он рассказал о себе, своем детстве и отрочестве, но умудрился так расставить действующие лица, что получилась вполне светлая история, в которой даже постоянно орущая мать выглядела человеком стойким, работающим и со связями во всех областях жизни. Да так ведь оно и было! Надо только повернуть картинку правильно, чтобы солнце отражалось нужным боком, а Генка научился искусству управления светом, работая с податливым, бликующим стеклом. Рассказывая, он все-таки немного увлекся, можно сказать — проговорился:

- У меня кличка была. Гвоздь.
- Почему «гвоздь»?
- Ну, гвоздь... Крепкий такой, надежный, сильный.
- Ой, правда! Ты и похож на гвоздь. Фигурой, макушкой, — Полина поняла его все-таки неправильно. — Я тоже буду звать тебя Гвоздем.
- Ни в коем случае. У меня имя есть, Геша. Мне нравится, — он обнял девушку и поцеловал нежно, как только умел.

## Глава 7

Последнее десятилетие двадцатого века выдалось в стране озорным, хлопотливым, открывало широкие горизонты перед теми, у кого варила голова: могла сварить щи из топора и обменять трусы на часы.

Каждый день Генка выносил с завода свои новые творения, дома аккуратно укладывал их в большую дорожную сумку и прятал в кладовке, где хранились старые чемоданы, набитые никому не нужными отходами жизни, которые мать по старой советской привычке не выбрасывала на случай внезапных катаклизмов. Здесь было надежное хранилище, скрывающее от посторонних глаз Генкину тайну. Изделий скопилось много, пора было приступать к *новой работе*...

Генка взял свою сумку и маленький складной столик, который случайно нашел на помойке. Воскресным летним вечером у выхода одной из петербургских станций метро он выбрал удобную позицию: на виду у потока возвращающихся с дач и пикников граждан разложил на столике стеклянные шедевры и стал ждать, равнодушно поглядывая на спешащих мимо своих будущих поклонников и почитателей. Ждать пришлось недолго. Уже через минуту около его выставки скопилась небольшая кучка людей. Они рассматривали симпатичных зверушек, брали в руки, улыбались, спрашивали це-

ну, но не покупали: трудное время, зачем бросать деньги на ветер? Потом какой-то чудака хапанул курочку и петуха — Генка почему-то представил, как он дарит своей подруге эту парочку, похотливо ухмыляясь. Чудака чудаком, но больше желающих делать символические подарки не нашлось. Опять получился комом первый блин, и опять Генка не потерял присутствия духа. Он вылепил зеленого крокодила и бурого бегемота: крокодила сделал страшным, бегемота — смешным. В следующий выходной пришел на то же место, поставил африканских зверей на передний план и был вознагражден. Их не только приобрела, улыбаясь, дамочка пожилых лет в шляпке и кисейных перчатках, но и возник некоторый спор между нею и другой дамочкой, без шляпки и перчаток, но в очках: кто, собственно, подошел первым? Генка миролюбиво пресек склоку, *сердечно* посоветовал:

— Возьмите этого слона, он приносит счастье.

Дама в очках послушалась совета, а Генка прикинул, что кое-что уже заработал, потому что крокодил и бегемот стоили дорого — сложная эксклюзивная работа.

В общем, торговля шла ни шатко ни валко. Ясно было — надо что-то придумать, надо завлекать покупателей. Однако зачем же завлекать? Около его столика по-прежнему кучковались заинтересованные лица, но интерес купить проявляли немногие. И Генка стал показывать фокусы. То вдруг из рук потенциального покупателя изделие исчезало и оказывалось где-то позади выставленной для обозрения шеренги; то вещичка, которую только что рассматривала интеллигентного вида дама, оказывалась у нее в кармане или в кармане ее соседа, ждущего своей очереди; то все стадо самопроизвольно сдвигалось вбок, а на освободившемся месте возникала жанровая картинка, состоящая из веселых дуэтов: две упершиеся друг в друга носами собачки, кошка, готовящая поймать мышшь, лиса, алчно смотрящая на зайца. Люди, удивившись на миг, мгновенно понимали, что здесь, перед их глазами и бесплатно, дается представление, а плавно размахивающий руками худой парень с головой, похожей на шляпку гвоздя, — фокусник, да еще какой ловкий! Под воздействием магической силы искусства отступали жадность и бережливость, да и жизнь хоть на несколько минут становилась красивой и радостной. Случайные прохожие, задержавшиеся у столика с игрушками, уносили с собой частицу этой радости — сувенир, наполненный светом, переливающийся разноцветными красками.

Торговля становилась такой бойкой, что Генка осторожно повысил цену на каждое изделие, потом опять повысил — и ничего, товар брали, можно сказать, хватали. Появились опасения, что богатая коллекция вот-вот обнищает. Надо было ее пополнять, и как можно быстрее. Он научился работать почти автоматически, но вдохновение не покидало мастера, изменилась лишь причина творческого порыва: не желание *создать* двигало теперь художником, а счастье *продать*, много и дорого, хотя сначала не в деньгах пряталось это счастье, а в осознании своих возможностей, своего умения достичь поставленной цели, тем более что когда много денег — это всегда хорошо.

При такой ситуации работать урывками, постоянно опасаясь разоблачения, было трудно и недостаточно эффективно. Генка украл у начальницы ключ от лаборатории, по выходным легко и стремительно, пробегая мимо круглосуточно грохочущего цеха, взлетал по лестнице вверх, усаживался на свое рабочее место и предавался вдохновению человека, который знает, чего хочет, и может все, что задумал.

Он вылепил целую стаю бабочек, мотыльков и жучков, приделал с тыльных сторон медные застешки и вручал «брошки» в подарок каждому покупателю, приобретшему более трех стеклянных статуэток. Однажды к нему подошел ленивый милиционер, поинтересовался, что это за бойкая торговля возникла, как из-под земли, около станции метро. Генка поболтал с ним, подарил кое-что, не забыв вытащить это «кое-что» из рукава его форменной куртки, и служитель порядка, полюбовавшись некоторое



время на представление, отошел довольный. В общем, незаконная торговля в людном месте законом, по всей видимости, подавляться не собиралась. Хуже обстояло дело с беззаконием. Когда некий неприметный гражданин намекнул Генке, что *надо делиться*, творец без лишних слов отдал новому «соавтору» всю выручку и на следующий день перенес свою торговую точку к другой станции, понимая, что долго не продержится и вряд ли его бизнес имеет шансы для длительного существования и развития. Впрочем, к тому времени он хорошо заработал, устал и немного охладел как к искусству торговли, так и к процессу ваяния.

Генка торговал все лето. Каждые выходные, закрывшись в лаборатории, он отдавал себя новому и, как оказалось, нелегкому ремеслу, а вечером, гонимый вдохновением успешного торговца, мчался к метро показывать фокусы и делать деньги. Он перестал ходить во время обеда в столовую, и Полина, заметив это, вошла однажды в его камеру, так что он едва успел выключить горелку и испуганно оглянулся на дверь.

— Геша, ты почему кушать не ходишь? — заботливо спросила она.

— Учусь. Осваиваю профессию стеклодува. Надоело жить на гроши, — раздраженно ответил он. — Не мешай, закрой дверь.

— Так ведь голодный, отощаешь. Давай принесу тебе бутербродик.

— Закрой дверь, я сказал, — гаркнул он.

Он теперь нередко на нее покрикивал. Жалость куда-то подевалась, да и с какой стати жалеть девчонку, когда такой классный парень опекает ее и развлекает. Ну, не очень-то он развлекал свое Полюшко, не хватало времени, и желание как-то притупилось под воздействием постоянного творческого возбуждения. Редкость встреч с девушкой он компенсировал недорогими подарками и оправдывал нездоровьем матери, которая на самом деле была не только здорова, но даже вполне довольна своим неудачным сыном, снова приносящим в дом приличные деньги.

— Откуда взял? — спрашивала она. — Может, воруешь?

Он не стал врать, что выбился в начальники цеха, — она бы все равно не поверила. Он ответил расплывчато:

— Ценным работником заделался.

— Чего ты там ценного наработал в своей лаборатории, специалист хренов?

— Тебе не понять. Стекло — дело тонкое.

— Где уж нам уж, — отмахнулась мать и отстала: не все ли равно, за что ему плотят, лишь бы не крал.

Всех денег он, разумеется, не отдавал. Он хотел *пожить для себя*, вознаградить себя за праведные труды. Иногда ходил в рестораны, чаще один, без Полины: ел, немного пил и танцевал с *роскошными* женщинами, наслаждаясь атмосферой праздности и богатой красоты, чувствуя себя частью другой, не своей жизни, которая непременно станет *своей*, потому что он этого *хочет*. Он танцевал, полностью отдаваясь танцу, и был так гибок и пластичен, так легко распоряжался своим худым телом, что нередко танцующие отступали в стороны и стояли, любуясь его танцем, — он снова давал представление.

Девушка выходила из метро в воскресной толпе, но Генка ее заметил, словно выхватил глазами из общей разноцветной массы грибников и дачников. Вид у нее был какой-то не дачный, деловой: юбка, пиджак, блузка, туфли на каблуках, в руках — сумка-портфель. Этакая бизнесвумен, приехавшая на совещание в Питер из какого-нибудь Урюпинска. Она прошла уверенной походкой мимо его столика, даже не повернув головы в сторону кучки оживленных граждан, которая привлекала внимание почти всех прохожих сама по себе, как всякое людское скопище, собравшееся по неизвест-

ному поводу. Девушка не торопилась, а просто шла быстрым шагом и, скорее всего, по делу. Генка и подумать не успел, как услышал свой собственный голос:

— Девушка, подождите, не спешите так. Будьте любезны, подойдите сюда.

— Вы мне? — удивилась она.

— Да, да, на минутку.

— Ну, что вы хотите? — недовольно спросила она, приблизившись.

— У вас в сумочке очень важный подарок для меня, а вы забыли и проходите мимо.

— Что вы несете, юноша? — возмутилась девушка. — Я вас знать не знаю, а вы меня никогда не видели, — она повернулась, чтобы уйти.

— Я вас не задержу. Вы только сумочку откройте. То, что там внутри, принесет мне счастье.

— Откройте, откройте, — радостно заверещали зрители, предвкушая новую забаву.

Она раздраженно щелкнула замком, вытащила завернутого в тряпочку слона и замерла, перемещая взгляд с Генки на слона и обратно.

— Ну вот, видите? А говорили, мы не знакомы. Давайте ваш «оберег», он мне пригодится.

— Это не мой, — раздумчиво сказала она и наконец обратила внимание на столик с игрушками. — Хотите сказать, я украла вашу безделку? Да вы с ума сошли!

— Нет, нет, ничего вы, конечно, не крали. Мы все, — он обвел руками толпу, — знаем, что произошло. Правда, товарищи?

— Правда! — весело закричали товарищи.

— Вы подождите немного, — сказал девушке Генка. — Я сейчас быстро соберу вещи и провожу вас, по дороге все объясню... До следующего воскресенья, товарищи. Приходите, я буду на своем обычном месте.

— Только вот этого бычка мне продайте, — взмолилась одна женщина.

— Через неделю, — твердо ответил Генка. — Сейчас я тороплюсь...

Деловая девушка ждать его не стала, пожала плечами и замаршировала на своих каблуках, помахивая портфельчиком. Генка собрался мгновенно, но аккуратно, не забывая о хрупкости товара, и побежал за ней. Догнал и молча пошел рядом. Она делала вид, что не замечает идущего рядом *артиста*, шла, гордо подняв голову и сосредоточенно смотря вдаль.

Генка пытался отдышаться и придумывал подходящие к случаю слова. Он чувствовал, что не может упустить эту девушку, не потому, что она очень хороша собой, и не потому, что казалась богатой, — нет, но она выглядела человеком из мира *других людей*, вход в который был пока закрыт и для него, и для скромной лаборантки Полины. В этом мире ведут умные беседы, читают книги, ходят в настоящие театры, а не восхищаются развлекаловкой возле станции метро, разгуливают по выставкам картин и скульптур и презирают мелкие ремесленные поделки из стекла. Он вдруг понял, как далек от этого мира и как, оказывается, хочет там оказаться.

Они прошли рядом два квартала, Генка так и не решился заговорить. Девушка, по всей видимости, направлялась со своим портфельчиком домой, Генка дошел с ней до парадной двери, она открыла кодовый замок и исчезла, не обернувшись.

Назавтра после работы он ждал ее у двери, не слишком уверенный, что дождет, но зная, что будет приходить, пока не встретит. Он дождался и, отбросив робость, преградил таинственной незнакомке дорогу.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — она удивленно подняла брови. — А вы кто? Я вас не знаю.

— Ну как же, как же? Вчера вы подарили мне на счастье стеклянного слоника, и он честно выполнил свое предназначение: я снова вижу вас, — не то чтобы Генка под-

страивался под шибко культурного господина, скорее всего, он просто кривлялся, однако старался все же произвести впечатление.

— Послушайте, что вы тут фокусничаете? Я вас не знаю и знать не хочу.

— Ключевое слово: фокусничаете. Я действительно фокусник и большой умелец — вы вчера подарили мне мое изделие. Ловкость рук — и никакого мошенничества. Разумеется, вам не интересны мои фокусы и безделушки, но у каждого фокусника есть душа, и разбить ее так же просто, как стеклянного слона или стеклянного же козла.

— Господи, что вы несете?! — вдруг рассмеялась девушка. — Язык без костей.

— Да, речь моя косноязычна, но сердце знает много красивых слов, и когда я вижу перед собой неземное создание с портфельчиком, хочется петь песни и слагать стихи. Меня зовут Геннадий, попросту Геша, я увидел вас в толпе и понял: это моя судьба.

— А если я судьба кого-то другого? Если я замужем? — заулыбалась девушка и стала милой и простой, не выходя, однако, из мира строгих костюмов и портфельчиков.

— Нет! — вскричал Генка. — Вы не можете так поступить со мной! У вас не может быть мужа.

— Почему это не может? — нахмурилась девушка, прогнав улыбку.

— Нет, может, конечно, но не сейчас, когда мне выпало счастье встретить вас, — Генке вдруг надоело ерничать. — Послушайте, вы мне очень понравились, с первого взгляда. Давайте сходим куда-нибудь, даже если вы замужем.

— Во мне нет ничего особенного. Я не замужем, но я никуда не хожу с первым встречным.

— Вон там, сбоку, почти напротив вашего дома, вполне приличное кафе, я посмотрел, пока вас ждал. Туда вы смело можете пойти с первым встречным, вам ничего не угрожает. Я приду завтра, в это же время, после работы. Пойдем в кафе, выпьем кофе, перекусим. Вы ведь с работы?

— Конечно.

— Мы оба голодные. Можем прямо сейчас пойти.

— Нет, не сейчас, — раздумчиво сказала она. — Завтра. Какой вы смешной!

— Я грустный клоун. Но для вас... Готов веселить вас часами. Как вас зовут?

— Лариса.

— Ну, до завтра?

— Да, — неуверенно протянула она.

«Обманет, — подумал Генка. — Нарочно задержится, чтобы отстал. Она не знает, с кем имеет дело. Я Гвоздь».

Они гуляли по осеннему парку, не за руку, не в обнимку — просто шли рядом, перебрасываясь короткими фразами. Генка не смотрел на Ларису, он смотрел вокруг и грустил, с удивлением отмечая, как стремительно, не раскланиваясь, уходят со сцены деревья и кусты, только что радовавшие зрителей своим ярким искусством перевоплощения. Он думал о приближающейся зиме с каким-то двойственным чувством. Конечно, его торговое предприятие вот-вот закончит свое существование, закроется, как закрываются многие другие, даже более крупные объекты, не выдержав конкуренции и безденежья. В Генкином же случае дело обстояло и проще, и безнадежнее, ибо его местом под солнцем распоряжалась природа, и когда не было солнца, умирало место: не будешь же на морозе торговать стекляшками и зазывать замерзших прохожих приторможенными холодом фокусами. А это означало отсутствие денег, материнский крик и гибель проснувшегося было уважения к себе. С другой же стороны, надоело ему лепить без конца стеклянных красавцев, стоять возле метро, опасаясь, что опять подойдет какой-нибудь *хозяйин жизни* и начнет диктовать свои условия. И показывать

фокусы на бесплатную радость не отягощенных интеллектом прохожих ему тоже надоело. Надо было что-то решать.

Тяжелые мысли затмевали радость общения с *девушкой из другого мира*, да и ее другой мир, как оказалось, находился почти рядом с Генкиным. Она приехала из Саратова, училась в Ленинграде, потом осталась насовсем и жила у тетки на правах углового жильца, так что и уединиться с ней не было никакой возможности. Костюм, портфельчик, вид офисного работника — это, конечно, хорошо, только офис-то был крошечным, какая-то контора по продажам всякого рода товаров, где дипломированный экономист Лариса делала все, что прикажут: барабанила на машинке, осваивала компьютер, ставила печати на важных бумагах и разъезжала по городу за свой счет вместо курьера. У нее не было денег бегать по театрам, концертным залам и выставкам; она не знала, какое жалкое существование влечат объекты культуры в пору расцвета в стране бизнеса всех форм и размеров, повсеместной хитрости, воровства и беззакония. Эти знания были Ларисе ни к чему, но она любила читать и, не слишком знакомая с классиками, увлекалась мемуарами, воспоминаниями и различного рода пикантными историями с подробностями из жизни знаменитых людей. Она охотно пересказывала Генке эти истории, в которых самым интересным для него было не содержание, а форма изложения. Девушка *стеснялась*. Она заменяла слова, не договаривала, краснела, а Генка, слушая, любовался ею и думал, как смело теперь стали писать: все как есть. Впрочем, так ли оно было на самом деле? Правда ли, что писатель Сомерсет Моэм, о котором Генка слыхом не слыхал, в девяносто лет впал в маразм и творил непотребности прямо на ковре собственной гостиной? Правда ли, что Сальвадор Дали, о нем Генка что-то слышал, пригласил однажды в гости русского композитора, продержал его одного в закрытой комнате несколько часов, а потом проскакал мимо в голом виде верхом на палочке. А Пушкин? Пушкина знают все, но не всем известно, как он пришел однажды на бал в прозрачных кисейных панталонах и без нижнего белья — эту историю поведал всему миру какой-то Вересаев. Это правда? А впрочем, какая разница? Главное — интересно...

Насчет правды — неважно, а важно то, что в свои двадцать пять лет Лариса оказалась слишком застенчивой, так что ее офисный облик, ее строгий вид совершенно не соответствовали характеру, и Генке с самого начала пришлось преодолевать ее сопротивление и свою собственную робость. Он никак не мог решиться поцеловать Ларису, а когда наконец решился, был разочарован: сжимала губы, вырывалась, покрывалась красными пятнами. Вот так реальность губит фантазии. Не расположен был Генка превращать двадцатипятилетнюю «девчонку» во взрослую женщину, не то было у него настроение. Он так и сказал:

— Все, нагулялись. Я не принц, чтобы будить спящую красавицу. Я человек простой, озабоченный жизнью. Так что прощай и прости.

И вернулся к Полине, которую не навещал несколько недель, ссылаясь на плохое самочувствие. Самочувствие у него и в самом деле было плохим. Он искал способов заработать.

## Глава 8

От себя не убежишь. Назвался груздем — полезай в кузов. Родился фокусником — тяни свою ляжку.

Генка продал остатки *творческого вдохновения*, гульнул на вырученные деньги в ресторане и погрузился в осень, которая влилась в него вместе с петербургскими дождями, обмотанными ветром, агрессивной унылостью неба и скучными вечерами в квартире свобододлюбивой Полины. Вот-вот кончатся деньги, вот-вот снова содрогнутся сте-

ны его жалкой коммуналки от задремавшего было материнского ора, и он опять станет придурком, которого не стоило рожать. Волшебная сила денег! Когда они есть, меняется не только твоя жизнь — меняется мир, большой взрослый мир, который, как грудной ребенок, успокаивается от нарядной соски-пустышки, становясь красивым и любимым. Надо только уметь вовремя заткнуть орущий рот.

Генка умел. Он недолго предавался унынию, а потом словно что-то щелкнуло в голове, и заработал остановившийся механизм жизни, как игрушка, израсходовавшая заводную энергию и проснувшаяся от случайного толчка.

Конечно, от романчика с недоразвитой Ларисой Генка ничего не приобрел, кроме короткой, но яркой вспышки *любви с первого взгляда*, которая дается не каждому и не каждый может ее распознать. Когда ты видишь девушку и с удивлением говоришь себе: это ОНА, надо ловить момент, и он поймал. Поймал, полюбовался и отпустил — момент.... Но воспоминание осталось. Не о самой девушке, а о своем чувстве, радостном, хотя и ошибочном. Ну, ошибся, но ее кажущийся *другой мир* остался, и осталось желание войти в него. А как? Книжки читать, просвещаться, чтобы самому знать и рассказывать невероятные истории из жизни значительных людей, а заодно узнавать, за что они стали значительными. И вообще... Погружаться в чужие истории все же интереснее, чем валяться с Полиной на диване или есть пельмени на ее малоразмерной кухне.

Он стал почитать и однажды, рассматривая полки в лавке старой книги, случайно наткнулся на затрепанную книжонку в мягкой обложке. «Фокусы». Фокусы Генке осточертели, но книжка стоила недорого, и он ее купил. Он лениво перелистывал страницы в вагоне метро и вдруг заинтересовался, увлекся, читал целый день на работе, а потом дома, стараясь не слышать, как мать в своей смежной комнате грохочет стульями, что-то двигает, переставляет, накапливая энергию звуков в гортани. Сколько интересных трюков можно показать, почти не напрягаясь, если у тебя ловкие руки и подвижный мозг! Он кое-что попробовал и почувствовал вдохновение, которое требовало выхода. А дальше все пошло само, Генка словно и не думал, автоматически делая то, что подсказывалось закипающим в груди вдохновением. Он написал объявление:

*Корпоративы, свадьбы, детские праздники!  
Фокусник-волшебник!  
Ловкость рук и никакого обмана!  
Телефон для справок...*

Буквы сделал яркими, разноцветными, на краю листка поместил картинку, которую перерисовал из той же книжки: длинный человек в черном плаще и цилиндре и струящиеся из его рукавов пестрые ленты. Он приклеил листок к доске объявлений и начал готовиться к новой работе. Раздобыл в комиссионке плащ, сам склеил цилиндр, купил кое-какой реквизит и обтягивающий тренировочный костюм, который украсил блестками и аккуратно расшил бусинками. Он надумал так: сначала плащ и цилиндр, потом ловким и изящным движением плащ сбрасывается, цилиндр откидывается в сторону, и перед глазами зрителей предстает стройный молодой человек с гибкой фигурой. Хорошо бы одновременно показывать несложные акробатические номера, но для этого надо быть не тощим, а тонким и мускулистым. На последние деньги он записался в спортзал.

Ждать заказчиков пришлось долго, оно и понятно: богатые люди не станут приглашать в дом случайного человека, а у бедных вообще нет денег. Генка ждал, терпел, живя на свою скудную зарплату под аккомпанемент материнской песни. Первый раз его пригласили в декабре, на новогодний детский праздник в семье участкового терапевта. Он договорился и сразу подал в лаборатории заявление об уходе, а потом раз и навсегда

да распрощался с Полиной. Чтобы избежать сцен, он объявил девушке об уходе с работы и из ее жизни прямо в лаборатории, во время обеденного перерыва. Хотя какие сцены? Теперь, когда прошла жалость, расставание казалось Генке пустой формальностью. В самом деле, разве можно принимать их редкие теперь встречи, безрадостный секс за отношения влюбленных или хотя бы тяготеющих друг к другу людей? Между истинной страстью, любовью, привязанностью стояло теперь одиноличное Генкино *вдохновение*, толкающее его вперед и вперед по жизни, в которой не окажется места для Полины, лаборатории физики стекла и матери, хотя пусть она живет, но подальше от своего непутевого сына...

— В общем, все, Поля, расходятся наши дорожки.

— Ты, наверно, шутишь? Зачем так шутить, Геша? Нечестно.

— Какие шутки?! Ты что, не видишь, что чувства пошли на убыль? Все кончается, Полюшко, такова жизнь. Спасибо тебе за любовь и прощай, — он повернулся, чтобы уйти, но она удержала своего возвышенного героя, схватив за полу рабочего халата.

— Ты не можешь уйти, Геша. Мы же, как родные, нашли друг друга. Неужто, как моя мать, бросишь меня теперь?

— Я не мать, Поля. Я мужчина. У мужчины должна быть биография, я сейчас над ней работаю.

— Другую нашел?

— Не всегда мужчина расстается с женщиной из-за другой, пора тебе это знать, Поля. И закончим наш неприятный разговор.

Полина плакала. Он поспешил уйти, чтобы не видеть женских слез и не чувствовать себя виноватым. В чем он виноват? Он прекрасно провел сцену расставания, он был умен, красноречив и тверд, — вполне можно уважать себя и выбросить из головы мелкие ничтожные чувства. Жалость, сочувствие — на этих кривых кобылах далеко не уедешь...

С врачом-терапевтом Генка перед тем, как окончательно договориться, долго торговался. Тот, бедняга, все старался снизить цену: любил своего сыночка, хотел доставить ему радость, а радость нынче стоила дорого. Генка подумал и пошел навстречу хорошему человеку. Он рассудил так: первый опыт, шут его знает, как получится, но если получится удачно, что скорее всего, хороший человек обеспечит артисту устную рекламу, так что жадничать пока не стоит. Они сошлись на удобоваримой цене, и Генка начал готовиться к своему первому *выходу на сцену*. Нет, неправда, что все давалось ему легко, он просто умел постигать и преодолевать трудности. К тому же он любил дела, которыми занимался, и отдавал им всего себя. Все, что он делал, называлось *творчеством*, неважно, что ты творишь: детали на токарном станке, свое тело на спортивном снаряде или спектакли для взрослых и детей. Генка оказался прав: врач-терапевт, пришедший в восторг от трюков фокусника, великодушно поделился своей находкой с друзьями и товарищами по работе, те в свою очередь пронесли Генкину славу в массы, — в результате накануне Нового года и после, во время каникул *артиста* буквально разрывали на части интеллигентные люди, не утратившие от бедности чувство прекрасного.

Генке нравилось работать с детьми, это тебе не взрослые дураки, которые с раскрытыми ртами любят фигу из кармана. Дети искренни. Если фокусник добросовестен, если он переполнен энергией и испытывает удовольствие от своей работы; если он умеет делать множество дел одновременно: ходить на руках, выплевывая шарики изо рта, садиться на шпагат и стоять на голове; если он не забывает вовлекать зрителей в свои проделки, не раскрывая тайн и окончательно превращаясь в волшебника; если он может разговаривать без переводчика на детском языке, — тогда такому мастеру обеспечены успех и слава, пусть даже в узком кругу. И деньги — как заслуженный результат труда и вдохновения...

Он трудился до самой весны и увеселял теперь не только детей, но и взрослых, на корпоративах и семейных торжествах, все усложняя и усложняя программу и заставляя себя отключаться от ненужных мыслей о глупости человечества, восхищающегося ярким обманом ловкого манипулятора. Такие мысли были ему не нужны, они гасили вдохновение, поэтому он представлял на месте *этих дураков* самого себя, в детстве, лишенном развлечений и теплой материнской заботы. Он показывал *себе* свое искусство и радовался, что теперь у него есть другое детство, без злобы, криков и упреков, которое будет длиться столько, сколько он захочет. Но он уже чувствовал усталость.

Пожалуй, ему нужна была легкая любовная интрижка, он уже был вполне готов поделиться частью своего вдохновения. Не в ущерб основному делу, а для его дополнительной окраски. Вопрос был в выборе женщины, а уж покорить ее — нетрудное дело для артиста, особенно истинного, строящего каждое выступление на крылатых и одновременно мощных эмоциях, которыми непременно заражаются зрители, а тем более склонный к проявлению острых чувств женский пол. К тому же Генка с удивлением замечал, что похорошел и перестал походить на корявый гвоздь с плоской шляпкой. Он отрастил длинные волосы, которые оказались густыми, вьющимися и образовали на его приплюснутой голове таинственное «воронье гнездо», придающее облику мужчины мужественность в сочетании с поэтичностью и непредсказуемостью. Ну и, конечно, тело. Не зря он ходил в спортзал, истязая себя до изнурения. В процессе выступления перед взрослой аудиторией он теперь не только снимал плащ, оставаясь в костюме стройного акробата, — он устраивал стриптиз, сдергивал черную обтягивающую футболку и демонстрировал зрителям крепкий мускулистый торс. Это было нисколько не стыдно и, пожалуй, красиво. Во всяком случае женщины явно переключали внимание с манипулирующей фокусника на его внешность, а уж потом возвращались взглядами к его работе, соединив мастерство артиста с привлекательностью тела и обеспечивая таким образом еще больший успех волшебнику.

Однажды, работая и не отпуская от взгляда аудиторию, он заметил среди зрителей женщину лет тридцати, глаза которой светились тем несдерживаемым восторгом, который ни с чем не спутаешь: ей нравился *мужчина*. Генку заинтересовала эта дамочка, так открыто демонстрирующая тайные чувства. В процессе выступления он вызвал ее на сцену, показал несколько зарисовок с ее участием, заодно и присмотрелся: поленькая, грудастая, подвижная, — подходит. Провожая красавицу со сцены, он шепнул:

— Буду ждать на выходе, через час.

Она улыбнулась и ничего не ответила, но он знал, что выйдет и пойдет с ним. Вопрос, куда пойти, не к матери же в коммуналку. «Ничего, как-нибудь решим», — подумал он.

Решили просто: она пригласила артиста к себе. Пили кофе, Генка был серьезен — как бы сбросил с себя сценическую маску, — немногословен, словам предпочитал взгляды и, неплохо натасканный опытной Полиной, действовал неспешно, без суеты, но властно, не оставляя женщине путей к отступлению. Она, впрочем, никуда не отступала и оказалась слишком податливой. Мужчина — борец, лепить удовольствие из хлебного мякиша ему не пристало, он должен высекать свою добычу из гранита. Конечно, момент был, Генка давно проголодался, но, как говорится, костер горел недолго. Две-три встречи — и будь здорова, дорогая. А я пошел, у меня дела, и кругом женщины, только рукой махни. Прощай, дорогая.

## Глава 9

Генка был собой доволен. За зиму он так много заработал, что мать закрыла рот для крика и даже иногда раскрывала его для улыбки. Улыбка, правда, получалась слегка резиновой, однобокой и, вопреки общепринятому мнению, не украшала лицо, а пре-

вращала в маску. Впрочем, Генке было все равно. У него теперь имелся счет в банке, с помощью которого он мог продержаться лето без работы, однако впереди — темный лес. Что дальше-то делать? Нужен развлекательный бизнес, помещение, помощники — какие-нибудь цирковые артисты, чтобы не изнурять себя одного, — реквизит, реклама. Нужно *сразу много денег*. Их пока нет, и где взять? Украсть? Мошенничать? — это он смог бы: ловкость рук... Не хочется пока, опасно. Нужен честный бизнес...

Стоял теплый май. Конец мая и конец июня Генке предстояло трудиться не покладая рук: «последние звонки» в школах, выпускные вечеринки. Он дал себе недельный отпуск, чтобы быть готовым к честному и утомительному труду. Он устал — и от работы, и от мыслей о будущем. Ему нужны были покой и тишина.

Генка не любил город. И сколько бы ни болтали о Петербурге, этой *Северной Венеции*, с ее каналами, разводными мостами и *богатым культурным наследием*, его угнетали, его давили и агрессивный Медный всадник, и тяжелый, сжимающий мир в каменных объятиях Казанский собор, и пузатый монферрановский Исаакий, единственным украшением которого он считал звучное имя архитектора, где-то однажды случайно услышанное. Генка любил природу, и опять же не парки, не монументальные фонтаны и царские дворцы, с их роскошью, намекающей на безделье хозяев и недоступность богатства для прочих граждан. Нет, Генка любил тихие скромные уголки Ленинградской области, хотя последнее время, чувствуя свое приближение к миру богатых людей, предпочитал все-таки элитные пригороды. Там тоже было тихо и скромно, а особняки за высокими заборами не раздражали, но обещали: он, Генка-Гвоздь, скоро сможет оказаться там и жить хоть не по-царски, но комфортно и красиво, честно заработав свое богатство.

У него было любимое место в поселке Курортного района, на берегу озера, отороченного негустым сосновым лесом. Там пахло смолой, озерной тиной и рыбой, там ноги утопали в пересыпанном камушками песке, и плавали степенные дикие утки, неохотно деля с чайками свою скромную случайную трапезу. На прорезающих сосновый массив улицах в будние дни бывало пустынно, только откормленные кошки редких пород иногда пробегали мимо по своим делам и пропадали в подворотнях особняков. Никто не выкашивал траву на обочинах улиц, она росла свободно, как в поле, источая медовые ароматы под солнцем и влажные запахи дождя в пасмурные дни.

Генка снял в гостинице номер на неделю, пообедал в кафе и тут же отправился на берег озера. Никаких дачников, никаких купаний — день был теплым, но к вечеру остыл, да и вода еще не нагрелась, лениво поглаживала берег холодной дланью и задумчиво отступала.

Он сидел на берегу, окуная руки в песок, и растирал его в горсти, словно хотел обнаружить между песчинок золотую крупинку или некий исторический артефакт. Неприятные мысли о будущем оставили голову в покое, и казалось, что эта тишина, это безмыслие, этот покой продлятся долго, однако не всегда, потому что время возьмет свое, и заботы вернутся, но уже к другому, отдохнувшему, готовому к жизни человеку.

Генка услышал шум приближающегося автомобиля, оглянулся: блестящий черный «роллс-ройс» остановился у кромки пляжа и, взвизгнув, уткнулся мордой в траву. Распахнулась дверца, невысокий плотный мужчина вырвался наружу, побежал к воде, на ходу сбрасывая одежду. «Купаться, что ли, собрался? — подумал Генка. — Во дает мужик!» Мужчина в плавках побежал вперед, окунулся, заверещал и поплыл, отфыркиваясь и суматошно выбрасывая руки. Потом вдруг исчез под водой, снова появился и, что-то выкрикивая безумным голосом, опять исчез. «Тонет дурак», — подумал Генка, вскочил и прямо в одежде бросился в воду. «Помогите!» — задышавшись, орал мужчина. Ясное дело, Генка помог, а кто бы на его месте остался сидеть, если рядом человек отдает концы! Вытащил он этого чудака, доволоч до сухого места, сделал искусственное



дыхание. Шизонутый пловец очухался быстро, похлопал глазами и сел на песок. Генка набросил на него полотенце и принялся отжимать свои мокрые брюки и футболку. Холодно, черт возьми.

— Молодой человек, какое счастье, что вы оказались рядом! Я вам жизнью обязан.

— Зачем вы в воду-то полезли? Моржуете?

— Нервы хотел успокоить водными процедурами. Я хорошо плаваю, а тут от холода ногу свело. Все-таки к шестому десятку жизни надо бы быть осторожнее, — он повеселел, но все еще задыхался и слегка клацал зубами. — Ей-богу, утонул бы, если бы вы не помогли. Оказывается, я везунчик, буду иметь в виду *свою непотопляемость*. Это дает надежду на светлое будущее.

— У вас что-то случилось? Надеюсь, вы не собирались топить?

— Нет, — попробовал засмеяться человек и слегка икнул. — Нет, нет, хотел остудить себя холодной ванной, потому что действительно неприятностей много, надо было успокоиться.

— Успокоились?

— Да как сказать...

Тут он глянул на свое левое запястье, дернул головой и снова засмеялся:

— Везунчик-то я везунчик, но большие деньги опять умудрился потерять. Мне, видно, на роду написано: деньги терять.

— А что конкретно потеряли?

— В данном случае можно сказать — ерунду. Однако жалко. Дорогущие часы, Rolex, подарил водяному. Хотя по сравнению с жизнью — мелочь. Но жаден человек, жаден. Его убивают, а он думает, что пятна крови испортят рубашку. Эх, растяпа я. По жизни — растяпа, — он вдруг заплакал.

Генка не мог выносить слез. С женщинами было проще: плачешь? — ну, плачь, а я пошел. Но когда плачет крепкий немолодой мужчина, видеть такое невыносимо, а от-вернуться как-то не по-товарищески.

— Вы часы в воде потеряли? — уточнил он, не в силах понять, как может мужчина плакать по такому ничтожному поводу, едва не утонув. «Что-то у него случилось серьезное, часы — последняя капля», — подумал он и сказал, не успев толком подумать:

— Пойду нырну разок, может, найду?

— Ну, что вы, что вы, — прошептал мужчина, пытаясь остановить слезы. — Вы и так замерзли.

— Я быстро. Только гляну.

Зачем Генка врал? Зачем устраивал спектакль? Он ведь знал, что ничего не найдет. Он успел усечь тот момент, когда, расстегнувшись, часы упали на дно озера, ловко под-нял их одной рукой и сунул в карман мокрых брюк. Он не собирался их присваивать, хотел отдать незадачливому «моржу». Но, услышав марку и прикинув цену, передумал. «Плата за спасение человека, — успокоил он себя. — За гражданский подвиг и побольше можно заплатить».

Для виду Генка нырнул пару раз, окончательно замерз и решил, что вину свою пол-ностью искупил.

— Нет, ничего не нашел, — его трясло не то от холода, не то непонятно от чего.

— Ну, ладно, ладно, пойдемте в машину, холодно. Поехали ко мне, я тут рядом живу. Переоденетесь, выпьем, закусим. Водочки надо обязательно, чтоб не простудиться.

И правда. Только заболеть не хватало. Генка не болеть приехал, а отдыхать и про-чищать мозги. И вообще — этот мужик может пригодиться.

Конечно, высокий забор. Конечно, огромный домина, но какой-то строгий, без вся-ких придамбасов, короче, не во имя пижонства, а чтобы жить комфортно. Они вошли

не через массивную парадную дверь, а почему-то сбоку, и сразу оказались в светлом зале, сто квадратных метров, не меньше, с широкими и высокими окнами и лепными потолками. Худошавая женщина в брючках и свободной блузе встретила их на пороге, тревожно взглянула на мокрого Генку:

— Что случилось?

— Ничего, — попробовал засмеяться спасенный пловец. — Неувязочка вышла. Нырнул я, ногу свело. Молодой человек пришел на помощь. Кстати, как зовут вас, мой дорогой спаситель?

— Геннадий.

— Вот, Аллочка, это Геннадий. Это моя жена Аллочка, а я — Роман, — он говорил быстро, не давая Аллочке рта раскрыть, забалтывал.

— А по батюшке? — спросил Генка, имея в виду солидный возраст своего подопечного.

— Да какой там батюшка! Считайте, вы сами мой крестный отец.

— Подожди-ка, Рома, — остановила его жена. — Объясни, в чем дело.

— Да я уже все сказал.

— Зачем тебе понадобилось нырять? Хотя... ничего нового...

— Вот именно, тем более что Геннадию надо срочно переодеться. Принеси что-нибудь, дорогая. И выпить нам надо, закусить. Сделаешь?

Женщина молча направилась в соседнюю дверь. Пока ее не было, Генка рассматривал помещение, перескакивая цепким взглядом с одного предмета на другой, соединяя их вместе и создавая для себя общую картину дома, а заодно и портреты его обитателей. Красивый дом, стильный, а хозяева — симпатичные люди с хорошим вкусом и большими деньгами. Генка никогда не бывал в домах, по-настоящему богатых, но почему-то считал, что все в них должно быть напоказ, все должно кричать о богатстве, безвкусно и дорого. Здесь тоже было дорого и одновременно скромно, удобно и гармонично. Странное сочетание старинного с современным, когда прошлое плавно перетекает в настоящее, демонстрируя почти человеческую преемственность поколений вещей. Огромный светлый зал служил и кухней со старинным многоярусным буфетом и современной барной стойкой; и столовой, где громоздкий стол на тяжелых ножках уживался с легкой «горкой» для посуды; и гостиной, в углу которой красовался антикварный столик на витой ножке в окружении трех «танцующих» кресел советского производства; и зимним садом с модными нынче напольными и вьющимися растениями, отражающими бликующий свет от многоцветной витражной стенки. На верхний этаж дома вела плавно круглящаяся лестница, над которой висела огромная картина — лестница, изображенная на ней, создавала иллюзию продолжения пути в бесконечность.

Такое смешение стилей показалось Генке уместным, если иметь в виду, что юный капитализм в России никак не мог выбиться из-под крыла советской действительности и сохранял пока с ней кровное родство, потому что полностью отказываться от родителей в мире людей не принято. Как-то незаметно, суетливо мелькнул перед его мысленным взором образ матери. Мелькнул и исчез, потому что хозяйка пригласила его в соседнюю комнату — переодеться.

Сидя в чужом спортивном костюме в чужом кресле чужого дома, Генка разглядывал хлопчущую на кухне жену богатого человека. «Сколько ей лет? — думал он. — Немолодая, явно немолодая. Но как приятно посмотреть!» Ни косметики, ни модной прически, ни экстравагантной домашней одежды — естественно, просто. Спокойные движения, милая сосредоточенность лица, деловитость в сочетании с неторопливостью.

— Прошу к столу.

Выпили водки, закусили обычным оливье, сыром и колбаской. Роман многократно пил за свое второе рождение и за своего спасителя, а Генка без притворства и актерства один раз поднял бокал за хозяйку дома.

— Вы очень молодая и красивая, — сказал он.

— Ну, что вы?! — улыбнулась она. — Мне скоро шестьдесят.

Генка и раньше замечал: не все женщины скрывают свой возраст. Некоторые, хорошо сохранившиеся, даже любят им похвастать, чтобы лишний раз услышать: никогда бы не подумал! Но она не хвастала, просто констатировала факт, что не помешало Генке ответить, как положено:

— Никогда бы не подумал!

Когда он собирался домой, Роман сказал:

— А знаете, что? Приходите к нам завтра, у меня день рождения. Обычно у нас много бывает гостей, но сейчас, в связи с предложенными обстоятельствами, никого не хотим видеть. А вы приходите, я сегодня благодаря вам родился.

— У вас какие-то неприятности?

— Приходите завтра. Расскажу.

Генка пошел, не столько из любопытства, сколько из желания снова увидеть Аллочку. «Она сказала, что есть сын, живет за границей. Хорошо, когда такая мать: красивая, спокойная и голос тихий», — думал Генка...

Хозяйка была неотразима. Длинное шелковое платье, на груди, в глубоком его вырезу *возлежало* замысловатое кольцо с зелеными камнями (изумруды?), в ушах блестяли серьги с такими же камнями (изумруды?!), играющими светом заходящего солнца. Аллочка выглядела роскошной красавицей, особенно ее зеленые глаза, словно специально подобранные под цвет камней. С другими камнями глаза обязательно становятся другими — это называется *волшебством красоты*.

Ужин был накрыт на антикварном чуде с витой ножкой в углу гостиной, напитки разместились на современном столике на колесах. Гурманом Генка не был, пить много не любил, но ел и пил, чувствуя незнакомую прежде радость, которая рождалась не обилием спиртного и изысканностью блюд, не богатством дома, не добродушием хозяина и даже не красотой хозяйки. Он представил себя их отсутствующим сыном, вот они сидят все вместе, в интимном домашнем кругу и празднуют папин день рождения. И хорошо, что нет гостей. Кстати, почему все-таки нет гостей?

— У вас так хорошо здесь, — сказал Генка. — А вы говорили о неприятностях. Это была шутка?

— Нет, не шутка. Выпей еще, поешь, а я расскажу, — откликнулся хозяин, без усилий перейдя на «ты».

— У Ромы такая особенность, у него не от выпивки язык развязывается, а на нервной почве, — сказала Аллочка, и Генка не услышал в ее словах осуждения. — Преду-преждаю, он может увлечься, но всегда есть возможность его остановить.

— Правильно, если у тебя есть фонтан, заткни его, — процитировал Роман и засмеялся. — Говорят, грех грузить других своими проблемами. А по мне, лучше говорить, чем ходить с постной мордой и вызывать у людей тоску. А еще лучше, чтобы проблем не было. Давайте за это выпьем.

Потом хозяйка убрала со стола, пошла готовить десерт и варить кофе, а два захмелевших мужчины остались в креслах: один — говорить, другой — слушать.

— Я вчера слезу пустил, когда часы потерял, — начал хозяин. — Так это не от жадности.

— Я понял, — встрял Генка, чтобы что-то сказать и скрыть смущение, которого он от себя не ожидал.

— Дорогие часы, несколько миллионов стоят, но на фоне общей картины моей жизни — сущий пустяк. А прослезился я потому, что в очередной раз столкнулся с неvezучеством. Так сказать, еще один частный случай.

— Судя по вам, вашей жене и дому, невезучеством здесь не пахнет, — улыбнулся Генка.

— Эх, мой мальчик, не все золото, что блестит, и не всякая беда видна невооруженным глазом. Расскажу немного о себе, для знакомства. Вижу, хороший ты парень. Приятная встреча по неприятному поводу. Это людям намек: не все на свете плохо, жизнь биполярна, на каждый минус всегда найдется плюс. Видишь? Я оптимист.

— Я тоже, — ввернул Генка.

— Ну, так вот. По профессии я строитель, занимал при советской власти крупный пост в одном проектно-институте. Но характер всегда имел беспокойный. Аллочка правильно сказала: могу увлечься. Но остановить меня не так просто, вечно в голове тараканы бегают, и в заднице свербит. А тут, в начале девяностых, новая жизнь в стране началась. Институт наш ликвидировали, я и рад был: все в бизнес кинулись, а я, небедный человек, всю жизнь только и ждал свободной творческой работы. Бизнес — это, конечно, экономика. Но *творческая экономика*, требует ума и азарта. Не буду подробно описывать ту way в бизнесе, это тема отдельного разговора. Начал с бензоколонок, хорошо зарабатывал, купил пару квартир, дом этот соорудил, взял в аренду территорию, построил офис. Но криминал... И похищали меня, и били, и к батарее привязывали, и собственную могилу рыть заставляли — это все так типично для нашей *свободы*, что даже неинтересно. Продал я бензоколонки, купил два пассажирских паровозика, туристические поездки из Крыма в Турцию. А управляли делом аферисты на местах, воровали, а потом меня подставили. *Мошенничество в особо крупных размерах*. До десяти лет... Посадили, два месяца сидел на Захарьевской. Аллочка рассказывала потом про передачи в тюрьму. Говорит, придешь на рынок, скажешь торговцу: мне для тюрьмы, — лучший товар выберут. Бандитам народ сочувствует! А в очереди, чтобы посылки отдавать, люди стояли разные, и бандиты среди них. Так они всем помогали, разъясняли, что можно, что нельзя, в каком виде передавать, — в общем, дружба и всеобщее братание...

Выкрутился я, однако, оправдали, вышел на волю. И тут повстречались мне два славных братца: симпатяги, культурные и со связями. У них был сырный бизнес. Ну, как бизнес? Купи — продай. Покупали за границей сыры, здесь продавали. Хорошая прибыль, — он как-то натянуто улыбнулся и наполнил рюмки. — Выпьем, Гена, за то, чтобы человек, а тем паче мужчина, никогда не утрачивал разум.

Генке пить не хотелось, но жалко было рассказчика.

— Да-а... Проникся я к этим «сырникам», взяли они меня в свой бизнес. И решили мы выкупить территорию под офис — пополам. То есть я закладываю этот дом сроком на двадцать лет, покупаю территорию, остальное отдаю им, а они уж сами будут выплачивать по закладной. Все операции — на полном доверии. Эх-х! Помнишь, как у Пушкина? «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Это про меня. Сначала все было нормально. Офис свой я сдавал под аренду, они платили по закладной. А потом — кризис. И мои братья-разбойники втайне от меня объявили себя банкротами, заложили по поддельным документам офис и еще кое-что из моей недвижимости и смылись в Израиль. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

— Так что же теперь? — ужаснулся Генка. — Выходит, вы все потеряли?

— Именно. Ничего у меня нет. А банк требует платы по кредиту за заложенный дом. Того и гляди, окажемся на улице.

— Да-а... И никакого выхода?

— Насчет выхода — не знаю. Но есть надежда. Тут в поселке появился человек, нестарый, но на инвалидности. Рак желудка. От желудка кусочек только остался. Имя у этого человека боевое — Спартак. Снял здесь домик и живет постоянно, один. Мужественный и доброжелательный человек, со всеми жителями дружит, всегда готов

помочь. К нам часто приходит. У нас теперь положение тяжелое, на помощников денег нет. Спартак то одно сделает, то другое, не чинится, хотя бывший военный, окончил Военно-медицинскую академию, кандидат наук, оперировал в Эфиопии, был в Афганистане. Отец его, между прочим, служил генералом в ГРУ. Ну, выболтал я, конечно, Спартак свою историю. Он обещал помочь через своих приятелей в органах и используя отцовские связи. Мы в суд подали, чтобы доказать, что офис и другая недвижимость заложены по поддельным документам, и отсудить их обратно. Продадим и кредит по залогу дома выплатим, да еще и останется. Может, я, дурак, еще какое-нибудь дело затею. Или дом можно будет продать, он же бешеных денег стоит — дитя моего бензинового бизнеса. Дом продадим, квартиру купим и опять — гуляй, Вася, лезь опять в пасть капитализма. Меня, видно, уму не научишь.

— А где же ваш Спартак сегодня? Мог бы прийти, поздравить.

— Уехал каких-то родственников навещать. Через пару дней приедет, зайдет. Ты тоже приходи, познакомитесь, о себе расскажешь. А то я заболтал тебя, а кто ты, не знаю. Вижу, что хороший парень.

— Все-таки вы слишком доверчивы, — улыбнулся Генка. — Впустили к себе в дом чужого человека. А может, я вор?

— Нет, не вор ты, но интересный человек, серьезный, взрослый не по годам. Ты кто? По профессии.

— А никто. Простой рабочий из бедной семьи.

— Так ведь и я, в сущности, простой рабочий, строитель, начинал с бетонщика на заводе... Ну, приходи послезавтра к вечеру. Тебе бы учиться... Может, Спартак тебя в вуз устроит. У него все схвачено.

## Глава 10

«Что рассказать о себе? — думал Генка. — О фокусах — ни слова. Скажу, что я художник, скульптор: ваяю из стекла. Насочиняю всякой ерунды... Непрактичный все-таки мужик этот Роман. Зачем в бизнес полез, спрашивается?»

Он не слишком хотел снова идти в гости. Наивный и доверчивый Роман начинал раздражать, его красивая жена, с ее дружелюбием и спокойствием в сложившихся обстоятельствах, стала казаться неискренней. Или просто чужая беда действует на психику, подавляет оптимизм, а Генка привык жить с верой в себя? Может быть, он опять жалел людей? Или сострадал? Боль от сострадания хуже физической, от нее душа может стать инвалидом и появится дальновзоркость — очевидный признак старости и немоги. Ничто подобное было ему не нужно. Но какому человеку не купиться на тепло, красоту и дружеские, ни на чем не основанные чувства?

С утра у него болела голова, в какой-то момент Генка даже решил, что все-таки никуда не пойдет. Потом понял, что пойдет, не хочет, но пойдет — тянет. Он приоделся и отправился *во дворец*. День обещал быть теплым и неярким. С утра из светлого неба тихо падал дождь, но к вечеру небо помутнело, на белесом фоне вспыхнул закат, словно кто-то поджег тучи, — они пламенели и исходили черным агрессивным дымом. Волны озера, слабо рыча, вставали в стойку, готовые к прыжку и разрушениям. Головная боль мешала Генке думать, тяжелые, лягушачьи прыжки мыслей отдавались в каждом шаге.

— Ну, где же ваш Геркулес? — запросто, как старый знакомый, спросил он хозяина, пытаясь улыбкой скрыть головную боль.

— Геркулес! — засмеялся Роман. — Нет, Геркулесом его назвать трудно, хрупкий, болезненный. Но Спартак — подходит. Благородный человек. Он, кстати, уже пришел, жарит шашлык в саду.

«Благородно! — усмехнулся про себя Генка. — Нацепил фартук и жарит шашлыки в чужом доме. Молодец, Спартак».

За столом Генка рассказывал байки о себе. Спартак, невысокий subtilный мужчина лет сорока, с хорошеньким, как у женщины, личиком, слушал внимательно, подперев щеку ладонью и слегка улыбаясь глазами. Потом, конечно, повернули в сторону главной проблемы, не объедешь, как ни крути. Спартак демонстрировал деловитость, шелковую приятность голоса и высокий интеллект.

— Мы с вами честные люди, — вещал он. — Достоевский сказал, что в мире много честных людей благодаря тому, что они дураки. Мы не из их числа. Мы умные, но честные, — и в этом наша сила. Через неделю суд, я уверен в победе.

— Сколько уж было этих судов! — вздохнул Роман.

— Сейчас у нас не девятые годы, Рома, начались нулевые. Мой друг не последний человек в органах, обещал классного адвоката. Я специально сегодня с утра с ним виделся. Он меня успокоил. Не переживай, Рома. Прочитую опять же Достоевского: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде проявляются разные людишки... Я говорю лишь про сволочь...»

— Это где же Достоевский про сволочь рассуждает? — не боясь выдать свое невежество, спросил Генка.

— В «Бесах», юноша. Очень современный роман. Читали?

— Не довелось. Прочту обязательно, — усмехнулся Генка.

— Давайте выпьем за удачу, — поднял рюмку хорошенький Спартачок. — Чтобы кончился наконец этот тяжкий сон. *Жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена.* Но наша реальная жизнь имеет все шансы меняться в лучшую сторону.

Генка смотрел на него, слушал и *видел*. Перед его глазами словно мелькали кадры из фильма — не весь фильм, а, как в рекламе, отдельные яркие эпизоды. Голова болела так сильно, что хотелось немедленно встать и уйти и *не видеть* больше этого безобразия. Он не ушел до конца вечера и сдержался от желания прибить, уничтожить красавчика с женским личиком. Они вышли вместе, и Спартачок долго еще мучил его у калитки своей эрудицией и светлым взглядом в будущее. Потом попросил продиктовать «контактный телефон». Генка продиктовал и получил ответный номер — для поддержания приятных отношений.

Он пришел в гостиницу и лег, сунув голову под подушку. Он понимал теперь, что с ним происходит, и знал, что нужно делать. Все-таки когда ты *страдаешь* симпатичным пожилым людям, пусть даже наивным и глуповатым, — не стоит себя тормозить.

Утром голова болела меньше. День обещал быть погожим, ажурные тени на земле играли в прятки с солнцем, а небо над головой, яркое, глубокое и тревожное, напоминало перевернутое море с белыми переменчивыми волнами кучевых облаков. Генка чувствовал готовность к действиям. А что откладывать? Откладывать времени нет. Он позвонил Спартаку и приятным голосом предложил встретиться для беседы на *приятную* (удачно вспомнил слово!) тему. Красавчик тут же согласился и даже обрадовался. Его радушие не знало предела. Он встретил Генку у калитки, повел к дому — довольно жалкой хибарке, окруженной ухоженным, хотя и не приобретенным ещелетней яркости садиком.

— Давайте посидим в саду, вот здесь, под березкой. Видите, какая она кружевная. Ах, как люблю я эту первую ажурную зелень! Что будем пить: чай или кофе?

— Нет, спасибо, я плотно позавтракал, — соврал Генка, потому что с утра не проглотил ни кусочка, его все еще мутило после вчерашних мучений.

— Рад, что вы захотели повидаться. Вы очень молодой, но видно, что серьезный человек. Сейчас молодежь несколько иная, хотя не стоит, пожалуй, ругать молодое поколение, за ним наше будущее. А что вы думаете о своем будущем?

— Я думаю о настоящем. О нем и будет наш разговор.

— Вот как? Слушаю внимательно.

Генка глубоко вздохнул, откинулся на спинку садового кресла, закинул ногу за ногу и прищурился.

— Ну, начнем с того, что никакой ты не Спартак. Ты Василий, Вася-Василек. Это во-первых...

— Минуточку. А почему вы со мной на «ты»? Я вам в отцы гожусь.

— Не годишься. И никакой ты не военный врач, и в горячих точках не был, и папаша у тебя не генерал. Ты в приюте вырос. А вот дружок в органах у тебя есть, твой поделщик. Хотите вместе богатый дом оттяпать?

— Что с тобой, Гена? Ты бредишь, юноша?

— А хочешь, я нарисую тебе картинки? Бред сумасшедшего, но тебе понравятся. Помнишь старушку, которая бедствовала одна в огромной квартире, а ты к ней в сыновья устроился? Квартирка-то все еще у тебя, или продал? Знаю, знаю: продал, не парься.

— Ничего не понимаю...

— А старикашка, у которого ты под видом соцработника ордена спер? Ему эти ордена были дороже жизни. Он и умер от горя, когда обнаружил пропажу.

— Гена, ты болен?

— Это все мелочи, пустяки. наброски. А вот картонажная фабрика, в которой инвалиды коробки клеили, — другое дело. Помнишь? Ловко вы с дружкой твоим ее прибрали к рукам. Инвалидов — к чертям собачьим, зачем вам инвалидные коробки? А поддельные документы ляпать — дело стоящее. Правда ведь?

Спартак молчал. Не мигая, смотрел Генке в лицо, на лбу выступили капли пота, одна сорвалась, побежала по носу и повисла на кончике. Он машинально слизнул ее языком.

— А подпольный публичный дом в Краснодаре? — продолжал Генка, увлекаясь и наращивая звук. — Помнишь, как девок голыми на холод выгоняли, а потом вдвоем с дружкой драли их «мамку», пока не согласилась работать по вашим правилам. Рассказывать дальше?

— Ты сочиняешь всякие гадости...

— Могу продолжить.

— Ничего ты не можешь знать, молокосос.

— Ладно. Давай попроще. Твоя туфля натирает тебе мизинец на левой ноге, там водяная мозоль, ты ее сегодня залепил пластырем. Правильно? Далее. В футболке у тебя, вон в том кармашке сучает визитка. А на ней черным по голубому написано: Сорока. Это не птичка, а фамилия твоего покровителя из органов.

— Ты что, его знаешь? Это он, падла, меня продал?! — заикаясь, прошептал Спартак.

— Бог миловал. Таких знакомых мне только не хватало. Да он ведь не болтлив, хоть и сорока. А я без всяких сорок могу узнать все, что захочу.

— Ты экстрасенс, что ли?

— Да как сказать? Прошлое и настоящее вижу, как тебя сейчас. А вот будущее предсказать не могу. Хотя твое будущее у меня как на ладони, ты для него хорошо потрудился вместе с дружкой.

Спартак вдруг как-то обмяк, постарел, и сквозь женские черты проступила грубая маска уголовника.

— Чего ты хочешь? Денег? — так и говори. Поладим.

— Деньги в хозяйстве всегда пригодятся. Только твое вонючее бабло мне душу не согреет. Подавись.

— Зачем ты пришел, Гена?

— Дело у меня к тебе простое, можно считать, пустяковое. Ты его провернешь на раз-два. А я... Слушай, честно тебе скажу: я не борец за правду и справедливость на

всем земном шаре. Я для себя живу, и задачи передо мной стоят личные. Выполнишь мое задание — и катись на все четыре стороны, выброшу тебя из головы, а дальше уж смотри. До сих пор не попался — будь осторожен. Но я тут буду ни при чем. Другое дело, если сейчас постараться увильнуть. Не выйдет, брат. Найду и сдам. Попробуешь меня, как говорится, нейтрализовать — на полдороге обнаружу, и тот же итог для тебя. Понял?

— Дело-то какое?

— Очень простое дело, тебе хорошо знакомое, только с обратным знаком. Вы с Сорокой на дом намылились, ты Роме мозги пачкаешь, тянешь время и знаешь, чего делаешь. Хороший дом, что там говорить. Через неделю суд. Готовы с Сорокой его получить? Готовы. А мне чего-то Рому жалко, и жена у него красивая, хоть и старая, но оч-чень красивая, не хочу, чтобы ее зеленые глазки туманились слезами. Ну, вот каприз у меня такой! Так что ты идешь к Сороке, объясняешь ситуацию и направляешь его действия в противоположную сторону. Понял, Вася? Рома должен суд выиграть, получить обратный офис и всю недвижимость, а вы с Сорокой ищите себе другую тему для разработки. Я вам мешать не буду.

— А где гарантии?

— Никаких гарантий. Просто нет у тебя другого выхода, Василек.

— А ты что же? И номер счета узнать можешь?

— Трудно сказать. Не пробовал.

— Ничего, попробуешь. Ты небось еще почище меня будешь. Мы бы с тобой получили хорошей парой, великие дела могли бы делать. Дурак ты. И с чего ты взял, что Сорока все может?

— А я и думать не хочу об этом. Не может — пусть сможет. Иначе... Ну, ты понял. Пошел я, Вася. Давай включайся в работу, время не ждет.

Его беспощадная голова опять пошла в наступление, у Генки не было сил с ней сражаться. Он ходил по своему номеру и тихонько выл. Какого черта он ввязался в эту историю?! Да ведь он и не ввязывался. Его своевольная башка действовала самостоятельно, а ему, Генке-Гвоздю, какое дело до бестолкового утопленника Ромы и его глазастой Аллочки? Ей-богу, пожалеешь, что спас человеку жизнь. Как говорится, не делай людям добра — не получишь зла. Оторвать бы голову и выбросить, без головы и вообще жить легче, слишком много воли она на себя берет...

Ему пора было ехать в город, готовиться к майским выступлениям, но не было сил, он ждал, когда в черепной коробке наступит тишина, однако в этот раз было, наверно, слишком сильное напряжение, самопроизвольно включившийся на полную скорость механизм по инерции продолжал работать после остановки. Генка понимал, что странная способность видеть невидимое — редкий подарок, данный ему природой по какому-то неведомому выбору, и если использовать его разумно (выходит, голова все-таки нужна!), можно повернуть уйму полезных дел, как для человечества, так и лично для себя. Вот ведь гладиатор по имени Вася сразу смекнул: узнать номер любого счета — и вперед. Но, во-первых, пока не понятно, чего может, а чего не может Генкин необыкновенный мозг, а главное, ничего не дается за так. Подарили, например, тебе часы за пять миллионов, а кто-то убьет тебя за них, глазом не моргнув, или ненароком потеряешь в озере, а потом сиди и умывайся крокодиловыми слезами, забыв, что ты мужчина. За все надо платить. Нет, слишком уж высокая получается плата: несколько суток носить в себе разрывающую на части боль, так что в конце концов никаких земных благ не захочется. Да еще и страх появился: самопроизвольное включение любого прибора чревато катастрофой, а если этот прибор — мозговая начинка, то как



обуздать его, как обезопасить? Вот и выходит: носишь в кармане заряженный пистолет и не знаешь, когда он выстрелит.

Генка позвонил Роме, сказал, что простужен и несколько дней не появится, а сам выгуливал свою боль в лесу и ждал, когда туман в голове рассеется, поднимется вверх и окутает прежде голые деревья светло-фисташковым весенним дымом. Внизу, под ногами, влажная земля, едва прикрывшая травой наготу, уже украсила себя белыми звездочками, похожими на цветы тайского редкого растения *гардения флорида*, которые живущие на Таити женщины вплетают в венки, в волосы, носят за ухом. Генка видел однажды этот цветок на плакате турагентства. Русская земля подарила себе экзотику, отобрав у нее буйную пышность и аромат и облагородив скромностью, нежностью и печалью. Скромность, нежность, печаль — чуждые Генке черты — пробивались в душу вместе с белыми полянками под ногами, чистыми, словно вымытыми, стволами берез и прозрачностью, открытостью, щедростью просыпающегося леса, в котором хотелось остаться и быть, не участвуя ни в каких историях, кроме одной: расти, подниматься, дышать и умирать вместе с природой, не сливаясь с ней, но и не отделяясь от нее. Все эти мысли были глупостью, чужью и слабоволием, которые непременно покинут его, когда уйдет медленно затихающая боль. Он хочет жить среди людей красивой жизнью, которая уже сейчас начинает радовать его своими возможностями и его личной возможностью уважать себя и гордиться собой. А как иначе? Он верил, что авантюра со Спартаком-Васей закончится победой справедливости, носителем которой выступает Генка-Гвоздь, человек, помеченный Свыше. Можно было ехать в город, но он хотел дожидаться решения суда здесь, чтобы вблизи разделить с неудачливым Ромой его счастье и полюбоваться лишней раз сиянием зеленых глаз Аллочки. Чужие случайные люди... Для кого он старается? Для них или для себя, укрепляя почву под ногами, и при чем здесь влажная лесная земля и заморский цветок *гардения флорида*, название которого он почему-то запомнил? Теперь в голове ясно, и впереди видится интересная жизнь, к которой он, пожалуй, готов...

Роман кричал в телефон так громко, что Генка едва не оглох:

— Гена, Гена, мы победили! Слышишь, Гена, мы по-бе-ди-ли!!! Так и должно было быть. Честные люди всегда побеждают, я в этом не сомневался. А Спартачок-то каков?! Обещал и сделал. И, ты знаешь, уехал, ничего не сказав. Благородный человек, не хотел моих благодарностей. Надеюсь, скоро вернется.

— Поздравляю, Рома, рад за вас. А мне пора в город.

— Но ты придешь сегодня? Надо отметить.

— Нет, работа ждет, но я же не на Камчатку собрался. Увидимся, Аллочке привет.

Увидимся ли? Чужие люди... Только с часами получилось нехорошо. Генка бы вернул эту многомиллионную ценность, но как вернуть? Что сказать, как объяснить? А с другой стороны... Теперь Рома не нищий, не последний кусок Генка у него отнял. Да и помощь в таком серьезном деле стоит недешево. Сколько адвокат содрал бы за выигранное дело? Да и не выиграл бы, у этого Сороки все схвачено. Так что переживать Генке не о чем.

Он собирал вещи, вспоминая свой разговор с благородным Спартаком: «Я тебе в отцы гожусь». Как бы не так! У Генки-Гвоздя свой отец имеется. Есть же он где-то, черт возьми!.. В голове снова зашевелилась боль. «Опять?» — ужаснулся Генка. Но боль быстро погасла, осталась неприятная мысль: *не хочу больше показывать фокусы*. И еще: он теперь знал, где искать отца.

## ЧАСТЬ II. «СЕРЕБРЯНЫЙ»

### Глава 1

На гастроли в этот раз он не поехал. Он очень устал, нуждался в отдыхе, хотя исключение его номера из программы заметно ее обедняло и было встречено начальством в штыки. Но руководитель группы Оскар Серебряный понимал его больше других и готов был пойти на жертву, лишь бы главный герой эквilibра снова и как можно скорее обрел форму. «Возьми больничный, отдохни за городом, поедешь с нами в следующий раз», — хмурясь, сказа он.

Генрих больничный взял и поехал отдыхать в свое любимое место под Петербургом, ставшее теперь почти родным благодаря красоте, свежему воздуху и гостеприимному дому пожилой семейной пары — Ромы и Алочки. Как хорошо, что не продали они десять лет назад свой *дворец*, нашелся человек, Генка-Гвоздь, который уговорил хозяев не расставаться с имуществом, нажитым непосильным трудом. Перебились, перемоглись и снова поплыли по бурным житейским волнам. Молодец все-таки Роман — завел новый бизнес по стройматериалам, процветает, потому что народ принялся исто-во строить квартиры и дачи. А ведь Роме скоро семьдесят. И хорошо, что семьдесят: с возрастом помудрел, обзавелся осторожностью, перестал верить на слово. Теперь его не облапошишь, да и времена настали другие. Двадцать первый век расправил крылья, в воздухе запахло цивилизацией. Однако, конечно, от жуликов и воров никто не застрахован, но на этот случай у Ромы есть Генрих — тридцатипятилетний, почти красивый, умный, талантливый человек. Артист цирка *Генрих Серебряный*...

Здесь, на отдыхе, он каждый день навещал своих пожилых друзей, уцепился за них намертво, не зря же носил прежде кличку «Гвоздь», и ничего в ней не было обидного. Добротный гвоздь — это надежно, прочно, крепко и толково. Чем плох такой друг, почти сын, который, хоть и молод, может дать грамотный совет, потому что природа распорядилась одарить его пытливым умом и артистическим талантом? И все та же природа научила его *таланту перевоплощения*, превратив простого ограниченного парня в интеллигентного мужчину с задушевым голосом и складной речью, так что его, не отягощенного образованием, с удовольствием принимали в любом обществе, как в молодом, так и в солидном. Он смотрел, слушал, наблюдал и впитывал в себя те знания, которые не прячутся в учебники и книги, а летают по воздуху. Их всегда можно поймать, если хватает ловкости и чуткости, если ты умеешь, словно мелкими шурупчиками, скрепить в мозгу обрывки информации и в дальнейшем умело пользоваться полученным изделием. А если к изготовленному тобой ремесленному продукту добавить хоть немного искреннего чувства — получится настоящее художественное творение. Так обычный стул, сколоченный руками вдохновенного мастера, или борщ, сваренный поваром-поэтом, превращаются в произведения искусства. А что может быть прекраснее и благороднее истинного искусства?! Генрих Серебряный, бывший Генка-Гвоздь, был теперь почти благороден и почти прекрасен, если учесть перспективу дальнейшего совершенствования...

В доме своих друзей Генрих чувствовал себя свободно и просто, помогал Алочке готовить салаты, играл с Романом в нарды, иногда выпивал с ним, но, сам не склонный к злоупотреблению веселящими напитками, отучал от дурной привычки несдержанного друга, чем несказанно радовал его жену, и ее теплые чувства к Генриху росли обратно пропорционально выпитому мужем количеству алкоголя. Порой они вдвоем, молодой и старый, совершали набеги на некое подпольное заведение в окрестностях

поселка, но делали это крайне осторожно и умно, чтобы не оскорбить Аллочкины чувства. Они были абсолютно уверены друг в друге и знали, что ни один из них даже под пытками не выдаст страшной мужской тайны. Хотя тайны друг от друга все-таки имелись, по крайней мере, у Генриха — точно. Он не рассказал своему другу-отцу, каким путем удалось ему выиграть суд и получить обратно свою недвижимость. Не из скромности промолчал, а из страха, что от воспоминаний опять вернется головная боль, о которой он вспоминал с ужасом. Не повинился он перед Ромой и за украденные в озере часы, но нашел простой способ реабилитации себя перед собой же: подарил потерпевшему на день рождения такие же, если иметь в виду их цену. Ценный подарок не смутит хозяина: друзья теперь были на равных — оба небедные люди...

Днем Генрих гулял по поселку, слушал сентябрьскую тишину, в которой гулко, как в оставленном людьми большом зале, пролетали и уносились редкие звуки: перекличка женщин через забор, отрывистый собачий лай, шуршание кошачьих шагжков по опавшим листьям. Остановившись однажды возле пустой детской площадки, Генрих долго смотрел на неподвижные качели и вдруг, когда они, пустые, принялись раскачиваться от ветра, почувствовал страшное, почти вселенское одиночество. Вот так будет раскачиваться в космосе опустевшая земля, когда жизнь кончится...

А почему, собственно, она должна кончиться? Генрих ходил по лесу и слушал, как громко, даже весело падает с деревьев сухая листва и ложится у подножий лоскутными деревенскими половиками: разноцветье желтых, красных, бурых обрезков осенней ткани. Увядание вовсе не походило на конец жизни, но подчеркивало ее продолжение. На полянах и около оврагов кудрявился белесыми танцующими кольцами отцветший иван-чай, и усохшие кусты черничника откровенно, не пряча под листья, предлагали желающим разросшиеся до размеров черных виноградин туманно-матовые ягоды. Иногда попадались грибы, но Генрих не рвал их, а любовался, всякий раз восторженно радуясь их внезапному возникновению перед глазами. «Фокус-покус», — думал он и вспоминал прошлое, которое привело его к нынешнему *делу*, ставшему, возможно, *делом его жизни*.

Генка тогда вернулся в Питер, неся в себе остатки изнуряющей головной боли и чувство гордости за совершенный во благо чужих людей поступок: не дать людям пойти по миру — это, как ни крути, Поступок. Во имя Ромы и его красавицы Аллочки он пожертвовал собой и получил в награду четко обозначившийся в странно устроенной голове маршрут. Вперед — по направлению в сторону раскинувшегося на одной из площадей города шатра цирка-шапито.

Он долго стоял перед рекламным щитом, перечисляющим названия цирковых номеров и фамилии исполнителей, никаких знакомых имен не обнаружил. Дрессировщики, эквилибристы, фокусники. Фокусник? Нет, что-то другое. Генка взял билет в первый ряд, хотя знал, что в цирке сидеть на первом ряду не очень-то комфортно. На цирковом представлении он был один раз, в первом классе школы — во время каникул детям подарили культпоход в цирк, в первый ряд, у самой арены, где пахло навозом, потом и еще чем-то неприятным, а в лицо летел песок из-под копыт бегающих под бичом дрессировщика лошадок. Неудобное место, но сейчас неважно. Он должен был хорошо видеть. Кого он увидит? Он не знал, но чувствовал, что не ошибется. Напряженный, сосредоточенный, он сидел, вжавшись в неудобное кресло, и ждал, ощущая не боль, а мутную тяжесть в голове. Грохот музыки, короткие выкрики эквилибристов на арене, костюмы в стразах и блестках, пышные плюмажи с разноцветными перьями — нет, не то. Потом взрыв короткой боли в голове и густой красивый голос шпехтальмейстера:

*Эквилибр на проволоке!  
Канатоходцы — братья Серебряные!  
Под руководством заслуженного артиста России  
Оскара Серебряного!*

Из темной утробы кулис высыпались, кувыряясь, гимнасты в обтягивающих, сверкающих серебром костюмах и разлетелись по арене, забрызгав ее бликующим светом своих одежд. Потом вышел стройный седовласый человек в таком же серебристом костюме и легком темном плаще, сделал неглубокий «комплимент» и хлопнул в ладоши. Гимнасты мигом оказались на мостиках двух столбов, держащих натянутую проволоку.

«Вот что, оказывается, — подумал Генка. — Он не фокусник, он канатоходец, теперь постарел, на канат не лезет, руководит. Понятно, это кличка, вернее, псевдоним. А настоящие имя и фамилия? И вообще, как доказать родство, если мать сдуру дала сыну свою фамилию и придумала отчество. Обиделась она, видите ли...»

Канатоходцев было человек шесть, Генке от волнения не удавалось их пересчитать, он плохо видел трюки, только обратил внимание на мальчика лет двенадцати, которого отважные парни таскали на плечах и голове, творя чудеса на натянутой проволоке. Оскар Серебряный снизу руководил номером, подавал короткие реплики и делал «комплименты» после каждого трюка. Генка не мог оторвать от него глаз, искал сходство: лицо, фигура? Фигура — вот что. Такой же узкий, тонкий, приплюснутая голова. Гвоздь? В мозгу мелькали беспорядочные мысли, стучали в затылке молоточками. «Братья Серебряные. Сколько же у него детей? Вранье, обычное цирковое вранье. Набрал команду, всех посеребрил — вот тебе и братья. А этот мальчик? Может, на самом деле его сын?»

Генка не стал ждать конца представления. Зачем? Он все выяснил, теперь надо действовать. Он нашел служебный выход и приготовился ждать. Сколько ждать? День с утра был почти жарким, редкость для конца мая. К вечеру, понятно, похолодало, и Генка замерз в футболке с короткими рукавами. Но представление еще не закончилось, когда Оскар Серебряный почти вылетел из двери, стремительный, молодежавый, в легкой рубашке и джинсах. Генка преградил ему дорогу, так и не успев придумать, что и как скажет.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я к вам. Есть серьезный разговор, очень важный для меня.

Оскар одним взглядом оценил его спортивную фигуру, на миг задержался на обтянутых футболкой мускулах рук и груди и, улыбаясь, посмотрел в лицо.

— Цирковое училище окончил, правильно? Хочешь попасть в номер?

— Хочу, — почему-то сказал Генка, хотя ни о чем подобном не помышлял.

— Кто тебе сказал, что мне требуется гимнаст?

— Никто не говорил. Я так, сам по себе.

— Приходи завтра, в четырнадцать часов. Посмотрю тебя, и поговорим. Сейчас, здесь — пустой разговор. А завтра приходи.

Назавтра Генка, не понимая сам себя, помчался на это странное свидание.

— Ну, иди сюда, на арену, — пригласил Оскар. — Только футболку сними.

— Штаны тоже снять? — ухмыльнулся Генка.

— Снимай, если плавки приличные.

В трусах и майке, ежась, он вышел на ковер и встал перед гимнастом, расставив ноги и раскинув руки, а тот оглядывал его со всех сторон, щупал мышцы, как будто что-то искал под кожей. «Как лошадь покупает, — подумал Генка. — Того и гляди, в пасть заглянет, зубы проверит».

- Прогнись назад. Та-ак. А флик-фляк можешь?  
Генка, удивленный, лег на ковер.
- Ты чего? — не понял Оскар. — Чего лег-то?  
— Вы сказали «ляг».  
— Я сказал: флик-фляк.  
— А что это?  
— Не знаешь? Странно. В общем, прыгни назад с двух ног, прогнувшись, перевернись и приземлись на прямые ноги.  
Генка моментально понял: перевернулся, приземлился.
- Шпагат, стойку на руках делаешь?  
— Показать?  
— Показывай... А теперь возьми гири. Держи у груди. Тяжело?  
— Нормально.  
— Иди с гирями на проволоку.  
— Ну, это я не знаю, — засомневался Генка. — Могу вниз сверзиться.  
— Никуда не сверзишься. Вон она на земле лежит. Иди с гирями по проволоке, не сходи с нее... Ну ладно, ничего, равновесие удержишь. А сальто-мортале делаешь?  
— Скажете, что это за зверь, — сделаю.  
— Слушай, а почему ты ничего не знаешь? Ты какое отделение в цирковом училище окончил?  
— Никакое.  
— А где учился? По профессии кто?  
— Токарь седьмого разряда.  
— Так что же ты голову мне морочишь?!  
— Я не говорил, что окончил цирковое училище, — Генка хотел рассказать про фокусы, но передумал. — Я вообще по другому делу пришел.  
— По другому меня сейчас не интересует. Давай по этому. Ты спортсмен, гимнаст?  
— Нет. Я в спортзал хожу.  
— Кто тебя тренирует?  
— Никто.  
— Самородок, выходит. Звать-то как?  
— Генка. Геннадий.  
— Слишком длинно. Будешь Генрих. Попробую поучить тебя. У меня один гимнаст уходит, новых смотрю. А из тебя может получиться толк, если, конечно, будешь стараться. Гарантий пока не даю, очень уж ты запущенный. Вижу, талантливый парень, но учиться надо много. Хватит воли?  
Чего-чего, а воли у Генки хватало.  
— А как же мое дело? — спохватился он.  
— Вот это и будет твое дело. Остальное — мелочи. Потом.  
Ага, потом. Посмотрим, как ты *потом* запоешь...

Генрих гулял по поселку, вдыхал пропитанный влагой сентябрьский воздух, бодрящий и вместе с тем успокаивающий. Природа, как стареющая женщина, понявшая неизбежность скорого увядания, но не поддавшаяся ему до конца и вложившая все силы для последнего всплеска красоты, любовалась сама собой, и это было грустно, но завораживающе. Генрих чувствовал, как уходит из тела и души усталость, он вот-вот сможет снова заняться делом, да и вообще: *и жизнь хороша, и жить хорошо*. Впереди приятный вечер у друзей. Вчера Рома пригласил его на некое *мероприятие*, о котором упомянул, загадочно шурясь. Сюрприз! Какой сюрприз? Завтра, мол, увидишь...

Сюрприз начался прямо от входной двери, которую открыл Генриху не хозяин, а невысокий мужчина средних лет в не соответствующих сезону шортах и тонком свитере с высоким воротом и короткими рукавами.

— Здравствуйте, проходите, — радушно сказал незнакомец.

— А Роман? Он дома?

— Дома, дома, — закричал из комнаты Роман, — иди к нам, Гена.

Накрытый стол, Аллочка в длинной юбке, изумруды на ее груди и в ушах, Рома, улыбающийся, казалось, всем телом, и скромная девушка в узких брючках, забравшаяся с ногами на диван. Цепкий взгляд Генриха сразу вычленил девушку из группового портрета — ему понравилась ее поза, свободная, домашняя и одновременно подчеркивающая крутизну бедер и очертания обтянутой брюками попки. Хитрость, не отличимая от естественности. Женский артистизм. «У нее хорошие показатели», — мимоходом подумал Генрих.

— Вот знакомься, Гена. Наш сын Михаил и его жена Диана. По-простому — Дина. Из солнечной Америки прямо в наш медвежий угол.

— Я рад, — сказал Генрих.

— Садитесь все за стол, — затарахтел Роман. — Аллочка постаралась на славу, русские национальные блюда, так сказать, — вкус Родины: винегрет, селедка, студень и много прочего. И водочка — это уж само собой.

— Рома в своем репертуаре, — улыбнулась Аллочка. — Слава богу, у нас есть Генрих, сдерживающее начало, — обратилась она к сыну. — Он работает в цирке, пьет мало и умеет воспитывать старшее поколение.

— Ну, Аллочка, сегодня ты уж не сердись на меня. Сегодня такой праздник! Пятнадцать лет не видели сына.

Да, Генрих это знал. Пятнадцать лет они не виделись. Почему? Теперь не советские времена, могли бы ездить туда-сюда. Или случилась какая-то ссора? У болтливого Ромы все-таки имелись свои тайны, а Генриху они, в принципе, были ни к чему, тем более что его безоговорочно заинтересовала Дина — чужая жена, лет на двадцать моложе своего вполне обыкновенного мужа.

Русская американская женщина. Без косметики, длинные, небрежно распущенные русые волосы, брюки и цветастая блузка. Обручальное тоненькое колечко на левой руке — по-ихнему, и никаких других украшений. Скромная, но не застенчивая. Пьет, не кривляясь, не по глоточку, но аккуратно. Пирогов не ест. Хлеба не ест, только булку и совсем немного. Бережет фигуру? Она не толстая, но и не тоненькая, тело есть. Очень интересная девушка! Невестка друга. Диана...

## Глава 2

Первое время в цирке Генка не рассказывал Оскару о «своем деле». Он был занят работой и только по вечерам дома, под осторожное ворчание матери, понявшей, что сын занят чем-то важным и, возможно, перспективным, — он думал, как и когда поделится с Оскаром своими биографическими познаниями, в которых не сомневался. Но на работе все посторонние мысли вылетали из головы, оставалась одна: получится, обязательно получится. Во время репетиций на манеже он легко научился всем этим «флик-флякам», «сальто-мортале» и «винтам», но когда делал первые шаги по проволоке — струхнул. Канат, конечно, был натянут низко над манежем, не выше двух метров; и страховочный трос надежно крепился к лонже; и балансир весом двенадцать килограмм казался не таким уж тяжелым в мускулистых натренированных руках; и в конце концов можно было повиснуть на проволоке, а потом спрыгнуть на арену,

но Генка испугался. Нет, не потому, что боялся разбиться — хотя и это тоже, — но главное: он боялся опозориться перед «серебряными братьями», которые уже поняли, что этот парень заткнет за лонжу всех остальных, и уже ревновали «отца» к новичку, и уже ждали, когда он сорвется со своего высокого положения любимца. Генка стоял на мостике, держа у груди балансир, и никак не мог решиться сделать первый шаг.

— Давай-давай, — спокойно подбадривал снизу Оскар, хорошо понимая ужас новичка канатоходца. — Ставь опорную ногу, молодец, хорошо. Теперь носком свободной ноги нащупай проволоку. Так, хорошо. Скользи свободной ногой вперед на ширину шага, перемещай на нее вес. Аккуратно! Держи равновесие.

Генка весь взмок, пока добрался до второго мостика. Но ничего, справился. И сразу обнаглел.

— А без баланса можно ходить?

— Можно, но не нужно, — ответил Оскар, довольно потирая руки. — Тебе, дорогой, далеко еще до подвигов. Посмотрим, куда ты взлетишь, когда поднимешься на настоящую высоту. Много простора будет для полетов.

Серебряные братцы с готовностью заржали.

— Что ржете? — оборвал их Оскар. — Идите работайте. Антон, быстро на манеж!

Мальчик Антон испуганно вскочил с бордюра, сплюнул за борт жвачку и пошел на руках вдоль борта, болтая в воздухе ногами.

— А ну, кончай комедию! — прикрикнул на него Оскар.

Генка уже знал, что из всей честной компании братьев Серебряных только Антон — настоящий сын руководителя группы и, конечно, никакой не Серебряный, а что-то вроде Попова или Попцова, что в любом случае не имело к Генке никакого отношения, но вовсе не опровергало родства. Какая разница, у кого какая фамилия и откуда она взялась? Мать записала сына Геннадия на свою фамилию — ну и что? Ладно, потом разберемся.

Антон Генка жалел, слишком строг был к нему отец, часто наказывал, но не как взрослого артиста, типа: выговор объявлю или премии лишу, — а именно, как ребенка: в кино не пойдешь, мороженого не получишь. Мальчик, лишенный детства. Или не так? Разве Генкино детство было лучше? А тут — одиннадцать лет, и уже артист. Настоящий мужчина, сильный и бесстрашный — в одиннадцать-то лет! Так что не стоит делать поспешных выводов.

Нельзя сказать, что Генрих Серебряный так уж быстро овладел техникой хождения по канату. Бахвалиться нечего. И срывался, и висел, как тюфяк, на проволоке, не решаясь спрыгнуть. И падал, и мысленно благодарил лонжу за помощь, но злился на себя за то, что эта помощь понадобилась. Обучение Оскар проводил медленно, постепенно, по каким-то специальным методикам постановки корпуса и головы, но главенствовала так называемая техника «нахаживания»: на небольшой высоте канатоходец отсчитывал шаги по проволоке, доводя их до автоматизма, чтобы появились уверенность в себе и смелость. Потом перешли к бегу по проволоке, прыжкам на скакалке и подняли наконец канат на высоту пять метров над манежем. На ногах и руках появились мозоли, тело ныло и скулило, но каждый раз, переодеваясь после репетиций, Генрих ощущал в себе новое, неведомое прежде чувство — не самодовольство, а удовлетворение трудом, которого много уже потрачено и еще больше потребуется.

Сальто назад получалось у него неплохо, а вот переднее сальто, когда гимнаст не видит проволоки, давалось тяжело. Но он научился и этому труднейшему элементу эквилибра.

Когда он в первый раз чисто выполнил переднее сальто, серебряные братья выстроились на арене в линию и заплодировали, а Антон громко выкрикнул: «Ура, Генка!»

Как в детстве, только «Гвоздя» не хватало. Оскар, едва заметно улыбаясь, похлопал его по плечу и сказал тихо:

- Вот какая у нас дружная семья, Генрих.
- У вас только один сын, Антон. Был один, а теперь двое, — удачно ввернул Генка.
- Нет, я многодетный отец, — засмеялся Оскар, — крупный специалист в делании и воспитании сыновей.
- Не скажите, — осторожно заметил Генка. — Одного сына вы проглядели, папаша.
- Это кого же?
- А меня.
- Вот тебя-то я как раз и не проглядел. Ты очень кстати передо мной нарисовался, а я сразу смекнул: гибкий, мускулистый, сильный.
- Весь в вас.
- Ты, может быть, даже покрепче меня. Только не наглей, умерь апломб. Я чванства не люблю, все мои мальчики это знают. Знай и ты.
- Я понял. Вы к родному сыну относитесь строже, чем к остальным. Боюсь, и со мной так же получится.
- Одинаково я ко всем отношусь, требую трудолюбия и дисциплины. Ты не будешь исключением.
- Но я же исключение...
- Во-от, началось. Уверенность в себе, Генрих, — черта хорошая, но самоуверенность — гибель для циркового артиста. А наше дело и без того опасное. Тебе еще учиться и учиться, всю жизнь придется учиться, если хочешь стать настоящим канатоходцем.
- Да ладно вам нотации читать, — вдруг разозлился Генка. — Я тоже могу лекцию прочесть — о нравственности и морали. О том, как некоторые отцы бросают еще не родившихся сыновей, бегают по проволоке и не видят, что внизу творится.
- Не понял. Ты о чем сейчас?
- О вас, многодетный папаша. Знаете, зачем я с вами встретился? Хотел, чтобы вы посмотрели на взрослого сына, которого бросили в брюхе у матери.
- Кажется, ты перенервничал, Генрих. Иди отдохни. Переднее сальто — это достижение, много сил отнимает.
- А я спокоен и доволен собой. Самое время нам поговорить.
- Ну, пойдём поговорим, — несколько натянуто улыбнулся Оскар, направляясь к бордюру. — Перерыв! Антон, походи немного, подыши, — хлопнув в ладоши, крикнул он.
- «Братья» уселись рядком на бордюр с другой стороны манежа, Антон поплелся по арене, кривляясь и дыша громко, как паровоз.
- Кончай кривляться, — осадил его Оскар и повернулся к Генке: — Давай говори. Что там у тебя?
- У меня тоска по родному папе, — Генка чувствовал, что не может подобрать нужные слова и сбавить тон. Хамить нельзя — подсказала ему интуиция, и он продолжал, стараясь быть вежливым: — Все просто. У моей матери был муж, ну, может, не муж, а сожитель, дело житейское. Он удрал, когда я должен был родиться, убежал по проволоке от ответственности, стал Оскаром Серебряным. А вообще-то, как вас зовут?
- Не все ли равно? Забыл.
- Ничего вы не забыли. А мать мою, Клавдию Ивановну, помните?
- Оскар призадумался.
- Это она тебе про меня рассказала?
- Нет, тут другое. Она не любит о вас говорить. Я сам нашел.
- Каким же манером?



- Какая разница?
- Разница большая. Ты можешь ошибаться.
- Я не ошибаюсь никогда.
- Ничего себе!
- Так помните мою мамочку, Клавдию Ивановну?
- Помню, — задумчиво сказал Оскар.
- А вину свою перед сыном чувствуете? — ухмыльнулся Генка.
- Пойдем работать. Ты еще расскажешь мне о себе. Позже. Будешь седьмым сыном.
- Вторым. Вернее, первым, по счету и по наследству. Это ведь от вас у меня талант. А я еще фокусы умею показывать. Оп-ля! — он взмахнул рукой и вытащил из-за ворота Оскара свой платок. — Фокус-покус.
- Кто учил фокусам?
- Сам учился.
- Потом покажешь. Это может пригодиться. Давай на проволоку. Еще раз переднее сальто.

Ничего не изменилось. Генка по-прежнему был седьмым Серебряным, хотя все-таки первым, — Оскар одержимо готовил его к выходу на манеж и работал главным образом с ним. Генка ждал душевного разговора, чтобы поведать вновь обретенному отцу о своей жизни, о фокусах и, может быть, о неразрешимой загадке природы, наделившей его волшебным свойством *видеть*. Но разговора не случилось.

— Вас совсем не интересует моя жизнь? — спросил он однажды, не решаясь переходить на «ты» и понимая, что этого делать не следует.

- Интересует, конечно, — неохотно ответил Оскар, — но сейчас не время.
- Похоже, вы черствый человек.
- Похоже. Работа у нас такая, грубеем быстро. Но знаешь что? Давай так договоримся: твоя жизнь начинается с чистого листа, будешь уделять ей побольше времени, отдавать себя полностью.
- Жизнь не заканчивается и не начинается на манеже, — философски заметил Генка.
- Да, наверно... Подожди. Тебе нужны деньги?
- Нужны, — вскинул гордую голову Генрих Серебряный.
- На возьми.
- Как нищему подаете.
- Я не только тебе готов помочь. Ребята часто обращаются. Молодые вы, запросы у вас немалые. Бери, бери, потом отработаешь сполна.

Генка, разумеется, взял, потому что мать давно уже перешла в наступление, а он боялся да и не хотел что-то объяснять раньше времени. Деньги были нужны. Оскар Серебряный помогал Генриху, *как всем*. Но он — не все. Он ждал, что его пригласят домой, в семью, посадят за стол, познакомят с женой. Ничего подобного. Иногда все «братья» приходили к «отцу» на чаепития, Генка был равным среди них. А он вовсе не равный. Что же за человек его отец?!

И все-таки какой-никакой разговор между ними состоялся. Повод, правда, получился не из приятных, с одной стороны, а с другой — для Генкиного положения в группе очень даже полезный. Неудачный трюк — один из силовых гимнастов не удержал на плечах маленького Антона. Мальчик полетел на манеж и, еще не успев повиснуть на страховочной лонже, оказался в объятиях мгновенно подскочившего Генки. Ничего страшного не случилось — только ужас на лице ребенка, а потом — дрожь во всем теле и слезы, которые юный мужчина старался сдержать и с которыми пока не научился справляться. Генка прижал его к себе, стоял неподвижно, не отпускал и чувство-

вал, как по щекам бегут его собственные слезы. *Его слезы*, непростительная слабость гимнаста-канатоходца. Впрочем, никто не осудил слабака — не до того было. Оскар осторожно освободил ребенка из объятий спасителя, положил на землю, ощупал и сказал Генке, не выпускающему из рук кисть мальчика:

— Все нормально. Пойдем к машине, домой поедем. Ты с нами...

Они обедали вчетвером. Жена Оскара, Нина, молодая уютная толстушка, спокойно подавала на стол и молчала, лишь иногда вскидывая на сына тревожный взгляд. Генка видел ее не раз и во время коллективных чаепитий, и иногда в цирке. Она приходила за Антоном, ждала его, сидя в первом ряду и наблюдая за репетицией. Оскар гонял мальчика, кричал, бил по рукам и ногам, а то и по лицу, — она не вмешивалась. «Вот садист, — думал Генка. — А она молчит. Может, он и ее поколачивает, привычка такая — руки распускать». Впрочем, ни с Генкой, ни с другими «братьями» Оскар рукоприкладством не занимался...

После обеда, желая развлечь все еще заторможенного ребенка, Генка показывал фокусы. Никакого специального реквизита, конечно, не было. Он брал все, что попадет под руку, случайные предметы летали в ловких руках и исчезали, возникая в неожиданных местах, а под конец из-за пазухи был извлечен мяукающий и царапающийся котенок, что вызвало у мальчика неудержимый смех, скорее всего, все-таки реактивный. Нина, ни слова не говоря, ласково увела его в другую комнату — отдыхать.

Генрих с Оскаром остались одни, выпили немного коньяку, и отец наконец попросил: — Расскажи о себе.

Генка рассказывал. Не то чтобы сочинял, но приглушал краски, убирал мрачные тона и не вдавался в подробности. Так, кое-что из вполне нормальной юношеской жизни, биографические сведения из жизни артиста. На вопрос же, как он умудрился разыскать отца при полном отсутствии сведений о нем, отвечать не стал, ссылаясь на длительность и запутанность истории. И про свой *дар* промолчал — все равно ведь не поверит...

Потом отец пошел проведать мальчика, Генка остался в комнате один и обратил наконец внимание на то, что его окружает: дорогая, но строгая мебель, скромная полка с книгами, фарфоровая напольная ваза с восточным орнаментом, небольшая «горка» с хрусталем и фарфором нездешнего производства — сувениры с гастрольных поездок. Светлые обои с геометрическим рисунком, никаких картин и картинок, но часть одной стены превращена в стенд для памятных фотографий. Конечно, семья, жена, ребенок — в разные годы и в разных композициях, но больше всего снимков отца семейства, артиста, канатоходца: на натянутом канате, в группе, на гастролях. И один портрет: Оскар Серебряный «на поклоне» — молодой красавец с сияющими глазами и белозубой улыбкой, любимец публики и женщин...

Прощаясь, он сказал:

— Ты еще будешь показывать свои фокусы, Генрих. На проволоке.

Первое выступление Генриха на арене прошло безукоризненно: скромная второстепенная роль новичка, *одного из...*, в общем, практически на подхвате. «Братья» и отец Генку, разумеется, поздравляли и напутствовали, он благодарил и давал обещания, но никто не знал, что он чувствовал на самом деле, какое счастье он испытал, когда шагал с балансиром — надежным помощником, подчеркивающим значительность и силу гимнаста, — по протянутому в воздухе узкому шнурку твердой поверхности, и дорога впереди была в его власти, а земля лежала у ног, даже не у ног, а ниже, много ниже, он царил над людьми, красивый, сильный, всемогущий. Он почти летел и снова испытывал *вдохновение* — вдохновение полета и своей власти над миром...

Первую зарплату Генка целиком отдал матери.

— За что это так много платят? Опять во что-то ввязался?

И он наконец рассказал о своей чудесной работе.

— Я теперь артист, в цирке работаю, эквилибристом.

— Кем-кем?

— Ну, трюки разные показываю.

— Трюки? Оно понятно, ты известный трепач. И за эти кривлянья деньги платят?

— Как видишь.

— Так ведь опять бросишь, надоест тебе, непутевому.

— Нет, не надоест. Мне нравится.

Они сидели рядом на диване, мать быстро, профессионально пересчитывала деньги, не решаясь выпустить их из рук.

— Я и сама в молодости кувыраться умела. У меня разряд был по спортивной гимнастике.

— У тебя?!

— А что ж я, по-твоему, весь век в магазине торчала? Я на районных соревнованиях хорошие места занимала, хотела в спортивный техникум поступить. А тут твой папаша, паразит, подгреб незаметно и влез в душу.

— А у тебя есть его фотографии?

— Да на черта мне его фотографии? Урод, пьяница, сбил с пути девушку и сгинул, нашел себе потаскуху.

— Я бы хотел посмотреть на обидчика своей матери, — изрек Генка, внутренне потешаясь над собой.

— Погоди, какая-то фотка есть. В парке снялись, в автомате.

Она порылась в шкатулке, отыскала старый черно-белый снимок.

— Вот, любуйся.

Мать, молодая, в кудряшках «шестимесячной» завивки стоит, вытянувшись в струнку, с застывшей на лице резиновой улыбкой. Высокий тощий парень обнимает ее за талию и нагло улыбаются, шепоткой держа у лица папироску. Типичный блатной. Она что, не видела, с кем имеет дело? Но, в конце концов, внешность обманчива, мало ли чем он девушку купил? И не в этом дело. Дело в том, что никакого, даже отдаленного, даже приблизительного сходства не было у этого парня с молодым белозубым Оскаром.

— А это точно он? — растерянно спросил Генка.

— Нет, киноартист, — огрызнулась мать, отнимая фотографию. — Глаза бы не смотрели...

«Как же так, — думал Генка, — обманула меня природа? Отобрала свой дар, и теперь получается, я такой, как все. Или я чего-то не понял, потому и ошибся, не в ту сторону пошел. Но как же Оскар? Он же не отрицал, согласился: мол, отец я?»

Генка пришел на репетицию, переоделся, подошел к Оскару и словно выплюнул ему в лицо, даже не заметив, что обращается на «ты»:

— Ты что ж мне мозги пудрил?! Отец, отец... Зачем наврал?

— Успокойся, Генрих. Я же говорил: вы все мои дети, кровные или некровные — не имеет значения.

— Ты сказал, что мать мою помнишь...

— Ты этого хотел, я и сказал. Я рад, что у меня такой сын появился. Давай работать.

«Обманула природа? — размышлял Генка, разминаясь. — Не в ту сторону пошел? Да как же — не в ту? Именно куда надо, туда и пошел, нашел свое призвание. И я не такой, как все. Я выше. Эквилибрист на проволоке Генрих Серебряный!..»

### Глава 3

Принцесса Диана... Нет, не известная принцесса Ди, носительница голубых кровей импортного производства, made in Britain. Кто отец этой скромницы, усевшейся с ногами на диван? Какой-нибудь еврей из «местечка», сапожник или портной, который выбился в люди и в поисках лучшей жизни, как Колумб, открыл для себя Америку. Давным-давно, когда никакой Дианы не было в помине, он совершил свой бросок в счастье, приспособился, устроился, женился и подарил миру дочку, русскую коренную американку, сохранившую в себе Родину как родительскую память и ее многоцветный язык, трудный для иностранца, и неосознанную «любовь к отеческим гробам». Эта принцесса оказалась не представительницей королевской династии и вообще не натуральной, не земной, а сказочной; внутри нее намешано множество несовместимых друг с другом таинственных свойств, образующих невидимое невооруженным глазом волшебство. Именно это невидимое волшебство обнаружил с первой минуты человек тонкой артистической организации — Генрих Серебряный. Едва взглянув на Диану — в просторечии Дину, — он понял, что всегда привлекало его в женщине, чего он искал и не находил. Ему, оказывается, нравились в женщине лукавство, игра, может быть, даже коварство, потому что он был прирожденным артистом, фокусником, эквилибристом. Нет, нет, не простая она, эта девушка, взявшая в мужа немолодого обыкновенного Мишу, ох, не простая...

Они гуляли с Романом по засыпающему на зиму в лиственных сугробах поселку, и Генрих слушал рассказы своего болтливового спутника, которые его не интересовали в принципе и еще потому, что о принцессе Диане, Дине, он сам хотел все узнать и понять, полагаясь на свою интуицию и наблюдательность. Тем более что Ромины суждения были, конечно, субъективными и, что говорить, довольно примитивными. К тому же возрастными. К тому же — отцовскими.

— Миша у нас непутевый, — докладывал Рома. — Ни к чему нет тяги, институт окончил кое-как, полуграмотный инженер, а тут перестройка, новая революция, капитализм грядет. Что ему здесь делать? За границу потянуло, там, мол, демократия, преподнесут хорошую жизнь на блюдечке с голубой каемочкой. Мы с Аллочкой были против, объясняли, что трудно ему придется в чужом мире, где деньги на первом месте. Не слушал. Вы же, молодежь, старых людей не слушаете, не верите в стариковскую мудрость. Бизнесом, говорит, займусь. Я ему вдалбливаю, что бизнесменом, как художником или музыкантом, надо родиться, для этого талант требуется. Все напрасно, уперся, уехал...

«Ишь ты, — думал Генрих, — талантливый наш, сам-то куда полез, чуть по миру не пошел. А туда же — учить молодое поколение».

— Уехал со скандалом. Не хочу, говорит, вас знать, родители сыну добра желают, а вы только чините препятствия. Ну, потом пришел в себя, подобрел, наладили связь, но уж очень сильно отделились друг от друга. Чего он там делал пятнадцать лет, чем занимался, — мы так и не поняли. Женился три раза, одна — латинос, другая — черная, а эта вот, Дина, наша, из семьи эмигрантов. Вроде любит его. Как ты думаешь?

— Не мне судить, — уклончиво ответил Генрих. — А надолго они сюда прибыли?

— Похоже, насовсем.

— Вот тебе и раз! Пятнадцать лет — псу под хвост?

— Вот такой он, наш Миша. Хотя он ведь не сам решил вернуться, это его жена подбила, Дина. Я так думаю, не очень-то им сладко жилось в Америке. Узнала, что у мужа на родине небедные родители, и уговорила сесть нам на шею.

- Ты как будто недоволен?
- Не знаю, что сказать. Я старый, как потяну всех? Да еще ребенок родится...
- Они ждут ребенка?
- Говорят, что никого не ждут. Но будет же ребенок, она молодая, тридцати лет. У Миши в Америке целый питомник — пять или шесть разноцветных мальчиков, от прошлых жен.
- Может, он от детей удрал?
- Умный ты, Гена, как в воду смотришь. Я тоже думаю, что оба они сбежали от детей, от ответственности, под папочкино крыло. Вот и размышляю: что с ними делать, куда пристроить? Плохой я отец. Согласен?
- Не согласен. Ты человек азартный, деловой, придумашешь что-нибудь толковое для сына. А жена его — и сама не пропадет.
- Да нет, очень уж она тихая.
- В тихом омуте черти водятся, — изрек Генрих мудрый народный афоризм. — А кто она, вообще-то? По-русски говорит чисто, будто здесь родилась.
- Нет, не здесь. Но у нее отец строгим был, ни слова дома не разрешал говорить по-английски. За каждое английское слово наказывал.
- И зачем ему это было нужно?
- Видно, патриот своей родины, — засмеялся Роман.
- Ну, и где он теперь, этот патриот?
- Да-а... темная история. Во что-то они там ввязались... В общем, погибли и мать, и отец. Оставили девочку одну. Пропала бы она, да Миша спас. Что улыбаешься? Я правду говорю. Так веришь ли? Динка потом Мишу обратно русскому учила. Ты заметил? Он с акцентом говорит, а она чешет и чешет, словно по писаному. Способная девочка.
- Ну-ну...

Цирк вернулся с гастролей, пора было возобновлять репетиции, обретать форму, готовить новую программу. Генрих уже скучал по манежу, по спокойному и пылкому «отцу», по «братьям», которые постепенно, смиренные разумной политикой руководителя, превратились из коварных тигров в домашних котов. Первые годы Генриху пришлось туго. Каждый гимнаст считал себя гением своего дела, рвался к личной славе и не мог допустить, чтобы какой-то проходимец, уличная дворняжка становился любимцем «папы» и центральной фигурой номера. Генрих мог и умел все: танцевал на канате, разувался, скидывал серебряные одежды и ложился на канате «спать», умел эффектно монтировать трюки — по-цирковому, «продавать» номер. Особенно он любил срывать в «апфель» — делать вид, что падает с проволоки, под испуганный рев цирковой публики. Он страстно любил эти секунды падения, свободного полета и хотел бы, чтобы они длились дольше, а душа прорастала через оболочку тела и парила в воздухе, как птица. Но Генрих Серебряный был классным гимнастом — он благополучно впрыгивал на надежную твердь каната и, купаясь в звуках аплодисментов, похожих на долгий вздох облегчения, делал лучезарный «комплимент». А потом Оскар придумал новый трюк: Генрих Серебряный во время своего сольного выступления показывал фокусы. Пришлось отказаться от балансира и страховки — его руки и тело должны были быть свободными. Он ловил шары из воздуха, вытаскивал из волос разноцветные флажки и приветствовал зрителей азбукой Морзе, выбрасывал из ладоней ленты, которые, струясь разноцветным водопадом, вдруг превращались в скакалку, а артист, прыгая через нее на проволоке, оказывался запутанным, как кукла, и шел к мостику механическими шагами заводной игрушки.

Братья Серебряные не могли не признать его первенства, но это понимание только усиливало ревность. Серебряное море искусства плескалось, волновалось и готово

было выйти из берегов. Как положено в актерской среде, нет-нет да и возникали анонимные и весьма опасные пакости, которые Генрих переживал тяжело, но молча, без жалоб и шумных расследований, еще яростнее овладевая мастерством. Вот не подали ему руку перед выходом на мостик; вот силовой гимнаст отдал пальцы ног; вот не удержались, насыпали все-таки в чешки битое стекло, и он протанцевал в этих «испанских сапогах» весь номер, а потом выбросил любимую и привычную обувь, всю пропитанную кровью.

Так было раньше. Тот, первый состав группы давно сменился. Мудрый Оскар многое видел, открыто не вмешивался в игру самолюбий, но делал умелые рокировки, удалял одних гимнастов, находил других, омолаживал состав группы. Он играл своими «детьми», как жонглер булавами, и ни одна булава не падала на землю случайно — просто изымалась из употребления по ходу номера.

Нынешний состав группы был совсем молодым, хвастать и гордиться гимнастам было пока нечем, завистливые поступки, как желторотые птенцы, сидели глубоко в гнездах душ. Теперь «братья» были статистами, а Генка-Гвоздь, оправдывая свое прежнее прозвище, стал *гвоздем программы*. На его заслуженный авторитет никто не посягал, за исключением выросшего Антона. *Кровный* стал *кровожадным*, папе и «брату» Генриху приходилось идти на хитрость, чтобы успокоить кипение юной крови. Антона готовили Генриху на замену, хотя все знали, а возможно, и сам юноша понимал, что замена получится неравноценной.

На репетициях мальчишка вел себя безобразно, ему уже не грозили детские наказания, а взрослые — и подавно, не уволит же отец своего ребенка, представителя *династии*, наследника, не выгонит же на улицу! Молодой Антон Серебряный был хозяином положения, капризничал, грубил, убежал с репетиций. Оскар уже не мог с ним справиться и часто обращался к Генриху, словно настоящему старшему брату: «Уйми ты его, Генрих, он тебя слушается». Да, слушался и боялся, ненавидел и подчинялся, но Генриху не нравились ни роль надзирателя с плеткой, ни положение доброго «дядьки» из барской семьи, потому что он знал: юноша *болен* самолюбивым и безнадежным стремлением к первенству, и главным вирусом, отравляющим нестойкий организм, был он, Генрих — «Гвоздь» программы канатоходцев. Как можно вылечить хроническую болезнь, если ее источник постоянно находится рядом с больным?

В тот день Генрих опоздал на утреннюю репетицию — стоял в мертвой, словно приросшей к земле, «пробке», чертыхался, ругался, бил по рулю кулаками и давал бесполезные короткие гудки. Когда «пробка» со свистом вылетела из пузырящегося гневом нетерпения, он дал газ и помчался вперед, обгоняя ползущие автомобили и забыв об осторожности. Он не привык опаздывать. Взмыленный, чувствуя дикую головную боль, он поспешил на манеж, не удивляясь непривычной тишине и зная заранее, что случилось. Он ворвался в тишину, словно пробил стену, увидел столпившихся у каната братьев и взглядом перелистал их, как книгу, — кого нет? Пустое занятие, он знал, кого нет в этой молчаливой толпе. Серебряные замерли неподвижным кружком и молча смотрели в центр круга. Оскар, стоя на коленях, повернулся к Генриху и прошелестел белыми губами:

— Видишь, Генрих, как нехорошо опаздывать. Пришел бы ты на пять минут раньше — поймал бы моего мальчика.

Сразу и безнадежно... Один миг полета — и жизнь, эта резвая бегунья по трассе марафона, рвет ленточку на финише. Но ее уже обогнали — чемпионка-смерть опять оказалась победительницей. Многократная чемпионка мира...

Генрих потом вспоминал, что первая мысль, пришедшая ему в голову в тот момент, была чудовищно подлой и могла быть оправдана только непослушным, не подчиняющимся хозяину мышлением. Он подумал тогда, что очень устал от этого амбициозно-

го мальчишки, из-за которого скоро, очень скоро его, Генриха Серебряного, вышвырнут из номера, по возрасту или по какой-то другой причине, потому что родной сын для отца дороже, чем все Серебряные, вместе и по отдельности взятые. Мысль мелькнула и исчезла, а на смену ей пришли тоска и жалость к мальчику, Оскару, его жене и всему человечеству, — эта отвратительная жидкотелая амеба, от которой он всю жизнь безуспешно хотел избавиться. Он сидел на манеже и плакал. И не он утешал и пытался привести в чувства «отца», а отец сидел рядом с ним, вытирал его слезы и призывал успокоиться.

Три дня Оскара не было в цирке, потом Антона хоронили, и мускулистые гимнасты рыдали, как дети, только отец и мать стояли молча, взявшись за руки. На четвертый день Оскар вышел на манеж, хлопнул в ладоши и произнес свое обычное:

— Начинаем репетицию. Все — к проволоке.

С горем каждый человек справляется по-разному: кто-то замыкается в себе, кто-то плачет и надолго отказывается от жизни, кто-то ожесточается и становится агрессивным, а кто-то продолжает активно жить дальше, понимая, что человек не зря пришел на землю и должен пройти свой путь до конца. Разумеется, Оскар был из числа последних, но он, малоразговорчивый мужчина, снедаемый пожаром изнутри, окунулся в успокаивающий прохладный поток человеческой разговорной речи. После репетиций он под тем или иным предлогом задерживал Генриха, усаживал на край бордюра и говорил: о прошлом, о том, что случилось, и о будущем, которое состояло для него теперь, — как, впрочем, и прежде, — из протянутого между стойками каната и семьи, сократившейся до двух человек. И еще о своей вине, о том, что не должен был брать сына в смертельно опасное дело, о том, что не уследил и погубил талантливого мальчика.

— Вот, Генрих, теперь ты у меня один сын остался, — сказал он однажды. — Боюсь за тебя, очень уж ты бесстрашный. Отчаянный.

— Со мной ничего не случится, я это чувствую, — ответил Генрих, пытаясь спрятать неуместную в данном случае, но по-детски неудержимую радость: сын! — Антоша болен был, — неожиданно для себя произнес он.

— Почему болен? В том-то и беда, что абсолютно здоров, жить бы и жить...

— Он хотел быть лучшим и понимал, что не получается. Он упал в тот момент, когда это осознал.

— Хочешь сказать, убил себя?

— Не знаю. Это был миг отчаяния. Тщеславие погубило его.

— Ну, с чего ты взял? Ускользнуло внимание, неправильно поставил ногу.

— Потому и ускользнуло. Он все время страдал, а мы не заметили. Я-то должен был знать.

— Как же тебе знать, если отец не догадался? Ты что, ясновидящий?

— Примерно, — кратко ответил Генрих и поспешил закрыть тему

*Ты у меня один сын.* Какая разница, родной или неродной, если уважаемый тобой, почти любимый человек выбирает тебя из многих, чувствует в тебе свою опору, свое продолжение? Через несколько лет Оскар с помощью молодой жены родил еще одного мальчика, но положение Генриха не пошатнулось. Он считался самым главным, самым высоко оплачиваемым артистом в группе. У него была настоящая жизнь, не пустая, мимолетная, а наполненная трудом, опасностью, вдохновением жизнь, внутри которой человек работает над собой, преодолевает достигнутые результаты, иронично относится к собственным слабостям и прощает слабости людские. Сила рождает великодушие. Успешный человек может позволить себе стать добрым...

Генрих давно уже пытался полюбить свою мать, теперь, с высоты положения, задача казалась ему несложной, тем более что в данном конкретном случае любовь могла

произрастать на благодатной материальной почве. Мать должна была жить комфортно, и этот комфорт обеспечит ей знаменитый сын. Он обменял с доплатой свои две комнаты в коммуналке на однокомнатную квартиру, поселил туда мать, себе временно снял студию и приступил к строительству личного, просторного и *богатого* жилища. Мечты упорно сбывались...

К тридцати пяти годам он уже имел все, что может пожелать на этом свете человек, не слишком прихотливый, не стремящийся объять необъятное. Он был по-прежнему в хорошей форме и рассчитывал еще лет десять продержаться на своем горизонтальном олимпе. Иногда, правда, уставал, и тогда «папа» отправлял его за город, на отдых.

#### Глава 4

Перед отъездом в Питер Генрих зашел к Роману — попрощаться. Дверь открыла Диана, босая, в коротком голубом халатике колокольчиком. Летний колокольчик на осеннем ветру, тонкий и звонкий.

- А наших нет, — приветствовала она Генриха. — С утра в город уехали.
- Я тоже собираюсь. Хотел попрощаться.
- Так заходи, подожди. Они уже должны вернуться. Хочешь, сварю кофе?
- Не откажусь.

Она отошла готовить кофе, Генрих присел за круглый столик в той части зала, что служила гостиной. Какое-то нетерпение овладело им, хотелось двигаться, что-то делать, говорить. Он встал и подошел к небольшой книжной полке, почти вплотную приулюлившейся к кухне. В этом доме было много книг, в том числе серьезных, исторических, искусствоведческих, мемуарных. Кто их читает, Генрих так и не понял. Он не мог представить ни мужа, ни жены с книгой в руках. Тем не менее печатное слово в больших количествах наполняло дом, не обходя даже кухню и туалет. В туалете на изящной полке выстроились в ряд детективы, а кухня предлагала вниманию желающих классическую и современную поэзию, демонстрируя удачное сочетание духовной пищи с физической.

Стоя у книжной полки, Генрих внимательно изучал корешки, делая вид, что увлечен и этим занятием, и поэзией как таковой, хотя Диана стояла спиной, готовила кофе и десерт и никакого внимания к его персоне не проявляла. Он выхватил из ряда первую попавшуюся книжку в мягкой обложке, пролистал, на одной странице задержался.

- Здорово! — сказал вслух.
- Что ты там вычитал? — не оборачиваясь, промолвила Диана.
- А вот слушай:

Могу я взять твою руку недрогнувшею рукою,  
Могу, на тебя не глядя, рядом с тобою быть,  
Тебе, как простой знакомой, могу кивнуть головою,  
Но не могу забыть.

Могу на твой взгляд ответить улыбкою безмятежной,  
О книгах или нарядах с тобою поговорить,  
Имя твое могу я произнести небрежно,  
Но не могу забыть.

Пусть зарастет тропинка, что ведет к твоему порогу,  
Могу о тебе не думать, могу тебя разлюбить,  
Могу с другим тебя встретить и уступить дорогу,  
Но не могу забыть.



Ты не узнаешь тайны, которую я скрываю,  
Надежнее океаном сокровище не укрыть.  
Маленькая колдунья!  
Я тебя знать не знаю,  
Но не могу забыть.

- Мило, — комментировала Диана. — Кто это настрочил?
  - Какой-то Хосе Анхель Буэса. Не знаю такого, — как будто он вообще кого-нибудь знал, кроме Пушкина и Лермонтова.
  - А ты, оказывается, сентиментальный. Такой крепкий, мускулы, как арбузы, а стишками интересуешься.
  - Вот такие мы, артисты: сочетаем грубость и нежность, равнодушие и эмоциональность, — он остался доволен своим выступлением, но Диана громко прыснула:
  - Wow! Сколько пафоса! В России почему-то все говорят лозунгами и призывами.
  - Не все и не всегда. Часто человек добавляет в речь пафоса, чтобы скрыть смущение.
  - Что тебя смущает?
  - Ты.
  - Да ладно. Иди к столу, артист.
- Генрих распрощался с ней, не дождавшись возвращения хозяев. Вдруг понял, что не может больше оставаться наедине с этой девочкой.

В городе дела набросились, как хищные звери, и требовали срочной дрессуры и умирения. Оскар, пожилой молодой отец, все чаще и дольше пренебрегал служебными обязанностями, расходуя свои педагогические способности и тренерский талант на воспитание малолетнего сына Алеши, которое состояло из трех основных направлений: любование, восхищение, умиление. Появляясь на манеже, папаша приносил с собой щедрые плоды такого воспитания — рассказы о том, что Алеша ест, как спит, улыбается и какает. Тренерская работа оказалась, таким образом, переложенной на Генриха, вопрос о помощи со стороны «отца» теперь не стоял; вопрос был в том, чтобы «отец» не мешал, и Генриху иной раз приходилось нейтрализовать заигравшегося тренера весьма грубо и неуважительно. Он, конечно, не собирался работать за двоих, тянуть тренерскую лямку за те же деньги и ждал подходящего момента, чтобы заставить многодетного «отца» либо выполнять родительский долг по отношению к «братьям», либо платить алименты «опекуну», то есть Генриху, потому что денег никогда не бывает слишком много...

В октябре выпал снег. Крупные влажные хлопья сгребли в охапку людей, машины, деревья с еще зелеными кое-где листьями, и человечество превратилось в гигантский снежок, готовый сам себя смести с лица земли. Впрочем, все закончилось хорошо. Жизнь вернулась на круги своя, в холодном побеленном мире остались прежние, большие и малые, удовольствия и проблемы, а деревья еще на некоторое время сохранили волшебные осенние краски: зеленую — на ветках, красную, желтую, оранжевую — у подножий. То, что казалось несвоевременным, на самом деле происходило просто и естественно, потому что белый цвет, как известно, складывается из всех спектральных оттенков. Так что какая разница? Сегодня белый, завтра цветной, потом черный... Все путем...

Из недели в неделю Генрих собирался навестить Романа с Аллочкой, да никак не получалось хотя бы на пару-тройку дней оторваться от манежа. Генриха раздражала абсолютная невозможность жить так, как хочется, но эта невозможность позволяла ему удерживать уважение к себе, потому что не будь ее, пришлось бы признаться себе в собственном страхе. Он не боялся идти по канату без страховки. Но вдруг ему ста-

ло страшно: он боялся этой скромной девочки, которая умеет так естественно, так непринужденно лежать клубочком на диване, невинно демонстрируя все свои прелести. Этой *ясновидящей*, которая, готовя кофе, не оборачиваясь, видит, что делает мужчина у нее за спиной, которая говорит обычными словами, презирует пафос, а стихи о любви называет «милыми». Он боялся этой простой девочки, очень простой, такой простой, как мелкаячестная сеть, сотканная из множества волокон, напоминающая лоскут легкой ткани, но закрывающая воздух и свет тому, на кого случайно упадет.

Генрих не умел предсказывать будущее, но он умел *видеть* прошлое, то самое, незначительное прошлое, когда она готовила кофе, а он читал стихи. Тогда все и прояснилось. *Прояснилось* тогда, а *увидел* он сейчас. Он увидел, что *ничего*, произошедшее с ним и с ней, называется тем беспокойным чувством, которого он ждет и боится. Не потому боится, что девочка — родственница его друга, что за чушь! Он боится потому, что... Он не знает, почему боится. Он ничего не знает. Он *не умеет предсказывать будущее*. Паника неизвестности...

Как-то так получилось, что он снова попал в загородный дом своих друзей в день первого октябрьского снегопада. Так сказать, прилетел на крыльях осенней метели. Все сошлось в тот день. И Оскар, постоянно опьяненный хмелем отцовской любви, неожиданно «вышел из запоя», вспомнил о старших «детях», появился на манеже и дал Генриху трехдневный отпуск. И природа, испуганная и восхищенная белой выходкой Небес, не обошла тревожное сердце Генриха, позвала артиста к себе и сопровождала весь неблизкий путь от станции к дому, наполняя душу прозрачными, а потому трудноловимыми чувствами. Он был рад, что оставил в городе машину. И опять Диана оказалась в доме одна, открыла ему дверь не босая, а в толстых шерстяных носках, что выглядело по-домашнему уютно и опять же просто, совсем просто, как и мягкие биджи с кисточками под коленками, и блуза в мелкий цветочек, свободно спадающая с одного плеча. Все сошлось. Он позвонил, она открыла дверь, не удивилась его приходу и приветствовала, как в прошлый раз, — отрицанием.

— А наших нет. В город уехали.

— Что-то они зачастили.

— Роман взял Мишу в свою фирму, вводит в курс дела. А Алла просто так поехала — проветриться.

— И какое же у него будет дело?

— Не знаю. Пока менеджером. В Америке менеджер — серьезная должность, солидная, а здесь — не поймешь что. Но они же оба будут совладельцами фирмы, так что должность — неважно.

— А ты где будешь работать?

— Зачем? Женщина должна быть женщиной, а это требует усилий.

— В общем, будешь развлекаться. А что же сегодня не поехала?

— Не захотела. Погода плохая.

— Погода плохая?! — вскричал одухотворенный гость, сбрасывая снег с шапки на наборный паркет прихожей. — Одевайся, пойдём. Я покажу тебе, что такое хорошо, а что такое плохо.

— Ну, пошли, — сказала она и начала одеваться, раздеваясь, прямо в прихожей, словно забыв, что он стоит здесь же, в полном ступоре и абсолютно лишенный мыслей.

Она на ходу сбросила с себя биджи и блузу, через дверь паснула их на диван в гостиной, побежала в носках, трусиках и майке, едва прикрывающей голую грудь, к ящику с какой-то рабочей одеждой, выхватила из груды тряпья оранжевые байковые штаны, растянутый безразмерный свитер, красный пуховик с черными земляными разводами, — натянула всю эту амуницию на себя и отрапортовала:

— Готова!

— О-о-обувь, — заикаясь, пытаюсь прийти в себя, сказал Генрих. — Босая пойдешь?

— Ой, да, — она вытащила из-под полки «дутые» сапоги на толстой подошве. — Вот, нашла. Годятся?

— Годятся, — буркнул Генрих, открывая наружную дверь.

Ему необходимо было срочно выйти на воздух. Ее беготня в неглиже перед его глазами, стремительность движений, равнодушие к одежде — ребячье поведение взрослой замужней женщины — окончательно лишили его возможности сопротивляться, изгнали страх перед надвигающимся непонятым чувством, одарили сиюминутным восторгом, белым, пушистым и летящим, как ранний снег, пришедший неожиданно и ушедший в никуда, оставив за собой светлое ощущение перемен...

Когда она, по-прежнему не стесняясь, снимала промокшую одежду и переодевалась в домашнюю, Генрих все-таки не удержался, упрекнул, скрывая удовольствие:

— Ты бы хоть за пальму зашла в «зимнем саду», когда переодеваешься. Или тебя некому было учить?

— Не нравится — не смотри, — отмахнулась она.

— В том-то и дело, что нравится. А я, между прочим, живой человек, не железный.

— Вот и хорошо. Давай кофе пить.

В общем, семья вернулась из города как раз вовремя — так Генрих подумал в тот момент, когда заскрипела входная дверь. Моментальная мысль, которая тут же сменилась другой: черт их принес!

Аллочка кинулась на кухню разогревать обед, Диана вздохнула рассказывала, как, оказывается, красиво, когда деревья закиданы снегом, и как, оказывается, весело гулять на морозе, а потом пить дома кофе в хорошей компании. Генрих улыбался как взрослый, снисходительный к болтовне ребенка мужчина, но от обеда отказался, мол, торопится по делам. Никаких дел у него на сегодня не предвиделось. Его разрывало изнутри. Черт их принес!

Он собирался уехать в тот же день — не смог, остался и на завтра снова потащился в гости, выслушивать очередную главу семейной саги: приучение блудного сына к труду. Все были в сборе, кучковались у круглого столика, занимаясь каждый своим делом: Аллочка потягивала кофе, Рома светски попивал сухое вино из высокого бокала, Михаил сидел, развалившись, на диванчике, держа в одной руке сигарету, а другой обнимая взобравшуюся ему на колени Диану. В тот момент, когда вошел Генрих, «маленькая колдунья» уткнулась в скулу мужа и принялась часто-часто целовать его в ухо. Михаил крутил головой, тербил ухо и смеялся — щекотно! В общем, полная семейная идиллия, от которой Генриха едва не стошнило.

— Заходи, заходи, Гена, — радушно пригласил хозяин. — Иди сюда, садись. Мы тут решаем важный вопрос. Может, дашь нам, дуракам, ценный совет.

— Конечно, — сказала Диана. — В цирке все — самые умные, потому что много стоят на голове. У акробатов очень сильный мозг, мускулистый.

— Диночка у нас иногда не совсем удачно шутит, — бросила Аллочка.

Генрих серьезно взглянул на девчонку и улыбнулся взрослой снисходительной улыбкой: чем бы дитя ни тешилось...

— Так что за вопрос? Очередная проблема?

— Проблемой не назовешь, — успокоил Роман, — просто задача, требующая решения. Наши молодые собираются жить в городе, Мише удобнее будет добираться до работы. Вот решаем вопрос с квартирой: снимать ли или сразу купить. Я думаю, лучше пока снять, пусть парень присмотрится, пооботрется, привыкнет к работе. А там видно будет.

— А по-моему, незачем зря деньги тратить, — как всегда миролюбиво, возразила Аллочка. — Купим квартиру, и пусть живут. Зачем эти разброды и шатания?

— А Михаил-то что думает, — спросил Генрих, демонстративно обращаясь не к сыну, а к родителям, — и его жена...

Жена спрыгнула с коленей любимого, устремилась к огромному окну, прижала лицо к стеклу.

— Зима! — провозгласила она. — Красота! Везде снег. Пойдемте гулять.

— Снег растаял, — назидательно поправил ее Генрих. — То, что на ветках, — это иней, а внизу, на земле, сейчас слякоть и грязь. Не очень приятная пора для прогулок.

— В цирке, оказывается, трудятся не только умные, но и разумные, — в пространство, ни к кому не обращаясь, изрекла Диана, демонстрируя глубокое знание русского языка.

— Если тебе так хочется именно сейчас гулять по грязи, готов сопровождать, — сказал Генрих. — Хотя, по-моему, при решении важного семейного вопроса желательнее присутствовать.

— Незачем мне присутствовать. Решат без меня, тоже мне — проблема! Я гулять хочу, могу и одна пойти.

— Да чего там? — наконец подал голос Михаил. — Снимем квартиру, куда торопиться? Динка, не хочу я гулять. Холодно, грязно. Иди с Генрихом, если он согласен. И что ты все придумываешь? Так хорошо сидели, тепло, сухо, скоро обед.

— Правильно, — скривилась Диана, — обед, потом здоровый сон. А тут и жизнь прошла.

— Да ладно тебе, — отмахнулся Михаил.

Диана встала и пошла одеваться.

— Гена, не в службу, а в дружбу — выгулай ты ее, — попросил Роман. — Честное слово, как капризный ребенок. Плохо ты, Миша, жену воспитываешь.

— Ее воспитаешь, — усмехнулся муж. — Дикий жеребенок. Вот и мучаюсь, — и довольно улыбнулся.

«Да, — подумал Генрих, чувствуя, что копирует улыбку счастливого мужа, — похоже, этот жеребенок все семейство взнуздal...»

Они вышли на улицу и медленно заскользили по вязкой каше тротуара. Генрих молча вышагивал рядом, засунув руки в карманы.

— Скользко, — сказала Диана, — нашелся бы подходящий кавалер, взял бы под руку. Генрих, согнув руку в кольцо, протянул его капризнице.

— Держись. А я предупреждал.

— Только не предупредил, что ты неотесанный хам.

— Думал, это и так видно.

Она резко остановилась, повернулась к нему лицом.

— Что ты злишься?

Он ничего не ответил, продолжал вышагивать, держа руку кренделем. Диана поскользнулась, едва не упала и схватила его за рукав:

— Ой, мамочка!

— Зачем так визжать? Ну, упала бы, так тебе и надо — слушайся взрослых, девочка.

— Пойдем вон туда, в лес.

— Там еще хуже. Опять предупреждаю.

Она почти побежала, скользя по слякоти, как на лыжах, и увлекая его за собой. Едва они укрылись среди черных, поблескивающих остатками инея деревьев, ее руки взметнулись, обхватили его за шею, пригнули вниз его голову, и губы яростно впились в его губы, терзая их, не выпуская, мешая дыханию. Он на несколько секунд умер, по-

том воскрес, потом опять умер и, наконец, окончательно очнулся от боли в прикушенной ею губе.

— Могла бы поаккуратнее. Как я теперь предстану перед твоим святым семейством? Что скажу? Собачонка укусила?

— Перебьешься, скажешь с порога «до свидания» и домой пойдешь.

— Все решила за меня? А если я не хочу домой?

Он сжимал ее в объятиях, забыв о хрупкости женского тела и мощи силы гимнаста, и опять умирал, умирал...

— Пусти, — сказала она наконец. — Синяков наставишь.

— Значит, ты тоже скажешь с порога «до свидания» и уйдешь со мной.

Диана отстранилась, расширив глаза и подняв брови «домиком».

— Ты хочешь, чтобы я ушла от Миши?

— Я еще не думал об этом. А ты бы ушла?

Она отряхнула куртку, поправила шарф и шапочку на голове.

— Ой, смотри какая елка! И розовые шишки...

Розовые шишки... Перед его глазами проشمыгнуло детство Генки-Гвоздя, обронив мимоходом тот день, когда хилый пацан догадался о своем даре *видения* — дома, под аккомпанемент материнского крика, — а до того были лес, взбудораженный неожиданным снегопадом, и высокая ель с розовыми шишками на макушке. Он рвал их, как сокровища, а они на земле оказались бурными, некрасивыми, потому что внизу не сияло солнце, отражаемое ими. Тогда солнца внизу не было, но теперь все иначе, теперь другие времена.

Генрих быстро карабкался по мокрому стволу, перехватывая руками ветки, вертел головой, отмахиваясь от холодных капель, и почти у самой макушки крикнул:

— Дина, сними шапку, подставь, будешь собирать урожай.

Шишки летели стремительно, огибая в полете ветки и точно попадая в «корзину».

— Хватит! — прокричала Диана. — Тяжело держать.

Он так же ловко слетел вниз, бросил взгляд в сторону сокровища в руках сказочной принцессы. Розовые! Теперь другие времена. Теперь не все зависит от капризов солнца.

Диана удивленно осматривала циркача, вертела его из стороны в сторону.

— Одного не пойму, — раздумчиво сказала она, — как ты смог так высоко забраться...

— Это ерунда, — начал он, — просто ловкость...

— Нет, я о другом. Как ты умудрился так высоко забраться и не испачкаться, не извозиться? Ствол шершавый, кора крошится, капли падают, иголки колются, — а ты как новенький.

— Правильно, девочка. Если ты умеешь летать, никакая грязь к тебе не пристанет. Смотри, какую красоту я для тебя добыл.

— Подумаешь, шишки. Играть в них, что ли? Я в куклы давно не играю.

На миг Генриху стало обидно. Не за себя, а за свои подарки. Но она ведь не знала, что он своей яркой жизнью научил изменчивую природу удерживать красоту, не ставить красоту в зависимость от случайностей, рождать волшебство и сохранять его. Канатоходец — это человек, вознесенный над миром зыбкой, позванивающей нитью *вдохновения*.

Она этого не знала.

## Глава 5

С того дня каждый день Генриха делился на две части. С утра он работал, и ничего другого, кроме этой обязательной, изнурительной и любимой работы, не существовало. Оскар успокоился, упрятал любовь к маленькому сыну в укромный уголок души, словно повесил в шкаф новую, но ставшую привычной одежду, и теперь снова руково-

дил. Генрих был свободен от обязанностей тренера, и ничто не отвлекало его от вдохновения. Это *ничто*, однако, покидало его в тот миг, когда репетиции заканчивались, и уже по дороге домой он, как по проволоке, перемещался в другую жизнь, воображаемую, которая пока не дарила вдохновения, не окрыляла, но мучительно созревала не то в сердце, не то в голове или где-то еще. Принцесса Диана, леди Ди, не взойдя на престол, властвовала над ним пока не полностью, но подчинив себе вторую половину каждого отпущенного ему дня. Он хотел этой власти и сопротивлялся ей. Он хотел быть свободным и жаждал порабощения.

Несколько недель он держался, не ездил *во дворец*, сидел вечерами дома или отправлялся в гости к Оскару, играл с маленьким Алешей и понимал, что еще год или два — ребенок окажется на манеже, сколько бы ни клялся его одержимый папаша, что убеждает этого мальчика от прекрасной, но опасной профессии. Иногда Генрих навещал мать, и получались довольно приятные вечера, согреты материнской гордостью за успешного сына и гордостью сына, обеспечившего матери на старости лет комфорт и материальное благополучие. Едва ли эти амбициозные чувства можно было назвать взаимной любовью, но, как известно, при дефиците и дороговизне лекарств всегда находятся подходящие аналоги, позволяющие человеку и человечеству выживать. Слава богу, заменители любви еще существуют на белом свете.

Но тому, что мучило Генриха, аналогов не находилось. Капризная принцесса с непонятными мыслями, чувствами и поступками постоянно мелькала перед глазами, дразнила и манила пальчиком. Он уже готов был сорваться, помчаться на ее зов, когда она позвонила:

— Нашла твой номер у Ромы в телефоне. Слушай, мне скучно. Сижу здесь, как крыса в норе. Пригласи на представление. Надо тебя посмотреть — ты же *великий артист*.

— У нас сейчас нет представлений. Готовим новую программу к весне, — сдерживая ликование, спокойно ответил артист. — Ты можешь прийти на репетицию, это даже интереснее, — вдруг сообразил он.

— Когда?

— Хоть завтра, часа в два. Потом сходим куда-нибудь пообедать.

— Здрóрово!

Сначала ее присутствие в цирке Генриху мешало. Потом удалось отключиться настолько, что когда Оскар, хлопнув в ладоши, объявил конец репетиции, он в первую минуту не вспомнил о своей гостье. Напомнил Оскар:

— Кто это там к тебе пришел? Девушка твоя?

— Родственница, — неохотно ответил Генрих.

Нет, она еще не была его девушкой, его женщиной, его Музой. Он не умел предсказывать будущее, однако будущее стремительно приближалось к нему, как к простому смертному, который в определенные моменты жизни перестает быть простым и смертным...

Они поехали тройную уху в маленьком кафе с двусмысленным именем «Демьянова уха» — по-видимому, автор названия не читал басню Крылова и не знал истинного смысла этого словосочетания — и молчали. Генрих, сохраняя на лице полный штиль, боролся с бурей в душе, причину которой не мог и не хотел для себя определить. Молчание Дианы было намеренно таинственным и сопровождалось короткими острыми взглядами, мимолетными улыбками и периодическими движениями руки, заправляющей за уши спадающие на лицо волосы. Наконец она сказала:

— Я за тебя боялась.

— Чего тебе бояться?

— Ты мог упасть, разбиться.

- Не мог.
  - Конечно, ты сильный. За такую работу, наверно, хорошо платят?
  - Не в деньгах счастье, — усмехнулся Генрих.
  - Счастье, конечно, не в них, но ты мог бы привести даму в более престижное место.
  - Чем плохое это место? Вкусно кормят, я часто здесь обедаю.
  - Вот именно: часто. А сегодня особый случай. Или для тебя обед с такой прекрасной девушкой случается часто?
  - Ну, что ты из себя строишь? — засмеялся Генрих. — Ты ведь не такая.
  - Откуда ты знаешь, какая я?
  - Не знаю, — ответил он и смутился. — Ты хорошая.
  - Правильно, артист. Я хорошая, но не очень и ничуть об этом не жалею. Ну, а насчет этой забегаловки... Понимаешь, она похожа на кафе в Америке, где я работала. Неприятные воспоминания.
  - Ты работала в кафе?
  - Да, официанткой. Хозяин ко мне приставал, собиралась уходить, а куда денешься? В шикарный ресторан не возьмут, в таких, как этот, везде одинаково. Миша мне помог.
  - Наш атлет врезал хозяину по шее?
  - Нет. Миша, он, как ты, — экономный. Приходил к нам перекусить. Влюбился в меня, замуж позвал. Конечно, я сразу видела: шикарную жизнь он мне не обеспечит. Зато добрый, наш, русский.
  - А ты хочешь иметь шикарную жизнь?
  - Вообще-то, хочу, что в этом плохого? Но если честно, когда жизнь интересная, можно и скромность включить.
  - Значит, с Михаилом тебе интересно?
  - Ты шутник, артист, как я погляжу. А вот такая жизнь, как у тебя... В любую минуту может все красиво закончиться.
  - Не дожدهшься. Поехали ко мне.
  - Поехали...
- Он не произнес лицемерных фраз, вроде *выьем кофе* или *посмотришь, как я живу*. Он сказал то, что хотел, и она поняла так, как он хотел. Никакой случайности, неожиданности, внезапного порыва быть не могло. Они поехали к нему, чтобы принадлежать друг другу...
- Нет, это не называлось сексом. Скорее, это называлось *счастьем* или как-то еще, но он не знал как и почему. Он растворялся, исчезал, улетал, его вообще не было, и он был, и казалось, никогда не кончатся этот полет, скольжение по проволоке над пропастью.
- Когда мы увидимся? — спросил он на прощание.
  - Я не смогу часто приезжать в город одна.
  - Я покупаю домик у вас в поселке. Только времени мало, бесконечные репетиции.
  - Захочешь встретиться — найдешь время, — улыбнулась она.
  - А ты хочешь?
  - Дурак...

Первое время, пытаясь себя успокоить и внутренне усмехаясь, Генрих думал: к тридцати пяти годам вляпался в лужу на ровном месте, извозился, забрызгался и радуюсь, как ребенок. Но успокоиться не получалось. Лужа становилась глубже, светлее, превращалась в безграничное море, в котором неопытный человек мог барахтаться сколько угодно и благополучно уйти на дно. Он не хотел на дно, он хотел видеть свет, купаться в этом свете и чистой прозрачной воде, а потом пристать к солнечному берегу и жить долго и счастливо. Кого он выбрал для счастья? Он не выбирал, все в его жизни явля-

лось само собой, в нужное время и так, как требовалось. Кто-то думал за него, указывал верное направление, а он подчинялся, брал в руки то, что дано, и шел с балансиrom в руках по самому надежному пути на земле — по натянутой проволоке.

Он даже радовался отсутствию встреч с Дианой, ему нравилось нести в себе воспоминания и предвкушения, внутренняя дрожь не мешала работать, а, наоборот, придавала ловкости и устойчивости на канате. Однако *некровный* отец видел и чувствовал его, как родного, с тревогой всматривался в его лицо и интуитивно понимал опасность.

— Ты устал, Генрих, — сказал он. — Отдохни парочку дней. Дом за городом купил?

— Да, все в порядке.

— Ну так поезжай. Чрезмерный тренинг может выйти боком. Переговоришь.

Генрих растерялся. Он и думать забыл, что его Муза, женщина из плоти и крови, является чьей-то женой, ближайшей родственницей его друга и что трудно будет ему прийти в гостеприимный дом, где его всегда ждут, давно любят и не ожидают никаких каверз. Впрочем, трудно — значит интересно. Когда есть тайна, это всегда интересно, еще больше возбуждает и подстегивает.

Перед тем как позвонить в дверь, он долго отряхивал с себя снег, топтался на крыльце, пытаясь придать лицу иронично-равнодушное выражение, откашливался, настраивая голос на спокойную волну, без взволнованных хрипов и сипов. Конечно, дверь открыла Диана, он должен был увидеть ее первой, чтобы публично не впасть в шоковое состояние. Он должен был включиться в игру.

— Привет, красавица. How do you do?

— Генрих... — на секунду растерялась она. — Не ждали. Заходи.

Роман уже орал из комнаты:

— Иди, иди скорее, все дома, выпьем, закусим.

«Выпьем, закусим — всегда одно и то же, — раздраженно подумал Генрих. — Что она здесь делает, в этом болоте?»

Все были на своих местах. Роман за столиком с бокалом, Аллочка с сигаретой в кресле, Михаил развалился на диване. Диана, проشمгнув мимо Генриха, взобралась с ногами на диван, прильнула к плечу мужа. Генриху стало весело.

— Оскар послал меня подальше, — засмеялся он, — в смысле, велел ехать за город, расслабляться и отдыхать.

— Твой Оскар — хороший человек, заботится о своих артистах, — заметил Роман.

— Ага. Аллочка, я соскучился по твоим деликатесам. Выпьем, закусим, я вот торт привез. А завтра у нас с вами экскурсия...

— По необъятным просторам родины, — бросила сквозь зубы Диана и нежно погладила мужа по колену.

— Да, если считать поселок миниатюрной копией нашей Родины.

— Так оно и есть, — подтвердила Аллочка. — Что будем осматривать?

— Дом, который я здесь купил.

— Во, молодец! — обрадовался Роман. — Все чин чинном, оформил?

— Собственник, — побил себя Генрих по груди.

— Слава богу, — изрекла Диана. — Будешь теперь сдавать дачникам, сколько же можно нищенствовать?! Хоть какие-то копейки, на бедность.

Все засмеялись, Генрих громче всех. Как легко притворяться, как это забавно и волнующе, какая талантливая артистка его Диана, и сам он не лыком шит! Зима, снег едва слышно шлепает по стеклам, камин в гостиной шуршит затухающим пламенем. Рядом близкие люди, которые подчиняются неписаным законам жизни, а потому ни в чем не виноваты друг перед другом. *Весь мир — театр, и все мы в нем актеры.*

Назавтра была чудесная прогулка по заснеженному поселку, теплый дух оттаявших на зимнем солнце сосен, запахи дымов, кувыркающихся над крышами, легкий мороз,



щекочущий щеки, — и серебряные деревья, все как один молодые и беспечные. Аллочка шла впереди, в куртке и спортивном костюме, легкая и грациозная, периодически оборачивалась к компании и улыбалась. «Какое у нее молодой лицо! — думал Генрих. — И ведь не боится улыбаться, как другие старые женщины, берегущие кожу от морщин. У нее никогда не будет морщин, потому что она редко хмурится». Он смотрел на Аллочку, но видел только Диану, отмечал каждое мимолетное ее движение, ждал тайных сигналов, ловил их скрытый смысл и мысленно откликался.

Идти пришлось далеко, на другой конец поселка, и Генрих лишний раз возблагодарил судьбу, подбросившую ему новое жилище в этом благодатном месте, но не рядом с «дворцом», исключая тем самым возможность неожиданных визитов и разоблачений. Он представлял себе тайные будущие встречи с чужой женой и думал о настоящем.

— Маловат домишко, — сказал Рома. — Тут не разгуляешься.

— А что ему разгуливаться? — возразила жена. — Он отдыхать будет сюда приезжать. А гулять — пожалуйте к нам.

— Танцы вприсядку, русские народные песни и праздничные фейерверки, — уточнила Диана.

«Скучно ей здесь, — подумал Генрих. — Заберу ее, увезу, и пусть вытворят, что хочет. Она — чудо, какой бы ни была».

Они осматривали маленький невзрачный садик и дом, и Рома, прикидывая, как уютнее свить здесь гнездышко, обращался к Аллочке со смешными вопросами о занавесках, ковриках и вазочках, демонстрируя глубокую озабоченность всеми мелочами жизни старого друга.

— Уймись, Рома, — остановила его жена. — Это дело женское, не для твоего великого ума. Мы с Диной наведем здесь порядок со временем, если Гена позволит.

— Протянем проволоку под крышей, чтобы он по утрам делал физзарядку, — предложила Диана. — Тут и падать невысоко, меньше двух метров от потолка. Такой маленький сарайчик.

На это бестактное замечание экскурсанты ответили молчанием, а Генрих тихонько пожал пальчики ядовитой «маленькой колдуньи». Она дернула плечом, щелкнула его по уху и успела шепнуть: «Завтра утром жди».

Он ждал всю ночь. Ложился, вставал, ходил по комнате, переставлял скучную мебель, зажигал и гасил старую настольную лампу с пожелтевшим абажуром, выходил на улицу, вдыхал морозный воздух, выравнивающий дыхание, и следил за медленным заторможенным пробуждением зимнего дня, еще одного счастливого дня в компании будущих серебряных дней.

Диана пришла запыхавшаяся, окутанная дымком заиндевших волос, и Генрих вспомнил строчку какого-то русского поэта с нерусской фамилией, случайно затерявшуюся в его не отягощенной классикой памяти: «Она пришла с мороза, раскраснелась...» «Да, — успел подумать он, пока красавица шла от калитки к двери. — Как бы не размякнуть вконец от этой лирики». Мысль мелькнула и пропала, потому что он и в самом деле размяк и вовсе не хотел бороться с этой размягченностью.

— Как ты вырвалась? — срывающимся голосом спросил он.

— Гулять пошла, — спокойно ответила она. — Я часто гуляю одна.

— Ты будешь торопиться. Не хочется спешить.

— Не буду я торопиться. Они опять в город поехали, Михаил вникает в бизнес. У него этот процесс медленный. А Аллочка надзирает за сыночком, контролирует исподтишка. Хитрющая баба.

- Аллочка? Какая в ней хитрость? Она искренняя, естественная.
- Ты, Гена, совсем не разбираешься в людях, особенно в женщинах.
- Ладно, иди ко мне, моя умная женщина. Я жду тебя слишком долго.
- Не так уж долго.
- Всю жизнь, — сказал он, прижимая ее к себе...

Она умела быть развязной девчонкой, нежной девушкой и пылкой женщиной. Она ничего не боялась. Иногда казалось, что из всего внешнего, ее окружающего, она сохраняет только интересное в данный момент для себя, все же остальное, как в смартфоне, изгоняет с экрана легким прикосновением пальца. Но тому, что осталось, она отдавалась полностью, всматривалась, вчитывалась, наслаждалась, удивлялась и безжалостно отвергала, если что-то нарушалось в ее представлении о жизни. Впрочем, представления о жизни были у нее сиюминутными: она, как кузнечик, прыгала с одной полянки на другую, высоко не поднимаясь, но осознавая чуткость и резвость прыжков, способных уберечь от неожиданных неприятностей. Попробуй-ка прихлопнуть ладонью кузнечика! Не получится. Если говорить грубо, по-житейски: ей было на все наплевать. Если пользоваться философскими категориями: она жила свободно. Свободный человек, затесавшийся в цивилизованное общество, может быть независимым лишь в определенных пределах, — Диана не знала пределов, и, наверно, прежде всего за этот всеохватывающий эгоизм ее любил канатоходец Генрих Серебряный. Что из того, что кузнечик не так уж красив, его песня не слишком мелодична, а движения не вполне грациозны? Генрих, может быть, и не хотел догнать это ловкое существо, но ему нравилось *догонять* и надеяться. И еще, в глубине души, он верил в свою *власть*. Он обнимал Диану, держал ее в своих руках, и это были минуты обладания, которые вполне могли разрастись до часов, дней, месяцев и в конце концов остаться навсегда — дрессированный кузнечик, шедевр циркового искусства...

— Завтра мне надо уехать, Оскар отпустил только на три дня. Что у вас с квартирой в городе? Что-то никаких подвижек.

- Это штучки Михаила. Ему здесь удобно, рядом с мамой и папой. Вот и тянет.
- А ты чего хочешь?
- Мне везде одинаково. В городе тоже скука несусветная.
- Там я буду ближе.
- И что это изменит?
- Может изменить многое, было бы желание.
- Желание у меня часто бывает. Слава богу, муж под боком, — засмеялась она.
- Меня не интересуют подробности твоей семейной жизни.
- Не нравится — не слушай.

Он, улыбаясь, погладил ее по голове.

— Говори что хочешь, делай что хочешь, девочка. Мне все в тебе нравится.

Диана целовала его лицо, руки, грудь и шептала, словно причитала:

— Геночка, любимый мой, ты лучший на свете.

Она говорила правду, она была абсолютно искренна. В данный момент...

Бесконечные репетиции, полирование до блеска каждого шага и движения могли бы кого угодно довести до иступления, но для Генриха все, чем приходилось заниматься, было жизнью, естественной, как дыхание. Он не чувствовал усталости, не изнывал от мышечной боли, не пугался монотонности повторений. Во время работы он не думал о Диане, словно занавешивая плотной шторой окно в другую часть своей жизни, и не позволял себе, да и не чувствовал потребности, подглядывать в щелку. Такое состояние двойственности не называлось, однако, раздвоением. Оно было единым целым, *сущностью*, поддерживаемой магической силой *вдохновения*.

Потом что-то случилось. Началось с неожиданного: Генрих вдруг сорвал переднее сальто, которое давным-давно научился выполнять походя, без особого напряжения. Оскар удивился, а сам Генрих не придавал значения конфузу и, как положено, повторил трюк. Опять срыв.

— Передохни, Генрих, — раздумчиво сказал «отец». — Соберись. Где твои мысли сейчас?

— Мои мысли на месте, — натянуто улыбнулся Генрих. — Вернее, в голове пусто, работаю на автомате.

— Пустая голова — слишком легкая ноша, она летит вверх, как воздушный шар. А ей сейчас надо вниз клониться. Сосредоточься.

Он попытался сосредоточиться, и вдруг возникла головная боль, отрывистая, резкая, словно короткое покрякивание приближающегося поезда. Он давно забыл об этой боли и удивился, даже сразу не понял, что с ним не так, а когда понял — испугался. Головная боль — предвестник. Чего? Что-то случилось? Генрих сидел на бордюре, отдышал и изо всех сил *всматривался* в себя, словно крутил ручку кинопроектора: ждал появления перед глазами таинственных говорящих картин. Никаких картин не случилось, но тревога не проходила, он почему-то думал о Диане и знал, что не успокоится, пока не проверит. Они давно не виделись, Генрих редко звонил, еще реже писал письма по электронной почве, потому что терпеть не мог эту связь через космос. Он должен был общаться вживую. Диана звонила обычно сама, на встречах не настаивала, но упрекала за молчание.

Сейчас он хотел было набрать номер ее мобильного телефона, но понял, что вряд ли обойдется короткой информацией по телефону.

— Оскар, мне бы отлучиться, — попросил он.

— Что случилось, Генрих? Что с тобой?

— Голова болит. Артист нуждается в кратковременном перерыве, — вроде как пошутил артист.

— Ты болен?

— Нет, батюшка, не волнуйся. Просто я вчера поздно лег.

— Гулял? Пил? — сдвинул брови Оскар. — Ты смотри у меня.

— Не пил. Книжку читал, — хмыкнул Генрих, — любовный роман.

— Да-а, похоже, я тебя лишил всех земных радостей. Немудрено, что голова болит. Девушка тебе требуется. Или уже нашлась?

— Так я уйду сейчас?

— Иди, темнила, сегодня ты явно не в форме.

Он помчался на машине в поселок, проклиная снежную кашу на дорогах, «пробки», полицейских, высаженных, как молодые дубки, вдоль трассы через каждую стометровку. Он бранил последними словами верного друга Рому, построившего свой дворец в глухомани, и себя, дурака, притулившего собственный сарай к этому дворцу, как будку уборной к деревенской избе.

Как всегда, открыла дверь Диана.

— Ты одна? — спросил Генрих, не здороваясь.

— Роман дома. Откушал и дрыхнет. Приучает сыночка к самостоятельной работе под надзором бдительной мамы... Входи, Геночка, не ждала тебя и очень рада, — она пылко обняла его за шею, прижала к себе.

— Подожди. У вас все в порядке, ничего не случилось?

— Господи, что у нас может случиться? Тишь да гладь, только я соскучилась, мой любимый акробатик.

От ее объятий он сразу размяк, забыл свои страхи, видел и чувствовал только ее. Раздеваясь на ходу, они устремились в комнату, кинули друг друга на диван, и никого

не осталось в мире, и не было ничего, что могло бы им помешать. Они не услышали шагов по лестнице, ведущей вниз из спальни хозяев, не увидели стоящего в проеме двери потрясенного Романа и не сразу поняли, что случилось нечто непоправимое.

— Гена? Ты?! — выдал из себя Роман, и тогда они вскочили с дивана, схватили плед и едва не разодрались, перетягивая его каждый на себя. Получилось даже комично, Диана фыркнула, уступила угол пледа партнеру, одним движением усадила его и себя обратно на диван и устала, улыбаясь, в лицо свекра:

— Рома, удались, ты пришел не вовремя.

— Но... Как же?.. — лепетал Роман.

— Уйди, Роман, — прохрипел Генрих. — Потом...

— Да, потом, — прошептал лучший друг и заковылял по лестнице наверх.

«Какой он старый!» — удивился Генрих и больше ни о чем размышлять не мог, сидел молча, подобрал колени и придерживая сползающий плед.

— Что с тобой, Геночка? Ты, кажется, испугался? Вот уж не ожидала от такого отчаянного парня.

Он молчал, не в силах шевельнуться, встать, одеться, исчезнуть. Наконец сказал:

— Попались.

— Ничего страшного. Не бойся, папа любит сыночка, ничего ему не расскажет. И вообще... Сам-то он тоже не святой, дело житейское.

— Он нас возненавидит, — произнес Генрих, хотя думал в данный момент не о ненависти Романа, а о своей совести, которая прежде так редко его беспокоила, а теперь набросилась и раздирала на части.

— Любит, ненавидит... — протянула Диана. — Мне лично все равно. Глупости это. Семья есть семья, все перемелется.

— Пошел я, Дина, — сказал Генрих, вставая. — Надо как-то выпутываться.

— Не переживай, это я возьму на себя.

Генрих взглянул на нее недоверчиво.

— Не думай, соблазнять *папу* я не намерена, — засмеялась она. — Есть другие способы дрессировки.

Он сидел в машине, облокотившись на руль, никак не мог заставить себя двинуться с места и вдруг пришел в себя, дернулся от внезапной догадки. Головная боль — предвестник? Он что, научился *предвидеть будущее?! Какой ужас!..*

## Глава 6

Целую неделю все было тихо: телефон молчал, почта спала, никто не мешал работе, Генрих обрел форму и снова накрепко сдружился с передним салто, так неожиданно показавшим свой крутой нрав. Голова не болела, артист был почти спокоен. Потом позвонил Роман и сказал тоже спокойно, как ни в чем не бывало:

— Надо бы встретиться, сынок. Завтра мои, все трое, едут в город. Один остаюсь. Может, подскочишь?

От неприятного разговора не уйти. Как вести себя? Сказать правду? Он не умеет обсуждать свои чувства с посторонним человеком, даже таким близким, как Рома, тем более с таким близким, как Рома. От этой мысли Генриха бросало в дрожь.

По окончании репетиции он собрал реквизит, осмотрел, как делал всегда, место работы и небрежно бросил Оскару:

— Завтра хочу попозже прийти, не возражаешь?

— А что такое? — насторожился «отец». — Опять плохо себя чувствуешь?

— Прекрасно чувствую, настолько прекрасно, что осознал себя белым человеком. Имею я право позволить себе маленькие человеческие слабости: поваляться в постели, не спеша выпить кофе, а не мчаться спозаранку «к станку»?

— Имеешь, конечно, но помни: скоро начало сезона. Нельзя расслабляться.

— Ну, Оскар, — улыбнулся «белый человек». — Я ведь не школьник. Все знаю, помню, разумею, — и легкой походкой направился в гримерку.

Он не хотел торопиться, он предпочел бы медленно тащиться по предвесенней дорожке в расчете на то, что этот скользкий путь не кончится никогда. Но словно сам по себе, автомобиль летел с недопустимой скоростью, и никакие служители правопорядка не пытались остановить нарушителя. В голове Генриха звенела пустота, как будто все мысли одновременно вырвались из черепной коробки и летели теперь по ветреному воздуху вместе с машиной, пугая голые ветки деревьев и играя обледенелыми снежинками, постукивающими в стекло. Он подкатил к дому, резко тормознул и побежал к крыльцу, где уже стоял Роман, кутаясь в шерстяной жилет.

— Холодно-то как, — поеживаясь, сказал хозяин. — Ветер с ума спятил. Что за погоды нынче стоят? В прежние-то времена все по порядку шло, тихо, мирно. Говорят, раньше плохо жили, а теперь — лучше, что ли? Все перепуталось, что природа, что люди...

— Не брюзжи, Рома, — как ни в чем не бывало одернул старика гость. — Зачем раздетый вышел? Пошли в дом.

— Да я хотел прогуляться...

— Ты же на погоду грешишь! Какие прогулки?

— Не могу я дома сидеть, надо двигаться. Нервы... Ты зайди, посиди пока, а я оденусь потеплее. Сам-то как, утепился?

— Нормально...

Они пошли рядом по тихой пустой улице, по поблескивающему тротуару, обернутому тонкой пленкой льда, в сторону ближнего лиственного леса, хаотично машущего раздетыми ветвями.

— Слышишь, как воеет? — произнес Рома. — Это потому, что листьев нет. Когда есть листья, не так тревожно: шепот успокаивает. А голые ветки свистят, как плети. Бр-р...

— Зачем мы туда идем?

— Не знаю. На закрытом месте как-то спокойнее. Хорошо, что у нас такая лесистая местность. В лесу человек не чувствует себя одиноким. Хотя, конечно, при таком ветриле дерево может и упасть. Но это лучше, чем одиночество.

— Философ ты, Рома.

— Нет, я печальный созерцатель. Вот посмотри, что сделали с лесом. Ты в эту сторону не ходил, да? Здесь скучно и грустно. Остался один островок, все вырубили, народ живет, богатеет, строится. А мне жалко.

— Ты, между прочим, тоже здесь построился.

— Нет, я строил на пустыре, леса не трогал. Нельзя рубить по живому. Как по душе пилить...

Переход к душе означал начало разговора на заданную тему, — Генрих это понял, но молча ждал, медленно шел рядом, преодолевая рыхлую глубину снега и слегка поддерживая старика под руку.

— Да-а, так я о душе...

— Я понял.

— Что у тебя с ней? — вдруг, резко остановившись, повернулся к нему Роман и едва не запутался в снегу.

— С душой?

— С девчонкой, невесткой моей?.. Чувствую, это ее штучки. Ты ведь не такой, ты серьезный человек.

— Вот именно: я человек серьезный. Штучками не промышляю.

— Начнешь мне про любовь петь? Не смейся, ради бога. Что тут любить? Дура, вертихвостка. Ее полюбить мог только такой лопух, как мой Миша. А ты-то! Не устоял, что ли?

— Не устоял, Рома. Больше тебе скажу: мне четвертый десяток, а столкнулся с этим впервые.

— Да брось ты! Сколько девок мы с тобой перещупали в том домишке за поселком! Это я теперь постарел, а ты, поди, и сейчас туда ходишь?

— Не хожу. И там было совсем другое. Рома, я в самом деле, оказывается, человек серьезный. Ничего не могу поделывать, дорогой. Прости, если можешь.

— Да-а... — задумчиво протянул старик. — Не ожидал от тебя.

— Я и сам не ожидал.

— Беда-то в том, Гена, — продолжал старик, снова остановившись и глядя в лицо спутника похолодевшими глазами, — что я тоже человек серьезный. Я люблю свою семью, сына, которого наконец обрел на старости лет. Не хочу, чтобы он страдал. Хочу внуков. И поэтому *должен* любить невестку, как дочь, какой бы она ни была. Люблю и тебя. Но ты такое безобразие прекращай! — вдруг закричал он.

— Как ты это себе представляешь?

— Обычное дело. Твердо, по-мужски — поигрались, и хватит. На некоторое время перестанешь к нам ездить, девчонке доходчиво объяснишь ситуацию. Прикинешься страдающим, жертвующим собой ради друга. В конце концов, друг я тебе или нет?

— Прикинусь страдающим? А истинного страдания ты не допускаешь?

— Не допускаю, и не пачкай мне мозги, сынок. Сворачивай свое приключение, ищи женщину достойную, как моя Аллочка, например. А эту уж оставь Михаилу. Он ведь любит ее, Гена. И он мой сын. Обещай завязать с этой историей, пока никто не догадался.

— Не могу обещать. Не получится.

— Чем она тебя взяла? Секс, что ли, какой-то особенный? Два акробата в одной постели?

— Не упрощай, Рома. История действительно серьезная.

— Любишь ее?! — вскричал Роман.

— Именно так. И все родственные и дружеские чувства в данном случае бессильны.

Роман кинулся вперед, поддевая ногами снег, задыхаясь, не оборачиваясь. Сквозь поредевшие деревья пробивались холодный свет и отчаянный вой ветра — необузданного хозяина пустого пространства. Лес кончился. Они остановились на льдистой кромке глубокого котлована.

— Вот тебе и все, — прошептал, едва разжимая губы, Роман. — Приехали. Нет больше леса, опять стройка.

— Что тут строят?

— Какой-то очередной дворец, — и вдруг заговорил быстро, путано, сам себя перебивая: — Нет, я не допущу. Слышишь, Гена?! На чужом несчастье счастья не построишь. Змею пригрел на груди... Но и я не так прост, умею бороться и побеждать. Помнишь, как суд выиграл? Спартак, конечно, помог, но что бы получилось без моего упорства? Боролся до конца... А теперь ты, как те мошенники, отнимаешь у меня самое дорогое — счастье сына. Не получится. Я злой.

— Чудак ты, Рома, — перебил его Генрих, начиная терять терпение. — Ни ты, ни этот Спартак не выиграла бы дело без моей помощи.

— То есть как?

— Неважно, долго рассказывать. Потом как-нибудь...

— Никакого «потом» не будет. Уедешь сейчас и исчезнешь. Понял меня?

— Нет.

У Генриха в голове стучали молотки, гудела пила. Странно: такой трудный, болезненный разговор, а внутри черепной коробки до сих пор было тихо и смиренно, мысли словно разминались легкими прыжками и приседаниями, не помышляя о «винтах» и «флик-фляках». И вдруг прямо с места — переднее сальто... Сейчас он сорвется.

— А если «нет» — приму меры. Думаешь, если я старый, то и бояться меня не стоит? Стоит, Гена. Я бизнесмен, у меня есть друзья, хорошие, крепкие ребята, без них ни в какие времена не обойдешься. Ты уж прости, но они тебя поучат, вразумят так, что неповадно будет. А что делать, если ты слов не понимаешь и считаешься не хочешь? Еще и ослаблю тебя. И Оскару расскажу, что ты за фрукт... Заканчивай эту историю, чтобы потом не пожалеть.

Смешно. Его что, могут испугать крепкие ребята, которые специфическими приемами начнут выбивать из него любовь? Ох, Рома, дурачок, люди за любовь на смерть идут, а ты о каких-то ребятах толкуешь. Не в них, Рома, дело и не в дурной славе. А дело в том, что ты позволяешь себе лезть в душу, ковыряться там и выбирать, что выбросить, а что оставить. Командир чужих чувств: стой — раз-два!

Генриха охватила ярость. Он был так оскорблен, что впору было кинуться в драку, но он никогда не дрался: в детстве, потому что боялся насмешек, теперь — потому что осознавал свою силу и опасался ее.

Они стояли на краю котлована: крутой льдистый берег, камни на дне, завихрения комков мерзлой глины вперемешку с неопрятным зернистым снегом, словно рваный серый дым клубился над задыхающимся влагой костром. Генрих чувствовал, как колотится сердце, как пульсируют в голове мысли — маленькие огненные точки, искры, порождающие пламя. Как смеет этот старик посягать на его свободу? Этот мелкий человечек, который ползает по земле в то время, когда он, Генрих, бегаёт над ней по проволоке?!

Все вышло случайно, потому что — ветер, скользко, неровная земля. Генриха просто качнуло в сторону, а много ли старику надо? Никакой устойчивости, да еще весь на нервах. Все вышло *случайно*. Несколько секунд полета — и на дне котлована лежит, раскинув руки, неподвижное тело. Надо бежать вниз, посмотреть, что там произошло. Сильно ударился, расшибся? Склон отвесный, заледенелый, но разве это препятствие для гимнаста? Надо бежать вниз, как-то поднимать пострадавшего на поверхность, везти в больницу. Поскользнулся, не удержался, ноги слабые. Надо срочно вниз, проверить... Генрих стоял и смотрел на распростертого внизу друга.

— Рома! — крикнул он.

Молчание в ответ, только несколько камней от звука его мощного баритона сорвалось с насиженных мест и, шелестя, покатилося по откосу. Сознание потерял? Надо срочно вниз. Нет, сначала узнать, жив ли? Жив ли?!

— Рома! Подай голос!

Если сесть вот здесь, на камень, обхватить голову руками, напрячься, он все увидит. Он умеет *видеть*, природа одарила его при рождении, сделала человеком *особенным*. Он узнает все, прежде чем полезет вниз. Он не может видеть это вблизи. Он не виноват, его просто качнуло в сторону. Его качнуло?..

Он увидел так отчетливо, словно стоял на коленях перед неподвижным человеком, искал его пульс, пытался поймать дыхание. Нечего ему делать внизу. Рома мертв, безоговорочно, катастрофически мертв. Нужно срочно уходить отсюда.

Никто не встречался им по дороге сюда. Никто не знал, что двум чудакам в этот ненастный предвесенний день приспичило гулять в лесу и тащиться по снегу к разверстой пропасти котлована. Сейчас он позвонит Оскару, скажет, что проспал до полудня и через час будет в цирке. На берегу обрыва — лед, никаких следов, тем более что он вообще ни в чем не виноват. Он был зол, это правда, но это же не значит, что он убийца!

Он сидел на холодном камне, слушал какофонию звучащего в голове оркестра и удерживал себя от желания встать и еще раз заглянуть на дно котлована. Но все-таки заглянул — а вдруг произошла ошибка? Никакой ошибки. Но он не виноват...

Разумеется, все обошлось, если не считать, что гибель главы привела семейство в состояние беспросветного отчаяния, когда понимание ужаса случившегося переплетается с полным непониманием факта грома среди ясного неба. Воссоединение семьи, удачный бизнес, безбедное существование — и вдруг все закончилось. Остановка бега на полной скорости почти смертельна, для реанимации требуется слишком много времени и сил, и инвалидность — самый счастливый итог выхода из комы. Но как жить дальше, если жить все-таки необходимо?

Генрих, благополучно убедив себя в невинности, продолжал автоматически работать, запрещая себе думать о случившемся как о невосполнимой потере, когда уходит из твоей жизни очень близкий человек, друг, почти отец, и в ушах звучит его голос, перед глазами мелькают черты лица, походка, жесты, — но, как во сне, нет возможности прикоснуться, силуэт-призрак уплывает и растворяется в воздухе. Конечно, пропавшего человека искали, нашли, но даже дела о гибели открывать не стали. Все очевидно: пошел гулять, поскользнулся, человек старый, погода ненастная. Приносим вам свои соболезнования...

Надо было позвонить Аллочке — Генрих не мог. Потом все-таки решился, выслушал ее слезы, сказал нужные слова. Помогал на похоронах и снова был старым надежным другом, на которого всегда можно положиться. Опора, кремень, мускулистый гимнаст, бегающий по проволоке. Канатоходец, показывающий фокусы. Генка-Гвоздь, по шлямпу вбитый в землю, потому что на ней надо крепко держаться.

Ночью, вернувшись с похорон, он долго не засыпал, позволил себе выпить и плакал один в квартире, затыкая рот подушкой, словно кто-то мог его услышать. На следующий день пошел к матери, ел жареную рыбу с картошкой и думал, как хорошо, если есть у тебя родительский дом и мать, которая подает на стол любимое блюдо сына, мать, которая узнала наконец цену своему непутевому придурку. Мать... Хорошо бы полюбить ее...

С Дианой он не виделся. После похорон между ним и ею словно закрыли шлагбаум — нельзя переходить через рельсы во время движения поезда. Наконец она позвонила.

— Куда ты пропал? Мог бы приехать, Аллочка очень плоха.

— Я занят сейчас.

— Ты всегда занят. Как будто на земле и дел больше нет, кроме как на проволоке кувыркаться.

Он ничего не ответил. Молчал.

— Послушай, Гена, как ты думаешь, почему это случилось? С Ромой...

— Он переживал за сына, когда нас с тобой застучал. Остался дома один, нервничал, стало неважно — пошел гулять.

— Зачем же он потащился к карьеру?

— Откуда я знаю? Мучился, мотался по лесу, случайно вышел к котловану.

— Нечего было ему мучиться. Куда бы я делась?

— Да?

— Да. Очень мне нужно вечно за тебя трястись. Такие самоубийцы, как ты, должны жить в одиночестве... Так ты когда приедешь?

— У нас скоро представление.

— Ты, конечно, готов.

— Естественно. Я, как пионер, всегда готов. Но тренироваться усиленно продолжаю.

— Так когда приедешь?

— Не знаю.

Вот так. *Очень мне нужно...* А что тебе нужно, девочка? Что? Вообще? Тебе? Нужно? Просто скучно жить, но выгодно — богатая семейка. Генрих тоже не бедный и не



скучный, однако беспокойно. Практичная женщина окончательного выбора не делает. Она совмещает приятное с полезным. Она *получает все*. О каких чувствах может в таком случае идти речь?

Но он позвонил ей еще раз, ни на что не надеясь и одновременно надеясь.

— Ты действительно не собираешься связывать со мною жизнь?

— Конечно. Я ведь замужем. Ты забыл?

— А со мной у тебя что?

— Не усложняй, Геночка. С тобой у меня стр-р-расть! И вообще, ты хороший, с тобой интересно.

— А если пройдет интерес?

— Сказано: все проходит. Главное — не успокаиваться на достигнутом.

— Ну, достигай, постигай. Успеха тебе, детка.

— Когда приедешь-то? Я соскучилась.

— Чудо ты мое! — засмеялся Генрих.

— Чудо, а не твое. Но ведь это тебе и нравится?

Да, парадокс. Именно то, что ему нравится, ставит увесистую точку в отношениях: посылка с Небес, которую он так долго ждал, оказалась неподъемной, или просто пустой, или набитой камнями, или вообще не для него предназначенной.

На фоне такой потери померкло остальное: и друг, которого больше нет, и слабо сопротивляющаяся совесть, и дом близких людей, который он навсегда утратил, и женщины, которых так много вокруг, только помани, а манить не хочется. Остались только натянутая над землей проволока и ощущение вдохновения, полета, когда ты скользишь по ней над пропастью, и все, что есть на земле — там, внизу, — видится мелким, ничтожным, не стоящим внимания человека-птицы.

## Глава 7

Незадолго до открытия сезона на цирковом корабле вспыхнул бунт. Молодые «серебряные братья» нового поколения чувствовали себя оскорбленными, побросали на манеж, как перчатки, тяжелые балансиры, приглашая обидчика на дуэль. Обидчиком был Генрих, но негодование обрушилось на Оскара, — конечно, начальник в ответе за все, что происходит во вверенной ему структуре. Тем более что и сам начальник был виноват лично, потому что именно он допустил и *насадил* несправедливость, когда один служащий поднимается высоко по спинам других не менее ценных служащих, причиняя им физическую и нравственную боль. Генриха Серебряного — гвоздя номера — пора было выкорчевать с корнем.

«Братья» выстроились на манеже в короткую шеренгу, все молодые, одинаковые, с «хвостиками» длинных волос на шеях, — воинственные смельчаки, решившиеся на подвиг в борьбе за справедливость. Все против одного, крепкого, но старого. Они убьют его? Вряд ли... У него есть Генрих — старший сын.

— Ну, что случилось, парни? — спокойно спросил Оскар. — Пора работать.

— А зачем нам работать? — откликнулся «силовой», покраснев, как девушка. — Мы все трюки, как детские стишки, давно выучили. Надоела эта зубрежка.

— Иначе нельзя, не мне вам объяснять. Вы как будто вчера родились.

— В том-то и дело, что не вчера. Уже кое-что умеем, а у вас только один гимнаст — Генрих. Ему на пенсию пора, а все красуется — с вашей помощью.

— Ты мне на Генриха не тычь, — начал злиться Оскар. — Тебе и всем вам еще расти да расти, и вряд ли до него дорастете. Нашли пенсионера! Быстро приступайте к работе! Амбиции у них...

— А вот возьмем и не приступим, — пропищал самый молодой, мелкий и тонкий гимнаст, исполняющий роль «мальчика» вместо погибшего Антона. — Возьмем и сорвем номер. Мы тоже не лыком шиты.

— Ишь, герой, — хохотнул Оскар. — Ты у меня первым вылетишь, слишком разросся, на «мальчика» не тянешь... А ну, быстро к снаряду!

— Нет, Оскар, — твердо сказал «силовой», бледнея. — Давайте договариваться. Обещайте нам...

— Я вам что-то обещать должен?! Это вы мне обязаны обещать стопроцентную дисциплину, старания и полное подчинение — иначе весь номер развалится, и кому тогда вы вообще нужны? Закрывайте свое *новгородское вече*, пока я добрый.

— Не будем работать, как Петрушки, мы творческие люди, — подал голос самый старший. — Провалим представление, вам же хуже будет.

— Ты еще мне угрожаешь?! Да пошли вы... — выругался Оскар и направился к кулисам. — Всем выговор за сорванную репетицию, — добавил он и ослабил: — Кроме Генриха...

Гимнасты разбрелись по манежу, покачивая руками и покручивая ногами — автоматически, по привычке разминаясь. Генрих отошел к краю арены, сел в расслабленной позе безмятежного наблюдателя: руки уперты в бордюр, ноги вытянуты, голова чуть откинута назад. Надо что-то делать, мальчики разыгрались. Он мог бы легко их утихомирить, для этого требовалось поработать с волшебством, притаившимся в его черепной коробке, выловить какой-нибудь неприглядный факт из биографии хотя бы одного или двух, припугнуть, а то и запугать до смерти. В конце концов, к боли он почти привык, черт с ней. Вот уже начались покалывания в висках, мозг сжимается и растягивается — сейчас гармошка заиграет. Берегитесь, ребята!

Генрих замер, ухватившись пальцами за барьер. Стоп, стоп... Что-то неверно, не так. Пугать никого не надо, в чем-то эти добры молодцы правы. Нет, он, Генрих, еще не стар, полон сил и вдохновения, но Оскар действительно пренебрегает остальными, зациклился на солисте, а мог бы сотворить роскошный, феерический номер, где «серебряные братья» засверкают всеми гранями благородной оправы, внутри которой еще ярче заблестит драгоценный камень — гвоздь программы Генрих Серебряный. А так ли уж нужна слава Генриху Серебряному? Нужна, конечно. Есть ли на земле артист, который не жаждет аплодисментов? Но все-таки главное в жизни — не деликатесная еда и не еда вообще. Главное для жизни — побольше воздуха для дыхания. Воздух — вот самая здоровая и полезная пища.

Генрих провел ладонью по лбу, тряхнул головой, изгоняя надвигающуюся боль.

— Подойдите-ка сюда, пацаны, — сказал негромко, и гимнасты, услышав зов, замерли каждый на своем месте, потом медленно потянулись в его сторону. — Идите, идите сюда, поговорим. Я вам не враг, хоть вы на меня наезжаете. Слаженный получился у вас ансамбль, только неумно это... Слыхано ли дело — забастовка канатоходцев?! А у нас впереди сезон работы, люди деньги заплатили за билеты. Вы же артисты, нельзя пренебрегать публикой.

— Вот именно: мы артисты, — перебил его «силовой», — а не игрушечные акробатики на ниточках. Твой Оскар, Генрих, совсем зарвался, вместе с тобой.

— Я-то как раз не зарвался, я на вашей стороне.

— Ой, не могу, — приснул «мальчик». — Он на нашей стороне! Да из-за тебя весь сыр-бор.

— Может, из-за меня, но я не виноват. Я действительно старше вас и понимаю, что век мой недолог. Оскар тоже был отличным гимнастом, потом стал руководителем группы, хорошим тренером, что бы вы ни говорили. Но теперь он постарел, меньше

энергии, меньше фантазии — это верно. Значит, что нам надо? Все по порядку, это называется преемственностью поколений: Оскара на покой, меня на его место. Я ведь еще молод, ребята, во мне жизнь бурлит, я вам таких трюков напридумываю, что цирк взорвется. Каждый сможет показать себя во всей красе. А себе оставлю один выход для возрастного контраста. Поняли меня?

— А как ты собираешься Оскара спихнуть? Он в канат зубами вцепился, не оттащишь.

— Это уж моя забота. Сумею убедить, уговорю. Следующий сезон начнем уже без него. Только не рыпайтесь пока. Смешно, честное слово. Как дети, расшалились.

— А ты не врешь?

— Что я вру? Я же понимаю: ничто не вечно под луной. Мы все это одинаково понимаем. Такова жизнь, пацаны. Пошли дело делать. Оскар вернется, увидит, что мы работаем, простит вашу дурацкую стачку...

Нет, не дожидетесь, мальчишки. Генриху Серебряному еще рано в отставку. *За хорошие деньги* он сможет совмещать работу гимнаста с тренерской, у него полно идей, руки чешутся — он поставит взрывной аттракцион. Но не на общественных началах, а только за деньги. Зачем ему деньги, у него и так их много? Как зачем? Всякий труд должен быть оплачен. И вообще: чем больше человек — тем больше у него денег.

В свой выходной день Генрих решил навестить Оскара и его семейство. Он не собирался пока начинать кампанию по оздоровлению и обновлению коллектива — зачем дергать нервы себе и «папе» перед открытием сезона? Но он хотел прощупать почву и убедиться, что правильно выбрал исполнителя затеи. Нина, жена, друг и помощник руководителя группы канатоходцев, должна была, по мысли Генриха, направить мужа по единственно верному пути передачи власти достаточно молодому преемнику. Нина вполне подходила для такой роли: негромкая, спокойная, уютная, она кого угодно сможет уговорить, если захочет. Есть такие мудрые женщины, назвать которых *хитрыми* язык не повернется. У них чутье, интуитивное понимание сущности собеседника и умение как-то так сложить слова в предложении, такой выбрать тон, такое время и место, что ничего просить, а тем более требовать не придется: то, что ей надо, предложит сам обрабатываемый, искренне полагая, что мысль поступить так, а не этак, пришла сама в его личную умную голову. Нина может внушить мужу что угодно, и внушала, и руководила всегда, вела в нужную ей — и ему, само собой, — сторону. Только вот сына Антона не уберегла от цепких лап манежа, но тут, видно, сыграло роль материнское тщеславие: сын — артист цирка, а ему и двенадцати не исполнилось. «Тщеславие губит, — мимолетно подумал Генрих и отмахнулся от этой мысли. — Нет, тщеславие движет вперед, к победам, к успеху. Тщеславие — это преодоление...»

Он давно не видел Нину, надо пообщаться, присмотреться, чем она сейчас дышит, — и в бой. К концу сезона у группы канатоходцев будет новый руководитель, потому что Генрих Серебряный всегда получает то, что задумал. Он и с Динкой, этой леди Ди, мог добиться победы. Но не хотел. А чего он хотел? Он хотел, чтобы она принадлежала ему полностью и по доброй воле, чтобы она отдала ему себя, а он бы взял. И взял с радостью, ощущая себя не только победителем, но и владельцем, обладателем ценногоклада. Эта девочка должна была принадлежать ему, но она принадлежала только себе, а он, как бы там ни было, все-таки не был вором, он не хотел брать чужого, даже если это чужое кажется своим. Своим, черт возьми, до глубины души, до кончиков пальцев...

Такой поворот мыслей мог привести к катастрофе, к гибели самых твердых намерений, разбившихся о каменную преграду недавнего прошлого, — авария была Генриху ни к чему, он вырулил и плавно поплыл по своему пешеходному маршруту, который выбрал сегодня сам, специально оставив машину в гараже, чтобы насладиться

первым весенним днем. Зима, подгоняемая жесткими кнутами солнца, позорно бежала, забыв впопыхах остатки своего богатства — мелкие серые сугробы вдоль обочин тротуаров. Никто эти крохи подбирать не будет, они растратят себя на солнце к концу дня, и побегут столь редкие в городе ручьи, и, может быть, какой-нибудь городской мальчишка додумается пускать вплавь кораблики из газеты, а не из газеты, так из дерева или даже пластмассы, — все равно это будет приветом из детства. Какая разница, у кого какое было детство? Всякий «мультик» прекрасен уже тем, что жизнь в нем игрушечная, ненастоящая — фантастическая. И хорошо, что солнце бьет по глазам, успевающая одновременно ударить по стеклам витрин, наполняющих улицу дополнительным светом. А на небе топчутся, переминаются уставшие стоять на месте единичные облака, и нет у них никакой возможности сблизиться друг с другом для хмурого рукопожатия. Одинокие облака — символ красоты одиночества...

Оскара не оказалось дома — пошел с утра с Алешей на каток. Весна не весна, а ребенок должен заниматься спортом. Ясное дело, у ребенка впереди манеж, тут к бабке не ходи. Нина понимает, но молчит. Или не молчит?

— О, Генрих, давно тебя не видела, — обрадовалась она. — Заходи, мои придут через пару часов. А мы пока чаю попьем, у меня нынче пирог с курагой. Любишь?

— Любить-то люблю, только мне надо вес держать. Твой Оскар мне за кусок пирога башку открутит. Но я рискну.

Нина, двигаясь плавно, не торопясь, накрывала на стол. От пирога шел сдобный запах, и оранжево-красная курага переливалась янтарем в струящемся из окна солнечном свете.

— Вот еще булочки с корицей. Может, выпить хочешь?

— Посмотрим, когда Оскар вернется. Разрешит — выпью.

— Ты такой послушный?

— Да, послушный. И знаешь, мне не трудно: пью редко, обжорством не страдаю. Ну, разве что иногда в ресторане съем лишнее или у мамы.

— Твоя мама хорошо готовит?

Господи, какая чушь ее интересует!

— Хорошо готовит, она всегда следила, чтобы ребенок был сыт.

А за чем еще она следила? Чтобы был чистым и не шлялся...

— Ты никогда не говорил о маме? Вижу, очень любишь ее.

— «О любви не говори, о ней все сказано», — пропел Генрих.

Какая милая, примитивная женщина эта Нина. Кремень, завернутый в вату. Вот такой должна быть жена: полненькая, с добрыми серыми глазами, мягкими ручками и аккуратно постриженными ногтями. Никогда не скандалит. Не кричит и редко плачет. На полной белой шее — тонкая морщинка и нежное углубление, которое почему-то хочется потрогать. Сколько ей лет? Хитрюга Оскар знает толк в женщинах, плохую не возьмет — подавай ему молодую пышечку. Он старше ее лет на двадцать, если не больше. Ну, и как это у них получается, интересно знать?

— Меня Ося беспокоит, — говорила Нина, мелкими глотками прихлебывая чай и держа двумя пальцами кусок липкого пирога, — совсем он плох.

— Что такое? — не понял Генрих

— Возраст. Что тут скажешь? Устает, тревожится все время. Что-то его мучает или болит? Не знаю, не говорит.

— Отправь его к доктору.

— Да разве его отправишь?! Молодится, думает до смерти канатоходцем останется, а жизнь-то идет, Генрих. И сколько в ней всего, Боже ты мой! Антоша вот погиб, в группе какие-то неполадки. Что у вас там происходит?

— Ничего особенного, все как всегда. Просто с возрастом реакции меняются. Устает он, конечно. Это видно.

— Может, ему на пенсию пора?

— Может, и пора, только как же без него? На нем весь номер держится.

— На нем и на тебе немножко, — улыбнулась она. — Не скромничай.

— Я не скромничаю, но и хвалиться не хочу. Меня Оскар создал, научил, поддерживает. Хотя, конечно, и он постарел, и я не вечен. Грустно, но факт. И ухаживать надо вовремя. Он мог бы консультантом остаться, столько опыта! А каждый день вкалывать — не знаю...

— Так посоветуй ему, он тебя уважает, послушается.

— Это он *тебя* послушается, радость моя. А у меня нет никаких прав, да и не умею я уговаривать. А ты сможешь, — он по-дружески похлопал ее по спине, потом погладил по голове и коснулся шеи. — Ты мягкая. Я имею в виду характер, — и улыбнулся.

Она автоматически протянула руку, взяла булочку с блюда, надкусила и медленно жевала, глядя в чашку. Потом вскинула на него глаза и замерла.

— Что, Нина?

— Ничего, так... Ты очень красивый.

— Нашла красавца! Я урод, милая. Голова приплюснута, как шляпка у гвоздя. У меня и прозвище было в детстве — Гвоздь.

— Гвоздь, — повторила она. — Не знаю. Волосы у тебя шикарные, фигура, голос и вот это... — она провела пальцем по его лицу, от носа к подбородку. — Такие морщины мужчине не старят, мужественность подчеркивают. Суровый ты, а когда улыбаешься — добрый, — смутилась, покраснела и отпила из пустой чашки. — Почему ты не женишься?

— Не нашел такой, как ты.

— Я?!

Зазвонил телефон. Нина тряхнула головой, откашлялась:

— Алло.

Как ей идет смущение! Какой нежный голос, ласковый голос лисички-сестрички из сказки. Такому голоску нельзя не поверить. Уведет тебя, околдует, а ты этого не заметишь и проживешь жизнь счастливо. И тогда какая разница, что в твоей жизни творилось на самом деле? Так и не поймешь до конца.

— Мои задерживаются, — сообщила Нина, кладя трубку. — После катка в «Макдональдс» зайдут, Алеша любит. Ося против такой еды, а отказать не может, обожает мальчишку. Ты не уходи, подожди их.

— Ты бы сказала ему, что я пришел. Пусть поторопится.

— Как-то я не подумала.

Генрих все-таки коснулся тонкого шнурочка, опоясавшего ее шею, и углубления, в котором трепетала голубая жилка. Он коснулся и не мог остановиться, а она сидела неподвижно, глядя ему в лицо потемневшими тревожными глазами. Она молодая, живая, что ей делать рядом со стариком?..

Нина плакала. Вот тебе и раз, а он думал — никогда не плачет. Плакала, уткнувшись лицом в его грудь:

— Что я натворила?! Что я за дрянь такая? Ты и сам не будешь теперь уважать меня.

— Уважение к человеку не может пропасть от одного несчастного случая.

— Несчастливого случая?

— Ну, случилось. У меня давно уже «постные» дни, у тебя, думаю, тоже. Порадовали друг друга и будем жить дальше. Оскару необязательно знать. Кстати, где он? Хочу повозиться с Алексеем, соскучился.

- Ты собираешься их ждать? После того, что случилось?!
- Разные вещи. Одно другому не мешает. Что же я буду убегать, как нашкодивший пес?
- Нет, ты все-таки уходи скорее.
- Хорошо. Если хочешь... — Генрих обнял ее за плечи, удивляясь своему равнодушию. — Но ты все-таки успокойся, приведи себя в порядок. Не надо расстраивать мужа, он и без того плохо себя чувствует. Поработай над ним, убеди уйти на покой. Он нам всем дорог.
- Не знаю, как жить теперь буду, Генрих.
- Ты никогда ему не изменяла?
- Нет, что ты! Никогда.
- Ну, ничего, привыкнешь, — некстати улыбнулся он и тут же прогнал улыбку. — Ничего страшного не произошло.
- Но как же теперь? Мы больше не увидимся? Так, как сегодня...
- Возможно, увидимся. Наверно... Дело случая. Чувства возникают и уходят независимо от нас, чувства — это вспышки. Тем и хороши.
- Нет, Генрих, со мной иначе. Я ведь... люблю тебя. Думала, обойдется, а не обошлось, — и она снова заплакала.
- Не плачь, иди умойся. Пирог у тебя вкусный, молодец, хорошая хозяйка. Пошел я. Позаботься о муже, обещаешь?
- Обещаю, — прошептала она. — Приходи почаще, Генрих.
- Как уйдет учитель на покой, буду чаще приходить. Трудно без него придется. Но надо, надо, Ниночка... Запри дверь за мной, дорогая.

Она любит, вот и прекрасно. «Ты красивый...» Ну, положим, о красоте говорить смешно. И неважно это. Если ты кажешься женщине красивым, значит, чувства ее глубоки и глаза замылены. Вот тебе и подарок судьбы. Шевельни пальцем — и твоя навеки. Тишина, покой, пироги и булочки. Она всегда рядом и не мешает. Только шевельнуть пальцем. А как быть с другом и учителем? Учитель остается учителем, друг — другом. Сколько на свете тропинок, бегущих параллельно в одном направлении! Есть, конечно, чувства-вспышки, но существуют и другие чувства. Листья меняются посезонно, ветки остаются. Только не надо гнуть их слишком сильно — можно сломать.

Отнять жену у друга — дело нехитрое. А это надо? Вот главный вопрос. Было бы надо — тогда извини, Оскар, подвинься. *Неисповедимы пути Господни*. Извини, Оскар. Тем более что и толку теперь от тебя никакого. Вчера был учителем и другом — сегодня никто. Разбежались, расплевались.

Она любит. Она может быть идеальной женой, у нее мягкое тело и честные глаза. Она сдобная и сладкая, как пирог с курагой. А ему нужна та, другая, колючая, корыстная, беспринципная. Наверно, он все-таки урод. Вот сейчас, сию минуту, после обладания чудесной женщиной, женой друга, он готов помчаться в дачный поселок, во дворец, где живет принцесса Диана, упасть на колени перед капризной леди Ди и просить ее, молить подарить ему если не жизнь, то хоть пять минут из жизни, и он станет богачом, а потом снова нищим — и так до конца...

Закат медленно поднимался от земли, нежной кромкой расплывался по краю неба и занавешивал окна домов блестящими розовыми занавесками. Большой, неожиданно теплый и уютный город мягко обнимал Генриха и превращался в дачный поселок, в котором вот-вот оживут бессмертные деревья и кусты, приветственно размахивая юными нестареющими листьями. Он *видел*, как напрягаются почки, как летят на песок их клейкие одежды и фисташково зеленеет земля. И много, много воздуха для дыхания...

Он должен поехать туда. Пока не получится, надо перетерпеть, пережить первое представление сезона. А потом... Пять минут — и, может быть, что-то изменится, и вдруг окажется, что Диана стала другой или даже всегда была другой, он просто неправильно ее понимал. А скорее всего, все останется по-прежнему, *должно* остаться по-прежнему, потому что за это, прежнее, он и любит ее так невыносимо.

Генрих стоял за углом дома и никак не мог уйти, словно ждал чуда в задрапированном закатом уголке весеннего города. Он дождался только остановившегося возле дома автомобиля, степенно вышедшего на тротуар Оскара и краснощекого мальчишки, победившего, размахивая руками, к парадной двери.

— Стой, Алеша, осторожно, смотри под ноги, — предостерег отец.

«Будущий гимнаст-канатоходец. — подумал Генрих. — Самоубийца, направляемый к пропасти собственным отцом».

Самоубийца. Так назвала его самого практичная женщина Диана. Дело его жизни — прямой путь к гибели. Смешно. Вся наша жизнь — прямой путь к гибели. Но когда ты бежишь, почти летишь, презирая суету, распри и пироги с курагой, дружбу, которая мешает любви, любовь, которая пьет твои соки; когда ты поднимаешься высоко-высоко над всей земной ерундой, это не называется самоубийством, это называется *счастьем*.

Он поедет в поселок. Но не для встречи с женщиной, которой не нужен, а для того, чтобы продать купленный там домик и никогда больше не возвращаться.

У него есть его *дело*. И через неделю — открытие сезона.

## Глава 8

Накануне представления Оскар приказал своим добрым молодцам хорошенько отдохнуть, желательно активно, чтобы не думать о завтрашнем дне, отключиться, собраться. Сам же он был энергичен и бодр, но тревожен, как, впрочем, и всегда перед первой демонстрацией новой программы канатоходцев.

Генрих решил именно в этот день поехать в поселок — навести порядок, собрать вещи перед продажей дома. Занятие предстояло не из веселых, но он, зная себя, предполагал, что горькое лекарство грусти окажется полезным для здоровья, потому что превратит печаль в злость, тоску — в энергию, а тяжелые мысли — в предвкушение завтрашнего дня, не в прямом смысле *завтрашнего*, а в переносном, означающем *светлое будущее*.

Генриху показалось, что он прав: труден был только первый шаг через порог, когда недавнее прошлое выскочило из всех углов одновременно и преградило ему дорогу. Он махнул рукой, и фокус удался: путь был свободен. Генрих вошел, походил по комнате, стряхнул пыль со стола, сел на тахту. Что убирать, какие вещи собирать? Он не успел обжить свою *собственность*, и стал ли он вообще собственником? Голь перекатная. Но ничего страшного. *Мир хижинам, война дворцам*. Нечего ему делать *во дворце*, кланяться капризной принцессе. Он артист, у него завтра представление, новая программа и потрясающий фокус, придуманный им самим, человеком вдохновения и творческого полета. Он может *все*, а то, что не может, ему не нужно.

Он закрыл дверь на замок и пошел по дорожке к калитке, подбрасывая кончиком ботинка влажные лепешки слежавшихся прошлогодних листьев. Потом медленно двинулся вдоль почерневшего забора по узкой улочке, извивающейся среди тесно стоящих голых деревьев. Жалкая улица, унылая природа, которая здесь, за городом, все никак не может выбиться из промозглой нищеты, мерзнет под набирающим силу солнцем. Солнца слишком много. Солнце — это неприкрытая нагота, которая перестает быть

красивой, если ее так много. То, что чересчур откровенно, неинтересно. Притягательно то, что прячется, лишь проглядывает сквозь листья, через слова и поступки. Чего-то он не увидел в своей принцессе, что-то пропустил. Когда солнца чересчур много, оно ослепляет.

Печаль не проходила, не превращалась в другие, более полезные чувства, а требовала продолжения. Дойти до котлована, где погиб друг Рома, заглянуть вниз: как выглядят сейчас смертельные камни на дне? Вспомнить: старик поскользнулся сам, никто его не толкал. Припомнить, припомнить... Нет, это уж слишком...

У Генриха заболела голова. Только этого не хватало! Какие сведения из прошлого готов опять преподнести неуправляемый мозг? Или это вести из будущего, на которое уже не раз посягал его таинственный дар?

Да, вести из будущего. Вперед, направо и снова прямо. В конце улицы фигурка. Далеко, не различишь, кто идет навстречу. Но Генрих-то знает, он и шел в нужном направлении: вперед, направо, прямо. И болит голова...

— Гена? — выдохнула Диана. — Ты к нам?

— Просто иду.

— Ты нас бросил, я звонила, ты трубку не брал.

— Я был занят. Почему ты одна?

— Ты же знаешь, я люблю бродить одна.

— Как Аллочка?

— Постарела лет на двадцать, целыми днями сидит в кресле и смотрит в окно, а я на хозяйстве. Готовлю обеды из полуфабрикатов, зато теперь делаю что хочу, и никто за мной не шпионит, — она вдруг заплакала. — Я скучаю, Генрих. Почему ты нас бросил?

— Я *тебя* бросил, девочка.

— Почему, почему, почему?!

У Генриха на миг появилось желание пригласить ее и семейство на завтрашнее представление. Пусть посмотрит, поймет, с кем имеет дело. Посмотрит, поймет, оценит... Развлечется... Может быть, тогда... Нет, девочка, Генрих не клоун, он гимнаст, у него опасная профессия, и он заслуживает уважения. Так он и сказал:

— Я не дворцовый шут, детка, и не мальчик. Развлекайся с другими, а мне мозги не пудри.

— А ты, оказывается, тоже зануда, Гена. Здесь, в России, все скучные. Ходите строем, кричите «ура» и совершаете трудовые подвиги. Надо проще жить, веселее. А когда все всерьез — рехнуться можно.

— Что ж ты приехала сюда из своей развеселой Америки?

— Как приехала, так и уеду, если подвернется случай.

— Ищешь случая?

— Ничего я не ищу. Живу, как могу... Пойдем к нам. А хочешь, погуляем? В лес сходим. Помнишь?

Он помнил, конечно, он все помнил, в том и беда.

— Нет у меня сейчас времени для прогулок.

— А зачем приехал?

Он приехал потому, что собирался продать дом. Но он не будет продавать дом, потому что слабак, потому что сколько ни тренируйся, душа мускулами не обрстет, гибкости не научится и покоя не обретет. По крайней мере, у таких, как он, Генрих-Гвоздь. Гвоздь — не только прочное крепление. Гвоздь — тонкая заостренная палочка, которая гнется от непрямого удара. Он все-таки прогнулся.

Нет, он не продаст свой *миленький* домик в симпатичном дачном поселке. Он поселит туда мать, имеет она право в старости проводить лето на даче? У нее есть сын,



который об этом позаботился, дом купил, она посадит огород, цветы разведет — все как у людей. А Генрих, сын, будет иногда ее навещать, продукты привозить, денег давать. Он всегда хотел любить свою мать. Вот хороший повод... Да, Гвоздь все-таки прогнулся...

Это была блестящая идея. Генрих мог бы додуматься и раньше, если бы представлял себе жизнь с матерью теперь, когда он вырвался из домашнего «рая». Ничего, лучше поздно, чем никогда. Он позвонил с дороги, сказал, что едет, и отдал приказ срочно варить гречневую кашу.

Он ел свою любимую кашу с жареным луком и кетчупом и поглядывал на мать, которая сидела напротив, подперев щеку ладонью, и любовно смотрела на взрослого сына. «Любуется, — думал Генрих. — Может, я в самом деле красивый? Она, оказывается, тоже красивая».

Как она изменилась! Где та злобная, вечно кричащая баба с «шестимесячными» кудряшками и непрерывно артикулирующим ртом? Стройная, в шелковом халате и бархатных домашних туфлях; с короткой модной стрижкой, никаких тебе седых косм — золотистая блондинка с филированной челочкой, небрежно прикрывающей чистый, без морщин лоб. Морщин вообще почти нет, потому что округлилось лицо. Возможно, она даже посещает косметический салон, хотя отрицает, считая, что это неприлично. И глаза у нее если не добрые, то уж точно не колючие, как прежде. Что значит «как прежде»? Генрих не знает, какой она была прежде, до того, как он, придурковатый сынок, и тот, другой, кобель не сломали ей жизнь, неудачно появившись на свет. Может быть, только теперь она стала прежней, настоящей?

Вот что такое сытная жизнь! Сытная и спокойная, да, да, *спокойная*, потому что мать не имеет понятия, чем он занимается на самом деле. Сын никогда не приглашал ее в цирк, да она и не пошла бы смотреть на эту *дурь для придурков*. Она выучила звучное слово «эквилибр» и щеголяет им на каждом шагу. Эквилибрист — это цирковой акробат, а кому как не ее Генке ходить на руках и кувыркаться? Главное, за это хорошо платят, а стало быть, есть все-таки какой-то прок от ее недотепы...

— Значит так, мама, — начальническим тоном произнес Генрих, запивая гречневую кашу чаем с чабрецом, — собирайся, в мае поедешь на дачу.

— Какая еще тебе дача? На дачу только младенцев вывозят.

— Ты отстаешь в развитии, мамуля. Сейчас все достойные, тем более пожилые люди летом живут на даче, дышат воздухом. У меня есть загородный домик... Специально для тебя приобрел, — добавил он после некоторой паузы.

— А у меня спросил? — нахмурилась мать.

— Считаю, что сейчас и спрашиваю.

— Сначала купил, потом спросил...

— А с тобой так и надо. Ты упрямая, но деньги на ветер бросать не станешь — поедешь, если заплачено.

— Что мне там делать, на твоей даче? Никого не знаю...

— Узнаешь, познакомишься. Там вокруг одни богатые живут — чем плохо? Будешь жить, как дама. А я буду навещать тебя как примерный сын.

Мать вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

— Вот женщины! — воскликнул Генрих. — Что ни случись — им бы поплакать.

Ему и самому захотелось плакать. Может, это и называется любовью: смотреть и радоваться, что твоя мать плачет не от горя, а от радости, от гордости за тебя, от того, что не сбылись ее привычные ожидания, а сбылось то, чего не ждала. Счастливые слезы матери — разве они не счастье для сына, даже такого, который прикрывает свою слабость видимостью доброго поступка?

Дело сделано. Теперь надо окончательно взять себя в руки, выбросить из головы ненужные мысли о земном, чтобы, не заикливаясь на предстоящем представлении, настроить себя на работу и завтра снова оказаться на высоте, в прямом и переносном смысле. В прямом — то есть на расстоянии пяти метров над манежем, в переносном — много выше, так высоко, как он может и привык. Надо пораньше лечь спать, постараться быстро заснуть и проспять семь часов без пробуждений и сновидений. Так бывало всегда, так будет и сегодня.

Генрих неторопливо шел вдоль длинного многоквартирного дома, мимолетно отмечая про себя красоту и чистоту двора, украшенного деревьями, кустарником и разноцветной детской площадкой, обычно даже в вечернее время оглушающей пространство криками, визгом и смехом детей, густо населяющих дом. Странное дело: тонущий в вечернем сумраке детский мир молчал и, что самое удивительное, был абсолютно пуст, как и весь двор, стиснутый неподвижно застывшими автомобилями. Только впереди, у первой парадной двери скопилась странная неподвижная толпа. Толпа — это всегда движение, колыхание, всплески. То, что увидел Генрих, напоминало расплзающееся пятно, оно некрасиво увеличивалось по краям, оставаясь неподвижным и немым. Он приблизился. Мужчины и женщины не молчали, но переговаривались шепотом, устремив глаза наверх, а там, на балконе пятого этажа, перегнувшись через перила, стоял мужчина, держа над пропастью двора какой-то подвижный предмет. Ребенок, совсем крошечный голый ребенок. Он не плакал, но бился в руках мужчины, как погибающее насекомое, дергая лапками и извиваясь.

— Что это? — спросил Генрих у стоящей рядом женщины.

— Папаша пьяный. Рехнулся, хочет ребенка убить... Миленький, уйди, ради бога, — замахала она руками пьяному на балконе.

— Одеядо принесли, — произнес кто-то. — Мужики, натягивайте быстро.

— Стойте! — крикнул Генрих. — Уберите вашу тряпку, она не выдержит тяжести. Отойдите все.

— Ты чего хочешь делать, парень? — не поняли люди.

— Ловить его буду. Отойдите все.

— С ума сошел! Тяните одеядо, быстро!

— Отойдите, я сказал, — гаркнул Генрих. — Эй ты, урод! — обратился он к пьяному. — Давай бросай ребенка, чего стоишь?

— Ах ты, с...! Лови выб..., — неуверенно произнес пьяный, все еще не разжимая рук.

Толпа в ужасе замерла.

— Бросай! — кричал Генрих. — Струсил, гад?

— Пропал ребенок, — прошептала какая-то женщина. — Чей это парень? Откуда взялся? Он не поймает, тяните одеядо.

Он поймал маленького гимнаста Антона один раз, а в другой раз — опоздал. Но сейчас он на месте, стоит там, где требуется.

Пьяный на балконе качнулся вниз и разжал руки. Генрих нежно подхватил тельце, прижал к груди. Мальчик молчал, но был в сознании и смотрел вокруг удивленными взрослыми глазами.

— Возьмите его, — сказал Генрих, передавая ребенка стоящему рядом мужчине. — Закутайте в одеядо, — и кинулся к распахнутой входной двери.

Он летел на пятый этаж через три ступени, забыв дышать, не думая ни о чем, переполненный дикой звериной яростью. На пятом этаже сразу определил нужную квартиру — хлипкая, похожая на картон древесно-стружечная дверь; дверь в нищенское жилище, в котором нечего прятать и нечего охранять, удара плечом достаточно, что-

бы она рухнула плашмя в прихожую. Генрих, грохоча ботинками, пробежал по ней, ворвался в комнату. Пьяный, кажется, слегка отрезвел, стоял у стены, испуганно поводя глазами.

— Ах ты, сволочь! — кинулся к нему Генрих и ударил, не понимая, куда бьет, не умея драться, потому что прежде не дрался никогда.

Он бил человека, как будто выбивал пыль из мебели, забыв о своей силе, не размышляя о последствиях и словно не помня о случившемся. Он бил от ненависти, не видя крови, не замечая, что жертва теряет сознание, не чувствуя скопившихся за спиной людей.

— Остановись, парень, — какой-то мужчина попытался задержать его руку. — Ты убьешь его.

Пожилый крепыш схватил Генриха за локти, оттолкнул, прижал к стене:

— Успокойся. Сейчас медики приедут и полиция. Тебя задержат. У нас самосуд не приветствуется.

Генрих пришел в себя. Полиция, задержат... Нет, нельзя, завтра представление.

— Беги, парень, пока не поздно. Пострадаешь из-за подонка... Это он жене своей мстил, тоже та еще алкашка.

Бежать? Нет. Не хватало ему бежать, как преступник. Он не преступник, пусть этот гад сдохнет, легче земле будет дышать.

Генрих оттолкнул крепыша, направился к пустому проему двери, вышел и медленно стал спускаться вниз по лестнице, сознательно игнорируя лифт. Ему надо уйти, он должен завтра выйти на арену, а не сидеть в полицейском участке. Но *бежать* он не будет.

Уже покидая двор, он услышал сигнал полицейской машины и понял, что опасность миновала. Так же спокойно добрался до машины, включил газ и рванул с места, только сейчас почувствовав, как трясутся руки и ноги, как колотится сердце и болит травмированное выбитой дверью плечо.

Генрих мчался по городу на бешеной скорости, автоматически увертываясь от встречных машин, обгоняя идущие впереди, не обращая внимания на дорожные знаки. Он не понимал, куда и зачем едет. Уже на окраине города сообразил, что, уйдя от полиции в квартире пьяного, может попасться на превышении скорости — это ему сегодня тоже не нужно. Он остановился и упал головой на руль.

Режим оказался нарушенным окончательно и бесповоротно. Вернувшись домой, Генрих принял ванну, выпил чаю и лег в постель, приказав себе немедленно заснуть и проснуться в восемь часов утра. Ничего не получилось. Он вертелся с боку на бок и, стараясь ни о чем не думать, не мог выбросить из головы жуткую картину человеческой мерзости. Секундный полет ребенка в воздухе, словно во сне, продолжался бесконечно — длинная извивающаяся лента полета, фокус, который никогда не заканчивается. Поняв, что не заснет и что думать о соблюдении режима бессмысленно, он встал, достал из бара коньяк, выпил одну рюмку, другую, третью, опьянел и на миг подумал, что завтра Оскар учует запах перегара и придет в бешенство. Ему стало смешно. Послушный мальчик в кои-то веки послушался наставника в самое неподходящее время. Ну и что? Уволят его или выговор объявят? Шалишь, брат...

Плохо, что болит плечо. Он даже не сразу вспомнил, почему оно болит. Что там такое? Подошел к зеркалу, снял рубашку. Огромная, фиолетово-красная гематома. Ах да, он выбил плечом дверь. Удастся ли спрятать синяк от всевидящего ока Оскара? Плевать на Оскара. Обидно, что болит рука, она ему завтра очень понадобится. Он пошевелил пальцами, повертел рукой во все стороны. Болит. Ну, и ладно. К вкусу и цвету боли он привык.

Генрих стоял перед зеркалом, разглядывал свое мутное отражение и думал одновременно о разном: он красивый мужчина, Нина права, он сильный, он спас ребенка, он должен спрятать от Оскара синяк, у него болит плечо, завтра он покажет класс, он еще долго-долго будет бегать по канату, пьяного он почти убил, он и сам пьян, у него было безрадостное детство, и у этого мальчика оно тоже будет несладким. Зачем надо было его спасать?!

Спал он плохо, просыпался и не понимал, где сон, где явь и кто он: худой мальчишка с длинными руками и приплюснутой головой — Гвоздь — или нынешний мускулистый красавец? Во сне он был Генкой-Гвоздем, но люди, окружавшие его, вдруг оказывались нынешними, они махали руками и все вместе кричали, не то за что-то ругая, не то предостерегая. Он страдал, как маленький беззащитный пацан, и дрался жестоко, как потерявший самообладание силач. Однако удары его, разбиваясь о пустоту, не достигали цели, он размахивал кулаками, кричал и плакал — и все мимо, мимо, мимо...

Будильник прозвенел в восемь часов, Генрих вскочил с постели, потрянул головой, чтобы прогнать затянувшийся сон, сделал несколько приседаний и махов руками. Плечо болело, и сразу вспомнилась вчерашняя история. Нет, вспоминать не стоит. Плохо, когда у гимнаста болит плечо, но он не барышня, он умеет преодолевать боль. Подумаешь, синяк! Пройдет во время работы. Немного тяжелая голова, не стоило вчера пить, это уж точно — не стоило. Но, с другой стороны, не может человек постоянно ходить на поводке, тем более что он и выпил-то не так уж много. Надо хорошо позавтракать, зарядиться на целый день, перед выступлением — ни-ни. Сейчас, правда, есть не хочется. Он решил с утра прогуляться, взбодриться, вернется — поест. Успеется.

В комнате стоял полумрак, Генрих подошел к окну: утро лениво плелось по тротуару мелким дождем, почти невидимым в воздухе, только оставляющим в лужах свои неуверенные следы. Капли прилипали к стеклам круглыми зернышками и негромко постукивали, так деликатный воробушек склевывает с земли неожиданно брошенные каким-то прохожим крошки. За окном — по-питерски смутно и уныло. Человек, которого застигло петербургское сумрачное утро, может примерить его, как шляпу, и приспособить к своему настроению: то опустить поля, то повернуть набок, то сдвинуть на затылок. Петербургское утро сгодится каждому, у кого есть вкус к жизни и средства для разумного существования. Генрих натянул фетровое петербургское утро поглубже на уши: сегодня ему было холодно.

## Глава 9

Он решил поехать в центр города: чувствовал потребность в движении, в многолюдье, на фоне которого легче прогнать остатки вчерашнего приключения и неприятных снов. Но город казался пустым: в воскресенье с утра, да еще при дождливой погоде горожане предпочли остаться дома, спят или завтракают под монотонное звучание верного себе Петербурга.

Генрих покатил по Невскому, радуясь непривычной свободе движения, без пробок и толкотни, и одновременно чувствуя себя не на месте, в чужом городе или даже стране, среди незнакомых улиц и зданий. Требовалось срочно найти что-нибудь привычное, родное. Он свернул на Гороховую улицу и направился к Неве. Где-то впереди, за голыми ветвями Александровского сада маячила фигура знакомого с детства человека на коне — Медный всадник, открытка Петербурга, а лучше сказать — портрет, портрет старинного предка, основателя знатного многолюдного рода *петербуржцев*.

Он припарковал машину на Гороховой и пошел к саду пешком. На воротах табличка: *закрыто на просушку*. Жаль. Этот невзрачный садик — тоже символ Петербурга,

тихий оазис, вбирающий в себя все звуки шумного центра города: шепот и грохот Невы, многолюдье Дворцовой площади, удары полуденной пушки и многолетний незагущающийся шелест скромного фонтана, который кажется живым, даже когда спит, потому что разбавляет, облагораживает суету своей музыкальной нежностью.

Пришлось обойти Александровский сад по Сенатской площади, чтобы с другой стороны, с набережной взглянуть прямо в лицо *кумиру на бронзовом коне*. Зачем? Он не знал. Или знал? Мощь, воля, движение, полет — вот что нужно ему было сейчас. Он ослабел и потух. Он *не имеет права* именно сегодня лишиться вдохновения.

Генрих стоял лицом к лицу с летящим всадником и ждал помощи от него и от самого себя, ждал появления того окрыляющего чувства, которое придавало ему смелость и восторг человека-птицы. Пустота и тишина царили вокруг, ни туристов, ни местных зевак. Мелкий дождь пропитал камень-постамент, сейчас конь поскользнется на его влажной поверхности, и не останется ничего от силы и одержимости всадника. Да он и не собирается лететь. Он тормозит коня, потому что на камне, как на всей земле, скользко. Конь вонзился копытами в земную твердь, всадник впился пятками в его бока. Так и будет стоять здесь со своей трусливой лошадейю. Памятник «Гвоздю» — вот что это такое. Памятник одинокому Гвоздю...

Генрих-Гвоздь — он кто? Почему он всю жизнь одинок: в детстве — презираемый всеми мальчишка, сейчас — известный, *заслуженный* артист России? Нет близких, нет друзей. Был Рома, но где он теперь? Рома погиб, потому что *поскользнулся* на краю обрыва. Был Оскар, но теперь его тоже не будет, потому что... Потому что ученик уже предал своего наставника и собирается предать снова. Так складывается жизнь... Два пожилых человека — вот и все его друзья, к тому же бывшие. Диана? Маленький вертлявый ручеек, с которого, собственно, и начинается свой путь речка его одиночества. Как же так получилось, что он был и остался один? Где развеселые молодые компании, танцы, коллективное озорство и бойкие девушки, которые прекрасны уже тем, что ни у кого из парней не вызывают серьезных чувств? Где хотя бы один друг-ровесник, которому иногда, в минуту откровения можно открыть душу? Даже в цирке, своем родном доме, не нашел он товарища, только коллеги или соперники. Привет, как дела? — и пошел дальше, по дороге потрепав по шее медвежонка или мимоходом отвесив «плюху» смешливому коверному...

Не было никакого смысла оставаться здесь, рядом с одиноким памятником и мучить себя сходством с творением великого зодчего. Как фамилия этого скульптора? Как-то на «фэ», надо посмотреть в Интернете...

Генрих пошел по пустынной мокрой набережной, чувствуя, что хитрый дождь тихой сапой подбирается к телу и уютно устраивается за воротником куртки. Нева, мелко простроченная иголками дождя, ерепенилась, сопротивлялась, играла мускулами и готовилась дать отпор навязчивой тишине ненастного утра. Генрих спустился на несколько ступеней вниз, серые волны с затаенным рокотом плескались у ног. Может быть, сегодня обещано наводнение? Вполне возможно. Когда склонная к истерикам река так податлива и так одинока, она вполне способна выйти из берегов. Кто сказал, что суровая и агрессивная вода — одинока? Да это написано у нее на лице!

Если сегодня случится наводнение, цирковое представление окажется сорванным. «Ну, и слава богу», — вдруг подумал Генрих и испугался своей невероятной мысли. Ему все равно?! Его работа, цель и смысл жизни — ему безразлична?! Нет, ничего подобного. Вчерашняя страшная история со спасенным мальчиком, которому предстоит безрадостная жизнь, опутанное дождем утро, одинокий памятник на берегу одинокой реки — все это минутная слабость, и она пройдет, обязана пройти, потому что сегодня вечером он поднимется на пять метров над землей и будет счастлив своей властью над земной жизнью, не дающейся в руки никому...

Генрих переоделся в серебряный костюм, забрал волосы в «хвостик» на шею. Пора стричься, а жалко, красивые волосы, Нина права. Но слишком густые, будут мешать работе. На днях надо постричься. Он гримировался перед зеркалом и прислушивался, как оживает цирк: невнятный шум голосов, хлопанье сидений кресел, перекличка настраиваемых инструментов в оркестре, когда труба невольно отвечает скрипке, флейта — виолончели. Он любил эту музыку без мелодий, состоящую только из звуков и рождающую в нем гармонию предстоящего действия. Так оживает лес от короткого возгласа невидимой птицы, и душа начинает петь свою песню, сочиняя ее из случайных нот. Ненадолго в какофонию звуков вмешался барабан — тревожный спутник циркача, сопровождающий опасные трюки. Опасность — вот стержень жизни, ее стойка с натянутой проволокой, по которой ты скользишь без балансира и страховки. Опасность, которую ты уверенно преодолеваешь...

В дверь заглянул Оскар, уже в костюме, в высоких серебряных сапогах.

— Ну что, Генрих? Ты готов?

— Почти.

— Тебе мешают волосы.

— Я уже понял. Забыл постричься.

— Ничего нельзя забывать в нашем деле, даже если очень хочется покрасоваться, — улынулся Оскар.

— Не волнуйся, батя. Тебе вредно волноваться.

— Что это вы все заладили: вредно, вредно? Нина пристаёт, и ты туда же. Мне вредно сидеть смиренно на заднице и ровно дышать. А работа даёт силы. Нинка говорит: бросай работу, — дура она, не понимает, что хорошо, что плохо.

— Твоя Нина все понимает, её надо слушаться, Оскар.

— Советуешь мне идти на покой?

— Ничего я не советую. Нашёл время обсуждать проблему пенсионного возраста! Нина-то придёт на представление?

— А как же? Сидит уже во втором ряду с Алешей.

Нина сидит во втором ряду, а Дианы, конечно, нет. Может, она и знает о представлении, афиши кругом, но её надо было *попросить*. Нет, просить он не умеет. Он никак не может выпихнуть эту девчонку из своей жизни, но просить не собирается. Однако то, что не дается добром, можно взять силой. Посмотрим... Совершенно ненужные сейчас, неважные сейчас мысли. Важнее, что по-прежнему болят плечо и рука и в мозгу медленно, но неуклонно разливается боль. Его особенность, его природный дар — какую киноленту из прошлого он намерен прокрутить? Или это весть из будущего? Взрыв боли — и тишина. Нет!

«Братья» Серебряные работали отлично, строили пирамиды с «мальчиком» на плечах, притворно падали, вызывая панику в зале, который тут же взрывался аплодисментами. Генрих стоял на мостике и ждал своего выхода. Наконец «братья» разместились с противоположной стороны, и Генрих без балансира и страховки начал свой блестящий путь. Он бегал, припадал к канату, делал стойку на руках и садился на шпагат, прыгал на одной ноге, описывая другой круги в воздухе. Это была прелюдия, так называемый «разогрев», за которым последовал главный трюк, придуманный им самим и отработанный до мелочей. Передние сальто, одно за другим по всей длине проволоки, — а в середине пути, во время кувырка, из рукавов, из-за пояса и ворота вылетела стая птиц и закружилась над ним, поднимаясь все выше и выше к куполу, а он балансировал, играя на выхваченной из воздуха флейте и пританцовывая на своей узкой танцплощадке, и снова выполнял переднее сальто, успевая помахать рукой улетающим в небо пернатым.

Зал ревел. Генрих не думал о том, что делает, номер был доведен до автоматизма. Эквилибрист творил свое дело, словно смотрел на себя из зрительного зала и понимал, как красиво то, что он делает, и как радостно доставлять радость другим. А главное, главное... В том ли счастье, чтобы возвыситься над жизнью внизу, и важно ли, что там внизу? Это временно. Постоянно то, что наверху, то, куда летят птицы, маня его за собой. И он полетел...

Он лежал на манеже, смутно видел склоненное над собой лицо Оскара и слышал его голос:

— Генрих, Генрих, не уходи, посмотри на меня, ты слышишь, Генрих?

Он шевельнул рукой, почувствовал боль и обрадовался — живой! И как хорошо: ясная голова, как будто никогда не гнездила в ней его хищный *дар*, сплетник и предсказатель, по неведомой чьей-то воле разделявший с ним жизнь. Ясно и чисто. И хочется плакать.

— Не плачь, Генрих, не плачь, мой мальчик. Все обойдется, тебя починят, и вернешься в строй, работать с нами. Ты наш, цирковой, слышишь, Генрих? Ну, не будешь бегать по канату, так ты же классный фокусник. Таких фокусников, как ты, — поискать...

— Нет, — чуть слышно прошептал Генка-Гвоздь. — Только по канату... поднять еще на два метра... — он едва заметно улыбнулся и потерял сознание...

Одиночества символы, отзвуки дрожи души,  
Вечный поиск спасения — в омуте нот и метафор...  
Сколько лет белый парус по волнам туманным спешит,  
На осеннем мольберте березы сбиваются в табор!  
Стоит лишь захотеть, лишь царапнуть бумагу пером,  
Или встать на пуанты на льду ненадежном обрыва,  
Или втиснуть в гравюру в душе накопившийся гром,  
Иль коня циркового поймать за воздушную гриву —  
И свободен! Казалось, победы — на ломаный грош,  
Словно выпил воды, выбивая зубами стаккато,  
Но глотком этим жадным на миг усмиряется дрожь,  
И включается в ритм дребезжащая хрупкость стакана.

---

---

## Владимир СПЕКТОР

\* \* \*

А вы из Луганска? Я тоже, я тоже...  
И память по сердцу — морозом по коже,

Ну да, заводская труба не дымится.  
Морщины на лицах. Границы, границы...

И прошлого тень возле касс на вокзале.  
А помните Валю? Не помните Валю...

А все-таки помнить — большая удача.  
И я вспоминаю. Не плачу и плачу.

Глаза закрываю — вот улица Даля,  
Как с рифмами вместе по ней мы шагали.

Но пройденных улиц закрыта тетрадка.  
Вам кажется, выпито все, без остатка?

А я вот не знаю и память тревожу...  
А вы из Луганска? Я тоже. Я тоже.

\* \* \*

Дым воспоминаний разъедает глаза.  
Память о доме, как воздух, закачана в душу.  
Дом пионеров. Салют! Кто против? Кто за?  
— Ты ведь не струсил поднять свою руку? — Не струшу.

Трусить — не трусить... Любишь вишневый компот?  
Помнишь рубиновый цвет и обманчивость вкуса?  
Память с трудом отдает. Но зато как поет...  
Дым превращая в дыханье. А минусы — в плюсы...

---

Владимир Спектор родился в Луганске. Редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант». Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы, изданных в Донецке, Луганске, Киеве, Москве. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе имени Юрия Долгорукого, имени Арсения Тарковского, имени Сергея Михалкова. Публиковался в журналах «Слово/Word», «Новый континент», «Новый берег», «Радуга», «Сетевая словесность», «Дети Ра», «Связь времен», «Зарубежные задворки», «Этажи», «Берега», «Чайка», «Золотое руно», «Камертон», «Литературная Канада», «Особняк», «Интер-Фокус», «Новый Гильгамеш», «Клазура» и других. С 2015 года живет в Германии.



\* \* \*

Ну, что с того, что я там был...  
*Юрий Левитанский*

Ну, что с того, что не был там,  
Где часть моей родни осталась.  
Я вовсе «не давлю на жалость»...  
Что жалость — звездам и крестам

На тех могилах, где война  
В обнимку с бывшими живыми,  
Где время растворяет имя,  
Хоть, кажется, еще видна

Тень правды, что пока жива  
(А кто-то думал, что убита),  
Но память крови и гранита  
Всегда надежней, чем слова.

Ну, что с того, что не был там,  
Во мне их боль, надежды, даты...  
Назло врагам там — сорок пятый!  
Забрать хотите? Не отдам.

\* \* \*

В своих безбожных небесах  
«Шестидесятники», устав от волейбола,  
Поют Булата, слушают «Спидолу»,  
Читают. Женя, Роберт и Андрей...  
Но небеса — темней, темней, темней.  
И мрак предательством пропах.

Внизу все тот же неуют.  
Чапаевцы, как тени в пыльных шлемах,  
Плывут куда-то с капитаном Немо,  
И с косами — не ангелы стоят,  
И не понять — кто прав, кто виноват,  
И что там у костра поют.

Ломают памятники в дым,  
И те, кто в небесах, понять не могут,  
Зачем, куда, в какую путь-дорогу  
Собрались те, кто, перепутав след,  
Осваивают тот и этот свет,  
Где страшно мертвым и живым.

\* \* \*

«Натюрлих», Савва Игнатъевич,  
«Розамунда» плачет, смеясь.  
Маргарита Павловна, увы...  
Меж количеством и качеством  
Нарушена временно связь.  
Куда ни глянешь — «рука Москвы»...

Савва Игнатъевич, «фюнф минут»!  
Мы идем из войны в войну.  
«Не для радости жить нам». Ну, что ж...  
Горько там, и не сладко нам тут —  
На пути из страны в страну.  
Только ты, друг, как прежде, хорош.

Даже когда «с утра — за дрель».  
А помнишь — перитонит...  
Снова средства нелепы, как цель.  
Савва, это душа болит

\* \* \*

Предательство всегда в прекрасной форме.  
Ему оправдываться не пристало.  
Полузабытый бог геноссе Борман  
Простит и даст команду: «Все сначала».

И в жизни, как в недоброй оперетте,  
Злоещие запляшут персонажи...  
Вновь темнота видней на белом свете,  
А свет опять заманчив и продажен.

\* \* \*

Принимаю горечь дня  
Как лекарственное средство.  
На закуску у меня  
Карамельный привкус детства.

С горечью знаком сполна —  
Внутривенно и наружно.  
Растворились в ней война,  
И любовь, и страх, и дружба...

\* \* \*

Эпоха непонимания,  
Империя недоверия.  
Не поздняя, и не ранняя —  
Бесконечная империя,

Где хищники пляшут с жертвами,  
То с левыми, а то — с правыми...  
Где нужно быть только первыми  
И правдами, и неправдами.  
В передней.

\* \* \*

Ничего не изменилось,  
Только время растворилось  
    И теперь течет во мне.  
Только кровь моя сгустилась,  
Только крылья заострились  
    Меж лопаток на спине,  
И лечу я, как во сне.  
    Как цыганка нагадала:  
Все, что будет — будет мало.  
    Быть мне нищим и святым.  
Где-то в сумраке вокзала  
    Мне дорогу указала.  
Оглянулся — только дым.  
Где огонь был — все дымится.  
Крыльев нет. Но есть страница,  
Вся в слезах. Или мечтах.  
На странице чьи-то лица.  
    Небо, дым,  
    А в небе птицы,  
Лица с песней на устах.  
Ветер временем играет.  
    Ветер кровь  
    Мою смущает  
    Наяву или во сне.  
Мальчик с узкими плечами,  
    Парень с хмурыми очами —  
Я не в вас. Но вы во мне.  
    Мы с лопатой на ремне  
    Маршируем на ученье,  
Все слышнее наше пенье.  
    Мы шагаем и поем.  
О красавице дивчине,  
    О судьбе и о калине,  
И о времени своем.

\* \* \*

Летучий дым болгарских сигарет —  
Забывтый символ дружбы и прогресса.  
«Родопи», «Шипка», «Интер», «Стюардесса» —  
Не в небесах клубится легкий след,

А в памяти, где тень яснее света,  
Где хорошо быть просто молодым,  
С беспечностью вдыхая горький дым  
Отечества, как дым от сигареты...

## РАССКАЗЫ

### ЯИЧНИЦА НА ДВОИХ

Мы с Санчо сидели в опустевшем вестибюле одной конторы, служившим по вечерам комнатой отдыха для охраны. Место, откуда я сюда добирался, было настоящей клоакой, поэтому мне было проще переночевать на работе и сносно выпавшимся поменять Санчо с утра. Такая определенность была Санчо по душе. И хотя мы уже давно сидели в печенках друг у друга, к моему позднему визиту Санчо отнесся с должным вниманием. По этому поводу он зажарил яичницу из двух заваливавшихся в холодильнике яиц. Как сказал бы наш юрист Валера, они не являлись нашей собственностью — Грымзика, но тот конкретно накосячил — не вышел на смену. Так что Санчо, отработавший две смены подряд, уже не желал вдаваться в тонкости частного права. К тому же Грымзика, скорее всего, уволят за прогулы, а покойники никому не нужны, как гласит дворовая мудрость. Сладкий запах справедливой расплаты витал над дымящейся яичницей на сковороде.

После короткого перекуса, когда пришло время для пустяков, Санчо неожиданно заявил самым безапелляционным тоном:

— Думаю, Бог следит за каждым из нас. Сомневаюсь, чтобы каждый день. От случая к случаю, наверное.

Говоря фигурально, Санчо обитал на дне потухшего кратера и не закрывал на это глаза. И такой же честности и прямоты ждал от меня, поскольку видел во мне своего полноправного соседа.

— Какая-то история? — благодушно отозвался я, бросая на остывавшую пустую сковороду взгляд, полный благодарности.

— Да, с моим пятидесятилетием, — оживился Санчо, поудобней вкручиваясь в кресло, которое мы как-то вместе принесли с помойки. — Помню, как еще ребенком из дверного проема наблюдал, как мой дед, директор завода, отмечал свой юбилей. С размахом тогда гуляли и с... восторгом! Не еде на столе радовались, нет, а силище, пребывавшей в них — в деде, конечно, ну и в гостях, тоже не из последних людей. Это было пиршество римского сената, клянусь, и я был свидетелем тому. Потом я рос и мужал в окружении пылившихся повсюду многочисленных подарков с того юбилея, помеченных латинской цифрой L... И вот зима-лето, и уже подошел мой черед отмечать свой полташок. Памятуя о деде-покойничке, я тоже вознамерился отметить свой юбилей с присущим ему размахом. Сразу решил снять номер в «Хаятт», не президентский, конечно, но обязательно с видом на набережную. И не так чтобы сиднем сидеть, как арестант, а выходить время от времени на променад. Любоваться, как ребристая вечерняя вода баюкает тугие гроздьи электрического света. И всю прогулку ощущать в кар-

---

Олег Владимирович Захаров родился в Свердловске в 1966 году. Окончил Уральский институт коммерции и права. Публиковался в журнале «Урал». Живет в Екатеринбурге.

мане ключи от номера — это важно. Потому что когда все мы, празднующиеся за-  
поздалые гуляки, рано или поздно вернемся на исходную — кто куда, то я вернусь обрат-  
но в гостиницу. Будто этот дорогой и неприступный номер и есть мой дом... Обязательно  
посещу ресторан: покажу паспорт и, может, как именинник выщиганю для себя что-  
нибудь отдельное от счета. Было бы неплохо. Может, вызову проститутку — сбере-  
жения имелись. Хотя к черту проституток, после них я всегда себя чувствую обману-  
тым и обворованным. Даже не знаю, как у них такое удается проделывать раз за разом.  
Учат, наверное... Но жизнь внесла свои суровые коррективы, и юбилей пришлось встре-  
чать на смене. Один урод забухал — ты его не застал. И вот в свой юбилей я сижу на сме-  
не и планирую перенести торжество на ближайший выходной. И тут в аккурат заявля-  
ется Жорик с автоматов. Чего-то там поковырялся, повыкидывал просрочку в ведро,  
забрал выручку, закрыл автоматы и тихо отчалил. Я заглядываю в ведро, а оно бит-  
ком набито чизбургерами в упаковке — с ветчиной, с сыром, с курицей... А ведро-то  
хорошее — туда конторские бумажки рвут. Вот я смотрю на этих касатиков и думаю:  
еще десять минут назад мне бы эти чизбургеры пришлось по дорогой цене брать: де-  
нежку просовывать в автомат, все чин чинарем. А через другие десять минут их можно  
вот так просто забрать. Да, из ведра, но ведь в вакуумной упаковке. С ними еще надо  
повозиться, чтобы вскрыть. Да сами бы конторские в момент их разобрали, если бы  
раньше меня на них напали. И вот такое невероятное везение у меня вышло прямо-  
ком на мой день рождения. Скорей ташу их все в будку, острее, чем когда либо, ощущая  
себя именинником.

Сразу же на радостях чайку завариваю и половину этих голубчиков тут же приго-  
вариваю. И уже на сытый желудок думаю такую думку: а на кой мне все это? Гости-  
ница? Зачем? Я ведь, слава богу, не бездомный. Ресторан? Да я не хуже приготовлю,  
было бы из чего. И что это за жалкий удел за дорогие деньги брать напрокат чужую  
жизнь? Не отвечай, вопрос риторический. Не получится устроить себе праздник, если  
ты один. Деньги потратить можно, а праздник получить нельзя. Потому что празд-  
ник таится не в кошельке, а в сердцах близких тебе людей. А подарок мне сделал Жора,  
сам того не зная. А раз не знал, значит, подарок все-таки не от него. И Жора здесь не  
более чем посыльный. И тут я печенками почувствовал высшее существо, присталь-  
но наблюдавшее за мной. Вот в тот день я и поверил, что Бог все таки есть... только  
он не любит меня.

Свой рассказ Санчо заканчивал в густом облаке табачного дыма, пряча свою рани-  
мость за пуленепробиваемым образом мужчины с сигаретой. Также значимости до-  
бавляло единственное в помещении кресло, которое занимал он. Тут у нас было не-  
гласное правило: кто на смене — тот и в кресле, а визитеры из числа неожиданных или  
специально приглашенных могут смело занимать имевшиеся в наличии табуреты. По-  
мещение, в котором мы располагались, представляло собой замкнутое пространство.  
Ближайшее окно нужно было искать где-то за закрытой дверью, в длинном коридоре  
с геранью на подоконниках. Но умозрительно мы не теряли связи с ноябрьским ве-  
чером, что в темной прохладе, влажно касаясь стен, обволакивал нас.

— Теперь послушай, что у меня было в воскресенье, — начал я.

— На смене?! — встрепенулся Санчо. Как известно, ничто в этом подлунном мире так  
не занимает охранников, как события, произошедшие на объекте, который он охраня-  
ет. Разные события, и не всегда связанные с его непосредственными обязанностями.  
Тут, видимо, магнетизм исходит от самого места, где охранник вынужден проводить  
треть, если не половину своей вяло протекающей жизни.

— Мои подлецы соседи опять всю ночь не давали мне уснуть, так что на смену я за-  
явился с красными глазами убийцы и зашкаливающим внутричерепным давлением.

На прошлой неделе была та же история, и Тамара Джабраиловна уже ловила меня за сном, так что в этот раз я судьбу искушать не собирался. И точно: приходит и первым делом ко мне в будку заглядывает. А я такой ничего, бодрячком, хоть и из последних сил. Через пару часов уходит и говорит мне на прощание так по-заговорщически: «Я сегодня больше не приду». Что мне услышалось как: «Если хочешь спокойно и без напруга немного покемарить, то сейчас самое удобное время». И поскольку по случаю выходного дня в конторе не было ни одной живой души, то я бесстрашно развалился на топчане в поисках медитации или ответов на проклятые вопросы бытия, как пойдет.

Санчо в кресле аж восторженно зажмурился от предвкушения.

— И только из темноты, обволакивающей меня, кто-то стал подавать мне голос... как дверь резко открылась, и вошел...

— Безопасник? — Санчо был благодарен мне за эту викторину.

— Нет, — выдыхаю я обреченно.

У Санчо аж дух перехватило.

— Тамара Джабраилова в обратку?

Я страдальчески улыбаюсь:

— Если бы.

Санчо был готов назвать следующую инстанцию, но для этого ему нужно было время, чтобы собраться с духом. Я не торопил его, давая прочувствовать весь ужас описываемого момента.

— Е... ли... за... ров? — спросил он по слогам, словно вышеназванную величину невозможно было уместить в один контейнер.

Я обреченно кивнул.

Видно, что ошарашенный Санчо пытается представить себя на моем месте и у него это плохо выходит.

— И что?

— Ничего. Просит у меня ключи от своего кабинета, делая вид, что ничего не замечает.

— А ты весь помятый, опухший? — мурлыкает Санчо.

— Да уж конечно, раскумаренный, — подтверждаю я.

— Чего это он в выходной заявился? Не было прежде за ним такого.

— Вот и я подумал: чего это он? Главное, вначале начальница появляется, говорит, что все будет тихо, а затем и Сам заявляется. Интересная двухходовочка получается. Уволить меня решили за то, что в субботу спящим попался. Провели, как одноклеточное. Через какое-то время Елизаров снова появляется, отдает ключи и говорит мне на прощание «счастливо». Счастливо! С чувством так говорит, без формализма, — поясню я в недоверчивую физиономию Санчо. — Ну, думаю, начались эти садистские штучки: обволакивают дружелюбием, мысленно уже подписав приказ о твоем увольнении. До поры до времени держат в неведении, играют как кошка с мышкой.

— Да уж, попасться спящим на глаза самому генеральному... — Санчо так и не удается до конца оправиться от потрясения.

— Дорабатываю смену так себе, — продолжаю я. — Чего, думаю, стараться, если работу все равно профукал. Перед уходом выгреб все из своего ящика: радио, кружку, тапочки. Дома уже новые варианты прорабатываю. Обдумываю планы на жизнь. И при этом постоянно жду звонка: мол, больше на работу приходить не надо, приходите забирать документы и все такое... И вот в таком маринаде варюсь два своих выходных. Так и не позвонили. Ладно, думаю, решили пойти по самому жесткому сценарию, когда приговоренный, ничего не подозревая, спешит себе на работу, полный планов и несовершенных поступков, похожий на свернутую непрочитанную газету. А на него гля-

дят, как на прокаженного, и говорят: стоп, не надо снимать верхнюю одежду, только отряхнитесь и можете подниматься в отдел кадров, где вас уже пристально ожидают.

— А газету свою дома дочитаете, — вставил Санчо с понимающим видом.

— Лишь бы над человеком покуражиться, — согласился я.

— Утром собираюсь на работу, а у самого в голове только одна мысль, как бы этим садюгам доставить поменьше удовольствия. И вот я отправляюсь на плаху с вызывающе тонким пакетом, нарядный, словно на детский утренник, до одури надушившись дорогим парфюмом, какой они в своей камере пыток и не нюхали. Естественно немного опаздываю, как того требует случай.

— Грымзик жаловался, — подтверждает Санчо.

— «Ты на смену?» — спрашивает Грымзик, с ходу оценив мой нездешний воинственный вид. Мычу что-то неопределенное. Дескать, собираюсь вас всех к черту послать, но в интересах предприятия могу и незамедлительно приступить к работе. Тот сдает мне смену и технично убегает. Ну что ж, думаю, по крайней мере, дают доработать смену, чтобы закрыть полный месяц. А пока будут втихаря искать мне замену. И вот я окопался в будке, в самом сердце вражеской территории, и пытаюсь распознать знаки. Проходит мимо Тамара Джабраиловна — тишина. Спускается покурить безопасник — этот-то свою шакалью натуру непременно выдаст, но нет, все как обычно. Ловко замаскировалась, думаю. Наконец приезжает на работу сам Елизаров: протягивает руку, здоровается как ни в чем не бывало.

На лице Санчо читается разочарование.

— Сижу, значит, но тут меня начинает одолевать голод, — продолжаю я передавать сводки с боевых действий. — Я ведь ничего с собой не взял из еды, решив в случае благоприятного исхода обойтись суточным голоданием. Я такое практикую — ты знаешь, но я только недавно вышел из очередного такого, и нынешнее было явно преждевременным. Все равно что повторно оплатить уборку в уже убранном доме. Именно такую метафору подсказал мне мой подвывающий желудок, с него и спрос. Плевать, говорю я ему, мы это проделывали не одну сотню раз, так что не ссохнешься. И тут мне со второго этажа приносят глубокую тарелку кусочков очищенной дыни. Впервые от них такое. Я аж растерялся. Командую желудку «отбой» и приступаю к трапезе. При этом чувствую себя как монашка, нарушившая обет. И в качестве расплаты желудок начинает пучить. Тело укоряло мой ослабший дух. Но дело идет к вечеру: я сижу на вахте полуголодный, с расстроеным желудком, что-то предавший в себе, но спасенный и избежавший своих худших подозрений. И тут этот лысый арендатор из подвала поднимает мне кучу дорогущих конфет разных сортов...

— Не смена, а один сплошной день рождения, — заметил Санчо.

— День с самого утра обещал выдаться занятым, так что к вечеру я уже устал удивляться, — скромно откомментировал я. — А часам к восьми спускается Елизаров, сдает ключи и на прощание бросает мне, чудесно спасенному, свое фирменное «счастливо».

Санчо затянулся новой сигаретой, уйдя в псевдоглубокомыслие. Он ждал объяснений, и я был готов ему их предоставить.

— Видишь ли, — продолжил я, — если тебя на рабочем месте застал спящим сам генеральный, то такое попадалово по своей фатальности сопоставимо разве что с прыжком без парашюта в объятия низко летящих облаков. Финал легко предсказуем и неизбежен. И один только Бог способен помочь избежать твоей незавидной участи. Если, разумеется, захочет выйти из-за кулисы и явить миру подлинное чудо. И сейчас я тебе во всех деталях описал самое настоящее чудо со всей его внешней стороной, за вычетом того, что навсегда останется сокрытым от нас. Я здесь был лишь свидетелем тому и скромным рассказчиком.

Пустая теплая сковорода, расположившаяся между нами, хранила память о съеденной яичнице. Разбитая скорлупа хранила память об яйцах. А наша прожитая жизнь хранилась в призрачных воспоминаниях, которые мы иногда извлекали на свет.

К ночи мы с Санчо расплозились по разным углам, устраиваясь на ночлег. И оставшись наедине с собой, полагаю, по привычке продолжили философствовать. Как выяснилось, единственным нашим земным богатством была молодость. Под молодость щедро раздают кредиты, и мы нахватили себе жен и детей. А когда молодость безвозвратно прошла, мы превратились в потертых мужичков на низкооплачиваемой работе. И женщины отвернулись от нас. Не только жены — все женщины. И тогда каждый из нас столкнулся в своем доме лоб в лоб с подселенной соседкой — Одиночеством. «Зато ни за кого не надо платить», — мурлыкало оно в темноте, тяжело наваливаясь на грудь. Неумелые путешественники, мы, как умели, колесили по жизни, пока в итоге не очутились на дне потухшего кратера, без всякой надежды выкарабкаться оттуда. И мы прекрасно осознавали, с чем нам придется сталкиваться изо дня в день. Однако по ночам через круглое жерло нам являлось блюдце звездного неба, и мы придумывали свои первобытные религии, чтобы сохранять силы и дальше тянуть свою лямку день за днем...

### МОКРАЯ ИСТОРИЯ

Эта история случилась в ту пору, когда я частенько ошивался в гостях у своих деда с бабушкой. Та пора закончилась, когда мне стукнуло шестнадцать лет. Но эта история произошла, когда мне было только десять; мы с родителями жили неподалеку от них, и мне нравилось наносить старикам неожиданные визиты. Это немного приподнимало над обыденным существованием: тебя принимают на полном серьезе, называют не так, как обычно зовут родители, наливают чай в совсем другие кружки, выкладывают в вазочку что-нибудь вкусненькое, и ты уютно заземляешься в мире, так непохожем на твой.

В их доме бабуля была берегиней домашнего очага, а дедушку звали Аскольд. Он и выглядел соответствующе; я не мог представить деда под другим, более прозаичным именем, навряд ли Юрия или Виталия. Бодрый, если не сказать пижонистый старикан лет пятидесяти, абсолютно на какой-то своей волне чудом сохранившийся осколок от совсем иной жизни.

В тот день по дороге к ним я попал под чудовищный ливень.

Лето, по оценкам взрослых, выдалось дерьмовым, дожди и впрямь лили не переставая, но мне, мальчишке, нравилось быть застигнутым дождем где-нибудь в городе. В такие моменты люди, трусливо жмущиеся под козырьками зданий, казались мне убежденными грешниками, страшась божьего благословения, как черт ладана. Когда я что-нибудь подобное высказывал своим родителям, отец в немой ярости начинал сверлить глазами мою мать, словно это она где-то недоглядела, что ее родителем оказался дед Аскольд. Как я догадывался, для отца было большое испытание выслушивать разглагольствования тестя за праздничными посиделками, но когда уже я начинал вещать в его стиле, отец принимался лихорадочно искать глазами на стене ружье, которого у нас, по счастью, никогда не было.

Дверь мне открыла бабушка. Она тут же сообщила мне, что мы с дедом только что разминулись, и поставила на плиту маленький чайник со свистком, чертовски приятный на ощупь, пока не нагреется.

— Представляешь, ушел без зонта, — поделилась она со мной, прикуривая от плиты. Она была моложе деда и, наверное, последняя в городе, кто продолжал носить юбки с глубоким разрезом.



Она предложила мне сухую дедову рубашку, но я, внутренне ужаснувшись, вежливо отказался. Втайне я испытывал суеверный ужас перед примеркой одежды от родственников значительно старше меня. Мне казалось, что и отцовская рубашка способна высосать из меня молодость в виде нашей разницы в возрасте, чего уж говорить о дедовой. Спасибо братьям Гримм, или от кого там еще я мог подцепить подобные суеверия.

Мы прождали деда часа четыре, не меньше. Точнее, ждала бабуля, всматриваясь одним ей понятным взглядом в падавшую с неба воду за мокрым стеклом, я лишь лениво постреливал пультом в экран телевизора, и он отвечал мне разнообразными гримасами.

Вышедший по какому-то пустяковому делу, наш дед пропал в исчезающем под дождем городе. Связаться с ним не было никакой возможности, так как свой мобильник, как и зонт, он оставил дома.

Наконец послышался долгожданный звонок в домофон.

— Кто? — подняла трубку бабуля.

— Аскольд, — отрекомендовались в трубке. И на тот случай, если имя Аскольд ничего не скажет бабуле, уточнили с нотками комической респектабельности: — Твой муж.

И вот он предстал перед нами на пороге: мокрый до последней нитки, с неправдоподобно сухой головой. Кстати, волосы наш дед то и дело красил.

Переодетый в сухое и чистое, усевшись в роскошное кресло белой кожи, дед объяснил причину своей пропажи.

— Это было путешествие в самое сердце тьмы, — возвестил он. — И вернувшись оттуда, считаю своим долгом сообщить вам, мои дорогие: мир больше не тот.

И глядя, как бабуля везет из кухни маленькую тележку с горячим кофе и разными вкусностями, я вдруг отчетливо осознал, что мир перестал быть тем, еще задолго до появления на свет деда Аскольда. Он ни одного дня своей жизни не прожил в своем мире, где вызывают на поединок, обнажив меч, где жгут сигнальные костры и оставляют любовные послания в условленных тайниках. Однако каким-то непостижимым образом он хранил память о родине своей души, и это всех раздражало, кроме меня и бабули.

— Рассказывай.

Ободренный вниманием слушателей, словно оперная прима при полном зале, дед повел свой рассказ.

— Я всего лишь намеревался получить свой страховой медицинский полис в офисе, расположенном в каких-то паре-тройке километров отсюда. Я собирался совершить эту безобидную прогулку пешком, потому что вам хорошо известен мой принцип: по мере сил я стараюсь избегать общественного транспорта, а на сэкономленные на проезде деньги, в качестве поощрения, я покупаю себе банан. Поэтому в моей жизни так много полезного фитнеса и не менее полезных бананов, а не этой мутной жижи совместного существования, что плещется в салоне любого общественного транспорта. — Дед разговаривал так, словно, кроме нас с бабкой, в комнате присутствовали еще несколько малознакомых людей, которым следовало давать необходимые пояснения.

— Итак, я подхожу к нашему окну и с надеждой всматриваюсь в повсюду валявшиеся лужи, как в разбитое зеркало неба. Их поверхность тиха и безмятежна. Ободренный, я совершаю свои последние приготовления и с видом искушенного пессимиста вновь подхожу к окну, но уже с другой стороны дома. И опять вполне благостная картина: соседка, легко одетая, с непокрытой головой, бодро выходит из подъезда, чтобы, очевидно, отдать всю себя без остатка этому городу...

— Соседка с первого этажа? — решила уточнить бабуля.

— Почтеннейшая мать семейства! — подхватил дед Аскольд, давно переставший удивляться сверхъестественной проницательности своей супруги. — И вот я, преиспол-

ненный надеждами на лучшее, выхожу из дома. Предстояла приятная пешая прогулка среди городских ландшафтов, не без пользы дела, однако. И первое, с чем я сталкиваюсь по выходу, — это энергично морозящий, мелкий дождик. Я вспоминаю недавнюю тихую безмятежность лужиц, этих мутных глаз дьявола, вспоминаю соседку с первого этажа, с головы до ног нелепейшее существо, и чувствую себя жестоко обманутым. Как вам хорошо известно, не в моих правилах отступать перед трудностями, и я продолжаю свой путь, исполненный праведного негодования. А дождь только усиливается. Теперь это уже настоящий ливень. И хотя он нисколько не поколебал моих намерений, мне становится немного жаль моих недавно выкрашенных волос. Из-за этого подлого дождя я рисковал превратиться из молодежавого красавчика в облезлого скунса! И что я делаю? Я нахожу глазами двери какого-то учреждения с эмблемой аптечного креста на вывеске и бросаюсь к ней с отчаянием изможденного странника под монастырские стены.

Это оказалась какая-то частная медицинская клиника, чьи дела идут ни шатко ни валко, судя по безлюдной тишине, царившей в холле. Я с печалью смотрел на дождь за стеклянной дверью и с высоты своего жизненного опыта понимал, что такой дождь может затянуться на несколько суток. На моих глазах лужи расплзались в небольшие озера. Я в полной мере начинаю осознавать, в каком глупейшем положении я оказался: дома лежит франтоватая кепка, купленная на осень, к ней же шикарный английский зонт-трость, но я, заочно посоветовавшись с лужами за окном и пустой башкой безмозглой соседки, выхожу без всего, чтобы в каких-то пятистах метрах от своего дома оказаться жертвой обстоятельств, узником, замурованным городским дождем...

— Становится интересней. — В лице бабули дед Аскольд всегда находил благодарного слушателя.

— ...И я становлюсь настолько зол на этот дождь, который успел для себя одушевить, что начинаю его воспринимать как своего тюремщика, перед которым мне униженно даже стоять, — продолжил дед Аскольд, бросив недоверчивый взгляд в сторону супруги. — Я нахожу скамеечку возле пустующего гардероба и тихонечко присаживаюсь. Через полчаса в клинику входит молодая женщина. Перед собой она катит коляску с ребенком. Женщина притормаживает у гардероба, снимает мокрую куртку и приглашающе перебрасывает ее через край стойки. «Возьмите куртку», — говорит она мне укоризненным голосом, напоминающим мне о моих якобы прямых обязанностях. Я там так откровенно скучал, что с радостью ухватился за предоставившуюся возможность пошутить в духе комиков немного кино. Я как ни в чем не бывало захожу в открытый гардероб и с видом добросовестного трудяги принимаю куртку, и более того — выдаю бирку!

Дед Аскольд обвел нас победоносным взглядом, требующим заслуженного восхищения.

— А где был настоящий гардеробщик? — спросила недоумевавшая бабуля.

— Так ведь лето: распустили до осени, — со знанием дела пояснил дед Аскольд. Затем выждал выразительную паузу и саркастически добавил: — Кстати, если будут еще возникать вопросы относительно тонкостей гардеробного мастерства, можете смело и дальше обращаться ко мне, признанному специалисту, как мы все знаем.

— Продолжай.

Дед Аскольд сделал большой глоток кофе, словно ему требовалось перевести дух, а заодно восстановить силы, чтобы справиться с оскорблением, нанесенным двумя женщинами по одному и тому же поводу.

— В общем, дождь все лил, я продолжал сидеть, а эта дура через час заявила, что у нее из куртки пропал дорожный телефон. И откуда что берется, но я ей прямо с ходу парирую: «За оставленные вещи администрация ответственности не несет». — «В полиции

будешь рассказывать», — шипит она в ответ и перекрывает коляской выход из клиники. Затем начинает голосить как потерпевшая. Прибегают тетки в белых халатах с раскрасневшимися от чая физиономиями. Начались расспросы: кто таков? зачем полез в гардероб? Но из-за их трусоватого напора я становлюсь отреченным, словно статуэтка Будды на пыльных антресолях. У меня свое занятие — я жду, когда закончится дождь. И конечно, не сразу, но все же появляется «она», родимая: на стареньком уазике, в бронезилетах, с автоматами наперевес. Меня сажают в зарешеченное место для пассажиров, предварительно обыскав, и мы, захватив эту истеричную дуру с коляской и ее идиотского ребенка, одной большой семьей отправляемся на «базу».

Дальше в полиции пытаются выяснить мою личность, но документов при мне никаких нет. Я им называю себя, и через полчаса тип с усами прапорщика заявляет мне, что человек, которым я назвался, умер три дня тому назад. «Возрадуемся же моему чудесному воскрешению во плоти», — саркастически заявляю я, чувствуя себя участником какого-то отвратительного фарса.

И сразу после этих произнесенных мною слов наша потерпевшая, словно вавилонская блудница, которую коснулись лучи божьей благодати, перекрестившись — да, да, — заявляет толпившимся вокруг нее малообразованным мужчинам в погонах: «Я тот телефон с собой не брала. Он же дома остался!» И тут же потеряв интерес ко всем нам, пробивается с коляской к выходу. Тут бы и мальчишкам в казенной одежде последовать ее примеру, но не тут-то было. Им, заинтригованным, враз приспичило установить мою личность. Настолько приспичило, что даже отпустить не захотелось.

И тут я предлагаю этим разочарованиям родительских надежд отвести меня в офис страховой компании, где меня поджидает полис с моими данными и, как я надеялся, вполне удачной фотографией моей физиономии. И что вы думаете, было дальше? Мы с мальчишками прыгаем в машину поприличней и едем по указанному мною адресу.

Уже в офисе один из моих провожатых спрашивает агента в лоб: «Как вы умудрились оформить полис „покойнику“?» Агент смотрит сначала на него, потом на ироничную ухмылку, игравшую на моем лице, и не менее прямо отвечает: «Когда мы его оформляли, он покойником не был». Потом они долго созванивались — каждый по своим каналам, то и дело передавая трубку друг другу, — пока не выяснили, что имела место ошибка, допущенная по чьей-то халатности. Меня снова вернули к жизни, но дождь продолжал лить, как лил.

— Длинновато получается, — со свойственной ей деликатностью заметила бабуля, словно только от деда как от рассказчика зависело количество перипетий, о которых предстояло отчитаться.

— И все же, — вдохновенно продолжал дед Аскольд, пропустив ремарку мимо ушей, — я покидал страховщиков в прекрасном расположении духа. Судите сами: дело, ради которого я выходил из дома, было благополучно разрешено, половина дороги у меня уже была за спиной, и — что немаловажно — волосы оставались сухими!

— А дождь продолжал лить, — рефреном подхватила бабуля с немного отсутствующим видом.

Дед радостно просиял в ответ.

— Итак: выхожу под узенький козырек на фасаде и чувствую себя просто неотразимым. Во мне это впервые появилось лет в двадцать с небольшим и до сих пор не проходит. И я начинаю шутивно предлагать всем проходящим мимо дамочкам взять меня под зонт. Чем не выход? И десять минут этого занятия совершенно убили во мне последние остатки веры в людей: женщины, к которым я обращался, судорожно впивались в свои потрепанные зонты и ускоряли шаг. Были и те, которые не ускорялись, а начинали самодовольно крутить задом, уподобляясь людям, что наслаждаются беспомощно-

стью человека, оставшегося на берегу. Там, на городских улицах, в гуще проходивших мимо людей, я ощутил себя сосланным на необитаемый остров, я отчаянно хватался за края лодки, и меня били прикладами по пальцам.

— Говоря фигурально, — вставил я свои «десять копеек».

Дед Аскольд бросил на меня взгляд, полный жалости, только что осознав, в каком кромешном аду мне придется вариться десятилетие за десятилетием.

— И тут надо рассказать об одной особенности, которую я и ранее подмечал в себе: если общество перестает вести себя предсказуемо, соблюдать им же установленные правила, то и я в свою очередь начинаю чувствовать себя свободным от социального протокола. Во мне просыпается другая личность, очевидно более подлинная, до поры до времени загнанное в угол мое истинное «я».

— Как все же хорошо слушать твою историю, зная наперед, что ты уже здесь — сидишь в кресле, пьешь кофе... — вздохнула с облегчением бабуля. — Конец истории пришел вместе с тобой, или к нам еще кто-нибудь заглянет?

— И конец истории, и полис, — успокоил супругу дед, самодовольно похлопав себя по заднему карману брюк. — Итак, сбросив все условности, я снимаю с себя куртку и, накрывшись ей на манер зонта, отправляюсь пешком по затопленному городу. Люди с зонтами сторонятся меня, ибо чувствуют, что я уже переступил черту дозволенного и со мной нынче шутки плохи.

— Может, все же стоило воспользоваться общественным транспортом? — робко осведомилась бабуля.

— Наивная женщина! — закатил очи вверх ее супруг, словно призывая в свидетели небо. — Не было в этих подворотнях никакого общественного транспорта. Скажу более: чем дальше и яростнее я продвигался, тем отчетливее начал понимать, что вконец заблудился. Представляете: заблудился! Я! В городе, в котором доживаю шестой десяток. Да я даже в детстве умудрился ни разу не заблудиться. А тут я стою с дурацкой курткой на голове посреди какого-то гетто и даже близко не представляю, в какой стороне находится мой дом.

— Это потому, что тебя привезли на машине в малознакомый район, — успокоила его бабуля.

— Разумеется, — враз согласился дед Аскольд.

— Спрашиваю у проходящей мимо женщины, в какой стороне находится «Мегахауз», — продолжил наш рассказчик.

— Я не знаю, — с ходу отвечает она мне.

— Да бросьте, — говорю. — «Мегахауз» все знают.

— А что там у вас? — спрашивает.

— Я там живу неподалеку.

— Так вы что, забыли дорогу домой? — спрашивает.

— Да, заблудился, — отвечаю, престарелый обалдуй.

И она преспокойно идет дальше, словно все, что ей было нужно от этой беседы, она уже получила.

И тут мимо меня легкой рысцой пронесется лошадка, запряженная в телегу с возницей в брезентовой плащ-палатке. Я понял, что реальность — нормальная и повседневная — для меня закончилась еще в клинике вместе с большой дурой, что я оказался в зазеркалье и должен действовать по его правилам. И что же я делаю? Я бегу за лошадкой, догоняю и в красивом прыжке оказываюсь рядышком с возницей, оп-ля!

— Ты думаешь, лошадка не заметила, что ей на хребет еще один хряк взгромоздился? — со всей серьезностью спрашивает меня возница. — Не в трамвай, поди, запрыгнул.

— Я заплачу, — предлагаю я.

Намокшее лицо возницы светится мудростью.

— Лошадке твоих денег не нужно. А вот помыть ее хорошенечко, да с щеточкой, это да.

— Да я только сел, — возмутился я. — Вымыть лошады! Хорошенькое дельце. А зубы ей золотые во всю челюсть не вставить?

Больше возница ни на чем не настаивал. Видимо, понравилась шутка про зубы.

И едем мы себе так неспешно под проливным дождем, а я между тем даже не представляю, в какую сторону мы движемся. Но теперь это уже и не так важно, я в предвкушении того, что сейчас случатся вещи более значимые.

И вот мы проезжаем мимо небольшой похоронной процессии... И хотя ничто прямо не указывает на личность покойного, но внутри себя я уже знаю, что везут хоронить того, другого Аскольда, моего злополучного двойника, несчастного бедолагу, на полость чьей непростой судьбы я сегодня случайно вступил. Почему я так решил? Судите сами: мы знаем, что тот, другой Аскольд умер три дня назад, как раз подходящее время, чтобы начать хоронить. Во-вторых, и это тоже стало известно, что мы проживали с ним в одном районе. И в-третьих, не так уж много у нас умирает людей в городе, чтобы пренебречь первыми двумя условиями. И наконец, у меня было предчувствие, что это именно он. Слишком уж часто наши пути с ним пересекались за сегодня. Заочно, разумеется. И вот настал час, как говорится, встретиться лицом к лицу. Этого требовал закон жанра.

Обнадеживало, что катафалк с телом направлялся в сторону противоположной нашей, в самое сердце тьмы, и я понял, что скоро выберусь. И вправду, вскоре лошадка вывезла меня к служебному входу торгового центра. Оказалось, что они с возницей работают на небольшой кооператив, поставлявший в магазины домашний творог.

— Ну, уж в «Мегахаузе» ты как рыба в воде, — с облегчением вздохнула бабуля. Рассказ деда заставлял с замиранием сердца следить за его путешествием «на край ночи».

— Дождь лил не переставая, — продолжил дед бодрым тоном спасенного человека, — и я решил немного пройтись по торговому центру, чтобы обсохнуть и перевести дух. Естественно, поперся в супермаркет: требовалось заесть стресс чем-нибудь вкусеньким. Решил: усядусь где-нибудь на скамеечке, буду жевать и смотреть, как идет дождь. Я расплатился на кассе и в стороне от всех принялся изучать чек. Вы знаете другой принцип моей жизни: я всегда читаю свои чеки. Во-первых, мне это нравится. Словно читаешь монографию о себе. Во-вторых, всегда бывает нелишним проверить, за что и сколько заплатил. И тут я не поверил своим глазам: майонез, семьсот пятьдесят грамм! Господи, да я за всю жизнь не съел столько майонеза, а тут согласно чеку я являюсь гордым обладателем целого ведерка, кстати, не самого дешевого. Форменное мошенничество. И все же эта жалкая афера с чеком показалась мне не более чем отрыжкой моего недавнего безумного путешествия на край ночи, говоря языком Селина. «Ну, ребята, — говорю я, мысленно обращаясь ко всем, кого это может касаться, — нельзя же так со мной. Я ведь все-таки ни много ни мало академик». В общем, иду на кассу разбираться: деньги мне возвращают, забывая при этом принести извинения. Черт с ними, я вновь напяливаю себе на голову куртку и отправляюсь домой, изрядно потрепанный, но несломленный. И вот я перед вами.

Возникла пауза, сочная и полновесная, какая возникает от переполненности чувств.

— Да, все-таки эта соседка с первого этажа — ненадежная женщина, — резюмировала бабуля, всегда умевшая всхватить самую суть.

Дождь вскоре закончился, и я засобиравшись домой. Надел кроссовки и вышел из квартиры, минуя церемонию прощания.

Сбежав на первый этаж, я увидел на лестничной площадке приоткрытую дверь в квартиру и пышнозадую женщину в домашнем халате, томно курившую в щель две-

ри, ведущей в подъезд. Пресловутая «соседка с первого этажа». Волосы у нее были совершенно сухими. Помимо сухих волос, с моим дедом их объединяло приключение людей, застигнутых в городе сегодняшним проливным дождем. Наверное, у нее тоже имелась своя захватывающая дух история. Впрочем, до деда ей было далеко, куда ей до действительного члена-корреспондента Академии наук. Она, соседка, вообще была такой шкатулкой с секретами, очевидно весьма пошлыми, судя по ее самодовольной физиономии и вульгарной манере затягиваться. Затем подъездная дверь открылась нараспашку, и мужчина с двумя детьми, очевидно приехавшие издалека, прошли в незапертую квартиру.

Выстрелив окурком куда-то в улицу, женщина в халате буднично направилась за ними, но завидев меня, остановилась и даже зачем-то полезла в накладной карман.

— Ты вроде из шестьдесят четвертой? — спросила она, назвав квартиру деда с бабкой.

— Да, — бесхитростно ответил я.

Она достала из халата страховой полис.

— Передай Аскольду Карловичу, — сказала она и, неприятно хохотнув, добавила: — В подъезде обронил.

Я мигом взлетел на второй этаж, дверь еще оставалась незапертой. Не привлекая к себе внимания, я тихонько прошел в ванну и сунул полис под грудку мокрого белья. Перед тем как вновь покинуть квартиру, я из прихожей прислушался: в комнатах было тихо, словно там вообще никого не было.

---

---

Александр СОБОЛЕВ

**МЕДИТАЦИЯ НА КРАСНОМ ГЕОРГИНЕ**

Дрожит весь воздух золотой.  
*Н. Заболоцкий*

В осеннего воздуха медленный ток  
небрежной рукой вплетена паутина,  
и мощный, раскидистый куст георгина  
венчает прекрасный цветок.

Как слизень, в слепом летаргическом трансе  
сквозь влажные дебри пластинчатой чаши  
свое существо незаметно влачащий —  
так взгляд, замирая на каждом нюансе,  
скользит осторожно по зелени темной,  
вдоль русел прозрачного терпкого сока,  
сквозь тени и блики восходит истомно  
к цветку без греха и порока.

Не темпера, не акварель, не сангина  
смирненно творили цветок георгина,  
но плотное масло, мазок за мазком.  
Он алый, как крест на плаще паладина,  
и темно-багрова его середина,  
и с плотью планеты извечно едина,  
и звездам он тоже знаком.

Он в душу вмещается полно и сразу,  
и в ней позабытый восторг воскресает,  
и пиршество глаза — на грани экстаза,  
когда откровением вдруг потрясают  
отшельника — лики на створках киота,  
а кантора — громы классической фуги,  
спартанца — кровавая рана илота,  
любownika — лоно подруги.

Он цвета любви, полыхающей яро,  
родник нестерпимого красного жара...

---

Александр Юрьевич Соболев — автор четырех поэтических сборников. Публиковался в журналах «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Дети Ра» (Москва), «Prosōdia», «Москва», «Южное сияние», «Казань», электронных журналах «Релга», «Гостиная», альманахах «45 параллель», «Интеллигент» (Санкт-Петербург) и некоторых других изданиях. Лауреат пяти поэтических конкурсов и фестивалей, член Союза российских писателей, по образованию физик. Живет в Ростове-на-Дону.

И поздние пчелы стремятся к летку,  
вкусив от его бескорыстного дара,  
и солнце — сверкающей каплей нектара!  
И первая чakra моя, муладхара,  
раскрыта навстречу цветку.

\* \* \*

Подмораживает. Луна.  
Полотно голубого льна  
на булабочках звезд растянуто.  
Время позднее. Ранний март.  
У котов сезонный азарт,  
и надежды их не обмануты.

Все потаяло, снега нет,  
но везде водянистый свет  
и лагунами, и заливами,  
и везде ледок молодой  
прорастает, хрустя слюдой  
под шагами неторопливыми.

Голубым сияньем облит,  
разметавшийся город спит,  
и ни ангела с ним, ни няньки.  
Светят два или три окна,  
безмятежность и тишина,  
как на хуторе близь Диканьки.  
Ни следа дневной суеты...

Вдохновенно орут коты!  
Только им да луне не спится.  
Ночь приветлива, ночь светла!..  
Редко-редко мелькнет метла,  
а на ней нагишом — девица.

### **СТАРИК**

Этот шаткий шаг при прямой спине  
и замявшийся воротник...  
Плоскодонной лодкой на злой волне  
по бульвару идет старик.  
Он гордится статью своих костей  
и забытых женщин числом.  
Он годится внукам чужих детей,  
как верблюд или старый слон —  
но не любит смех, и поборник схем,  
и живет, как велят врачи.



Он судья для всех, но на пользу всем  
исключен из числа причин.  
Он заспал грехи и счета закрыл.  
Под неистовый стук часов  
он с экранов цедит бразильский криль  
через сивую ость усов.

Этот серый день, этот день сырой  
нахлобучил седой парик.  
Бормоча порой, под морщин корой  
по бульвару идет старик.  
Для него лучится с афиш Кобзон,  
а с дешевых листовок — вождь.  
Он опять забыл в магазине зонт,  
и поэтому будет дождь.

### СОЛОВЕЙ И РОЗА

Да пребудет роза редифом!..

*А. Тарковский*

На рынке музыкальный мужичок  
в базарный день свое искусство кажет:  
его свирель — пластмассовый сверчок  
(и с дюжину — в коробке, на продажу).  
То — соловей... Бирюлька, пустельга,  
свисток с водой, штампованная штучка.  
Он неказист, но песня дорога —  
живой ручей, веселый и блестящий!

Ему цена — целковый без рубля.  
Среди колбас, лимонов-канареек,  
сырых лещей, несбывшихся цыплят,  
пупырчатых гусей, манящих взгляд,  
на быстрине ноябрьского борея  
бурлит его причудливая трель.  
Не сам Орфей, но что-то в этом роде, —  
горит на солнце, словно карамель,  
дрожит в ушах, дрожжами в сердце бродит.

Купи его! — и поднеси ко рту,  
добавь мажора в жизненную гамму,  
где майский мед — и нищенский картуз,  
капустный лист — и луковицы храма.  
...Осенний полдень радостно-тверез,  
притихло все в своем базарном лоне,  
и медь — в картуз... и роза в каплях слез  
певцом больна в цветочном павильоне.

\* \* \*

Укатилась гроза. Укаталась гремучая сивка.  
В переулке — ручьи, озерки,  
вечереющий ветер взбивает высокие сливки  
над муаровой лентой реки.

И — на то и четверг — с этажей силикатного замка,  
в полутьне, обрамленную им,  
опускается дева, чей взгляд деликатен и замкнут  
на касании с грешным моим.

И красна мне она, как повально красна земляника,  
потому что июнь подоспел.  
Потому что спокойное «знаю» курносого лика  
невозбранно дырявит доспех.

Потому что синее озоновый слой. Поелику  
лучезарен стеклярус ветвей!  
Потому что — живой... и умыта дождем земляника  
в решете из кирасы твоей.

### **ПРОГРЕССОР**

Холмы пустыни. Раскаленный  
камнями Азии сквозняк.  
Араба шпорами казня,  
спешит барон из Аваллона.  
Тяжелый панцирь. Пот соленый.  
Он скачет, коршуну родня,  
и пена падает с коня  
в святой земли сухое лоно.  
Он крестоносец, прах от праха,  
не Божий перст, но жалкий знахарь.  
Надмирных не узнать лугов  
душе, истлевшей, как рубаха.  
И Сын Марии и Аллаха  
печально смотрит на него.

### **О ПУТЯХ ЭВОЛЮЦИИ**

...И последнее дело — пенять природе,  
что она не старается стать хорошей —  
как назло, кривыми путями бродит,  
континенты и живность в окрошку крошит,

и вообще ведет себя непригоже —  
заливает лавами палимпсесты,  
накосячив, тут же грунтует место  
для каких-то новых своих художеств.

Хочешь — смейся, но в этом прискорбном факте,  
в пандемии, накрывшей и нашу Землю,  
отражен нестойкий ее характер,  
ибо местный дьявол и тут не дремлет.  
Для того ему и нужна аренда,  
чтобы горний тезис пустить насмарку,  
эволюцию Дарвина сделать брендом,  
зачеркнув развитие по Ламарку.

Сплошь и рядом с ним никакого сладу,  
дирижирует запросто всей оравой,  
потому что принцип «Смотри, как надо!..»  
подменяет кличем «Хватай и хавай».  
Обретаясь в той же экосистеме,  
где всегда и всё ловили и ели,  
государство, естественно, тоже в теме,  
огласив прилюдно иные цели...

Мы опять о своем, о Большой потраве.  
Ни следа Инонии в пыльном хламе,  
но шакал Табаки в родной державе  
воплотился в каждом чиновном хаме,  
и любой идеал холуем облизан,  
и трусливы графы ее запретов.  
Конституции ломаются от девизов,  
а шкафы канцелярские — от скелетов.

Не исполнилось то, что мы замышляли,  
и стыдись девяностых, как почечуя,  
удивляясь живучести джугашвали,  
на ветру живем, натошак кочуем.  
Чудаки, что мерились с днем вчерашним  
и на шаг смелее и дальше были —  
в лагерях и в бойне у телебашни  
стали прахом, но не дорожной пылью...

Что сказать. Мы крепко временем биты.  
Память помнит, не надо рыться в архиве.  
Углеродные часики тех событий —  
в неистлевших костях. Времена глухие —  
наш урок, наследие мезозоя  
(да не будет выпренной эта фраза).  
И дорога наша пахнет золою.  
Нам простится. Но это будет не сразу.

Николай ХЛЕСТОВ

## МАМА ПРИЕХАЛА

### Рассказ

Андрюша присел в кустах малины и горько заплакал. И малина тоже заплакала — с нее капали Андрюшины слезы.

«Ну что же она не едет? Ко всем уже приехали, а ко мне нет. Она же обещала!» — сердито подумал он. И от злости еще сильнее заплакал. Мама обещала быть в родительский день в детском саду как можно раньше. «Я ведь соскучился. Неужели она не знает этого? К Вовке Арбузову приехала мама, к Саньке Митину — папа. Даже к противному Лешке Силину и то мама приехала! А ко мне — нет! Что же это такое? Странно: Лешка противный, вечно что-нибудь стащит у меня, а мама его — хорошая. Как увидела меня, хоть и в первый раз, а почему-то сразу же сказала: „И к тебе тоже скоро мама приедет“. Откуда она знает? Но все равно она добрая, хоть у нее и Лешка. Как ей не повезло! Но я не буду ей об этом говорить. Чего ее зря расстраивать? Она же не может его перевоспитывать здесь, в детском саду!»

Андрюша вытер лицо рубашкой. Затем лег на траву, чтобы его никто не видел. Легкий ветер приятно досушивал лицо. Огромные чудовища из белых облаков проплывали по яркому голубому небу. И солнце то появлялось, то исчезало. Казалось, оно шептало: «Скоро уже шесть лет. Стыдно плакать!»

Андрюша посмотрел на малину в слезах, и ему опять захотелось плакать. Стыдно, если плаксой дразнить будут. Он тяжело вздохнул и каким-то ему самому неизвестным способом сдержался и не заплакал.

Затем сорвался и побежал к воротам детского сада. Серо-голубое пятно издали показалось ему маминым пальто, и будто послышался ее голос. Но когда он подбежал поближе, оказалось, что это чужая мама.

«У меня же конфеты с печеньем кончаются. Я все рассчитал до последнего дня. Даже несмотря на то, что Лешка стащил, всего хватило. Но до сегодня, а как же потом? Неужели не приедет?» — от одной этой мысли Андрюша опять заплакал.

Небо, солнце, зеленые ворота — все словно смазлось краской. Он отошел в сторону и опять вытер мокрой рубашкой лицо.

«Как это может случиться со мной? С кем угодно, с кем-то другим, но не со мной, не с моей мамой! Ни за что!» — решительно подумал он. И уверенность придала ему сил.

...Он большой — у него уже появились воспоминания. Даже нехорошие. Это было давно — месяц назад. На Андрюшу налетело воспоминание о том страшном поезде. Он

---

Николай Олегович Хлестов родился в 1952 году в Москве. Дипломат, прозаик. Окончил МГИМО. Работал в нашем посольстве в Эфиопии, в различных департаментах МИД СССР и затем России. Занимался многосторонней дипломатией, участвовал во многих международных совещаниях по линии ООН. С 1998-го по 2016 год работал международным чиновником во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. Автор книг прозы, вышедших в России и ФРГ, член Союза писателей XXI века. Дипломант премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» за 2017 и 2019 годы. Живет в Москве.

возвращался с мамой, папой и сестрой из-за города на электричке. Жаркое лето, благодушное воскресенье еще не кончилось. Все ехали в расслабленно-веселом настроении. Смеялись над глупыми воронами, которые подлетали к железной дороге и стремглав уносились при появлении нашей электрички. Ничто не предвещало беды. Чтобы лучше рассмотреть необычный, все время меняющийся мир, Андрюша пересел на свободное место у окна. Вот и въехали в Москву — такую непривычную из окна поезда. Он повернулся, чтобы сказать об этом маме, но, к своему удивлению, увидел, как она идет в конец вагона. Ее серо-голубое легкое пальто, которое она почему-то звала накидкой, мелькнуло у дверей. Значит, и папа, и сестра уже вышли через это необычное помещение со странным названием «тамбур». Нужно скорее — нет, немедленно — догнать их. Как они могли меня забыть? Ведь я здесь, в электричке, и совсем без них. Сами все время учили не оставаться одному на улице и сами же забыли... меня одного. Бежать! Надо срочно бежать, пока поезд не тронулся. На ходу уже нельзя... мама может заругать.

Андрюша рванулся к выходу и быстро спрыгнул на перрон, следуя за толпой. Какая жалость, что он маленький. «Ничего невозможно разглядеть — взрослые такие большие. Вот вырасту и буду легко ходить, не отставая от мамы. Потому что смогу видеть все с высоты.»

— Мальчик! Ты что, потерялся? — спросила его какая-то добродушная толстая тетка.

— Нет, я за мамой. Я ее догоняю. — закричал он ей. Андрюша был страшно доволен, что он может, как взрослый, разговаривать с незнакомыми взрослыми людьми. Он побежал еще быстрее, когда увидел знакомое серо-голубое пальто. Но мама шла очень быстро, и ему никак не удавалось догнать ее. Странно, а где же папа и сестра? Наверное, ушли вперед. Толпа опять заслонила маму. Но он не растерялся и продолжал бежать. Наконец ему удалось догнать ее. Он дернул ее за пальто, но она продолжала идти как ни в чем не бывало. Тогда Андрюша рванул полу пальто со всей силы. Наконец-то она заметила его и обернулась. О ужас! «Это не моя мама! А где моя мама? Где она?» — требовательно и испуганно закричал он. Какие-то взрослые люди, совсем незнакомые, с которыми мама не велела вступать в разговоры, вдруг оказались не совсем плохими. Они не сказали, где мама, но очень участливо стали расспрашивать его. Кто-то сказал: надо позвать милицию. Андрюша горько заплакал. Доигрался! Теперь заберут в милицию, а ведь он ничего плохого не сделал. Он просто потерял маму. Разве он виноват в этом. Кто-то предложил какую-то необычную комнату — матери и ребенка. «Зачем мне чужой ребенок и чужая мать?» — подумалось Андрюше. Но взрослые повели его в эту самую комнату. Андрюша так обессилел от страха, что не мог сопротивляться. Главное — скорее увидеть маму, и все. Он вошел в эту загадочную комнату и, к удивлению своему, обнаружил большую тетю в милицейской форме. Она не бранилась, не ругала его за то, что он потерялся, а стала расспрашивать его, откуда и куда он едет, как его зовут и сколько ему лет. Но добрая милицейская тетя задавала смешные вопросы. Она удивила его вопросом, как зовут маму. Ну как ее могут звать? Конечно же — мама! А как еще? От расстройства и непонимания взрослых (а делают вид, что все знают!) Андрюша опять разрыдался. Милицейская тетя взяла его на руки, прижала к себе и стала утешать, гладить по головке. Стало мягко и уютно, и Андрюша успокоился. Вдруг открылась дверь, и в комнату стремительно влетела мама, а за ней папа и сестра. «Вот моя мама!» — закричал Андрюша и бросился к ней. На ней было то самое серо-голубое пальто. Нет, он запомнил — «накидка». Потом она говорила ему: «Как ты только мог подумать, что мы забыли про тебя и ушли? Мы не можем никогда тебя бросить, ведь ты наш сын и у тебя есть сестра. Мы все так любим тебя». Тогда он ей сказал: «А ты всегда пугала меня, что позовешь милиционера, если буду плохо себя вести. А милицейская тетя оказалась совсем не злой, а очень доброй.

У нее такое большое сердце. Она прижимала меня к нему. Оно очень мягкое и мне понравилось. Я не понял, почему ты так улыбаешься? Не веришь? Нет, я правду говорю». А мама в ответ: «Верю, верю, еще как верю...»

И это нехорошее воспоминание куда-то уплыло. Андрюша начал ковырять песок чьей-то забытой лопаткой. Почему-то страшно противно стало играть одному в песочнице. За нее всегда идут бои между ребятами. Но радости от царствования над песочницей сейчас не было. Вскоре песочница надоела. Андрюша подошел к воротам и выглянул. Однако суровый сторож прикрикнул на него, и Андрюша закрыл дверь рядом с воротами, через которую теперь уже никто не входил. Он побрел обратно к скучной песочнице. Ему снова послышался мамин голос, но он не обратил на него внимания. Просто на всякий случай обернулся... Оказывается, можно взлететь и с разбегу прыгнуть на маму. Она подхватила его и что-то быстро-быстро говорила, целуя его. А он не слышал слов об опоздавшей электричке. Какое это теперь имело значение?

«Как мама, моя мама, этого не понимает?» Ему хотелось, чтобы она просто никуда не уходила. Никогда! Пусть все видят, что у него есть мама. И какая! «Я ее так сильно люблю. И она меня любит. Она знала, что я жду ее, и поэтому здесь. Мама приехала. Пусть все знают!»

...Прошло много лет. Андрюша стал взрослым. У него появились жена, дети. Он был счастлив и удачлив в жизни. Но когда однажды его спросили в шутку: «Можешь определить счастье в двух словах?», он, уже будучи седым, неожиданно для самого себя сказал:

— Счастье? В двух словах? Это когда мама приехала!

И чему-то улыбнулся, почти забытому, далекому, что случается давно. В детстве. У каждого.

## СОНЕТЫ

### СОNET 2

В те дни, когда пророют сорок зим  
Траншей на полях твоей весны,  
Ливреи юности, что так прочны,  
Иstreплет ветер лет, неумолим.  
И если спросят: где твоя краса,  
Сокровище твоих блаженных дней,  
Что скажешь, погрузив в себя глаза?  
Что жгучий стыд пустых похвал лютей?  
Но жизнь свою в потомке воплотя,  
Спокойно скажешь: «Мой оправдан путь.  
Со мной мое прекрасное дитя.  
Мой сын родной, преемником мне будь».

Сын воссоздаст тебя — кто будет молод,  
Затеplit кровь твою, прогонит холод.

### СОNET 5

Минуты, оживляющие взгляд  
Тех глаз, чей свет в глазницах обитает,  
Теперь уже тиранов роль играют,  
Но то же, что всегда, они творят.  
И превратит их непрерывный бег  
Живое лето в зимнюю пустыню,  
Где листьев нет, и сок в деревьях стынет,  
И красоту окутывает снег.  
А солнечного лета дистиллят,  
Как узник, заточенный во флакон,  
Таит в себе цветочный аромат,  
Но то, что был цветком, не помнит он.

И лепестки цветов нам не вернуть.  
Исчезла внешность, но осталась суть.

### СОNET 44

Когда бы мысль была материальна,  
Достичь твоих пределов был бы рад;  
Меня бы не смутило расстояние  
И ранящих не ставило преград.

Казалось бы, отсюда, где стою  
Стопою, у земли на дальнем крае,  
Мысль полетит к тебе, препон не зная.  
Но я не весь из мысли состою.  
И мысль, что зря я в мысль не превращен,  
Что я тебя, ушедшего, теряю,  
Хоть обошел и земли, и моря я,  
В дни передышки с губ срывает стон.

И я у медленных стихий в плену  
Знал тяжесть слез и горя глубину.

### **СОНЕТ 45**

Стихиям очистительным огня  
И воздуха, которым ты сродни,  
И страсть, и думы доверяю я.  
Весть от меня несут тебе они.  
Но отошлю посланников моих —  
И сразу окажусь наедине  
Со смертной тяжестью стихий земных.  
Вот отчего теперь так трудно мне.  
Души не восстановится состав,  
Пока гонцы назад не прилетят,  
Мне о твоём здоровье рассказав.  
Без них меня печали тяготят.

И доброй вести о тебе я рад.  
Но вновь грущу: шлю вестников назад.

### **СОНЕТ 51**

Простим же непослушного коня.  
Есть, право, у него резон лениться:  
Вдаль от твоих краев он нес меня.  
А мне же прочь нет смысла торопиться.  
Прошу за то, что медлит он, устав,  
Что с ним конец как будто бы не скор.  
Потом, крылатый ветер оседлав,  
Его посмею гнать ударом шпор.  
Ничей меня там не догонит конь.  
Страсть, из любви чистойшей создана,  
Помчит меня сквозь мировой огонь.  
Простим же плоть — усталого коня!

Он тянет прочь, а я к тебе стремлюсь.  
С моим конем я скоро распрощусь.



### СОНЕТ 71

Лишь только колокол оповестит  
О том, что я покинул мир и чернь  
Для худших из краев, где правит червь,  
Плачь, но не дольше, чем сей день велит.  
Но если ты читаешь эти строки,  
Не вспоминай писавшей их руки.  
Любя, прошу: ускорь забвенья сроки —  
Мысль обо мне — взрыв горя и тоски.  
И если от стихов поднимешь взгляд,  
Когда меня с землей смешает смерть,  
Пусть губы мое имя не твердят, —  
Позволь твоей любви со мной истлеть.

Не плачь, чтоб не обидели, вина  
Тебя за то, что выбрала меня.

### СОНЕТ 73

Во мне то время года видишь ты,  
Когда почти все листья облетели,  
Дрожат деревья; хоры уж пусты,  
Где так недавно птицы нежно пели.  
И видишь ты во мне то время дня,  
Когда на горизонте гаснет солнце  
И ночь — погибели второе «я» —  
Свет захватить за шагом шаг крадется.  
Ты знаешь: трудно моему огню, —  
А в нем до пепла юность догорала, —  
И смертная постель, где я усну,  
Доест надежду, что его питала.

Все чувствуя, сильнее любишь в горе  
Источник, что должна покинуть вскоре.

### СОНЕТ 74

Когда же смерть проводит под арест,  
Отвергнув поручительства сурово,  
Стихи мои представят интерес,  
Как памятник, который создан словом.  
Земное поглощается землей.  
Ты книги мои вновь перелистала.  
Там много о тебе. Мой дух с тобой —  
То лучшее, что от меня осталось.

А тело, что живет едва дыша,  
Уйдет в последний путь — червям во власть —  
Добычей мародерского ножа.  
Не стоит вспоминать всю эту грязь.

А ценным было то, что неизменно.  
Оно с тобой пребудет непременно.

### **СОНЕТ 76**

Зачем за быстрой модой не слежу,  
Диктующей нам новые приемы?  
Зачем тропую скользкой не хожу  
Я в поисках сравнений незнакомых?  
К чему смирать воображенья ход?  
Мешать Пегасу-кляче — глупый труд.  
Слова расскажут, как меня зовут,  
Где родились, куда их путь ведет.  
Любовь моя, я о тебе пишу,  
Любовь и ты — вот аргументов звенья.  
Слова в одежды новые ряжу  
И трачу истощенное уменье.

Старо и солнце — новый лишь восход.  
Любовь о том, что сказано, поет.

### **СОНЕТ 90**

Ты ненавидеть стал меня? Ну что ж!  
Со злобою судьбы соединишься,  
Согнуть меня презреньем постарайся,  
Разрывом дружбу прежнюю итожь!  
Пока душа не знала униженья,  
Печаль исподтишка подстереги  
И с ветром ночи в хмурый день яви  
Рассвет дождливый — утро отверженья.  
И коль решил расстаться, — не тяни,  
Не жди, пока примчатся роем беды,  
А нанеси удар, чтоб я изведал  
Судьбой завещанные злые дни.

И беды те, что пережил, скорбя,  
Мне не сравнить с потерей тебя.

### **СОНЕТ 107**

Ни страхи, ни пророческие сны,  
Сны мировой души о нашей доле,  
Велеть отдать любовь мне не должны.  
Жизнь наказала штрафом и неволей.

Луны затмение тяжкое прошло,  
Дав повод к шутке авгурам капризным,  
Уверенностью страх укрыл чело,  
Пусть век шумят оливы мирной жизни!  
И в дни добра замолкнет смерть-судья.  
Любовь свежа, и злость его напрасна.  
Смерть истребит толпу племен безгласных.  
В стихах простых живым останусь я.

В стихах моих твой памятник — прочней  
Гербов тиранов и могил вождей.

### СОНЕТ 108

Что прячет мозг и пузырек чернил,  
Чего б не смел доверить я бумаге?  
Я ничего, о юноша, не скрыл.  
С любовью о твоей пою отваге.  
Что нового отмечу я пером?  
«Ты мой, я твой», — скажу ли я без правил?  
Обязан я твердить все об одном,  
С тех пор как имя я твое восславил.  
Так вечная любовь, явившись здесь,  
Не взвешивает грязь веков и раны,  
Не даст морщинам на чело осесть,  
И станут ей пажами ветераны,

Вдруг ощутив в себе любви свет,  
Хоть внешне кажется — ее уж нет.

### СОНЕТ 116

Венчанью чистых праведных сердец  
И чувству их позвольте не мешать.  
Там нет любви, где норовит хитрец  
Отлучки на измены умножать.  
Несокрушимой вехою-скалой  
И яркою звездой в небесах  
Любовь стоит над бездною морской,  
И с нею путь находят паруса.  
Любовь — не шут у Времени, хоть цвет  
И щек, и губ — в кольце того серпа.  
Дни колебаний не сведут на нет  
То, что велела вынести судьба.

А если я ошибкою солгал,  
То нет любви, я не о ней писал!

### СОНЕТ 124

Лишен отца по прихоти бастарда  
Мой честный друг, державою вскормлен.  
У времени он фаворит в отставке,  
Цветок цветов, он к сорнякам причтен.  
Его душе ни случай не указ,  
Ни ласк придворных пышность и почет.  
И рабский бунт его не увлечет,  
Хоть мода к этому толкает нас.  
Он еретик, в своих правах бесстрашен,  
Отмеренных числом коротких дней,  
Против шутов в политике отважен,  
В воде не тонет, не горит в огне.

Шутами времени зову я тех,  
Кто преступленье не сочтет за грех.

### СОНЕТ 131

Тиранка ты, как те, кто, возлюбя  
Свою красу, в жестокости надменны.  
Для сердца, полюбившего тебя,  
По-прежнему ты камень драгоценный.  
Твой облик не внушит любовный стон,  
Мне говорят. Я спорить не берусь.  
Но про себя в другом я убежден  
И в том лишь одному себе клянусь.  
Родит рыданий сотни красота  
Лица другого — не на этой шее.  
И я скажу: «Прекрасна чернота»,  
И я не мог бы рассудить вернее.

Ни в чем ты не черна, но лишь в делах.  
К ним клевета добавит свой размах.

### СОНЕТ 133

Ты сердце привела мое к страданью, —  
Тогда пытай меня лишь одного.  
Меня и друга глубоко израня,  
Ты рабской доле предаешь его.  
И твой надзор мое отъемлет «я»,  
Мое второе «я» ты захватила,  
И им, собой, тобой оставлен я,  
И трижды три страданья ты скрестила.

Замкни меня в стальной груди-темнице, —  
Я сердцем буду друга охранять,  
И за него готов я поручиться,  
Чтоб строгих мер ты не смогла принять,

Которых жаждешь. Я в твоей тюрьме,  
Насильно твой, и это все во мне.

### СОНЕТ 136

Пройдя так близко от твоей души,  
Я с грустью ощутил: она слепа.  
Ей нравится искателей толпа.  
Что я твой друг, душе своей внуши.  
Моя ли воля — клад твоей любви,  
Иль воля многих? Я один среди толп.  
Не повторяй слова тупой молвы,  
Мол, единица среди других — никто.  
Хотя один я должен быть ценим,  
Незнаемым пройду, не потревожу.  
Я ноль, но нравлюсь я глазам твоим,  
Что мне пустяк, тебе приятно все же.

Об имени моем ты рассуди:  
«Я воля». Ты в нем истину найди.

### СОНЕТ 140

Будь мудрой в злобе — не дави презреньем.  
Ведь слово за слово, как ни неволь,  
Презрев сковавшее язык терпенье,  
Найду я способ высказать всю боль.  
Жестокость милосердьем одолей.  
Зовут врачей больные к изголовью,  
О близкой смерти думая своей,  
Хотят услышать вести о здоровье.  
Будь мудрой, а не то сойду с ума.  
В безумье о тебе скажу плохое.  
На мир надвинулась безумья тьма.  
Клеветники подхватят слово злое.

Но даже если сердцу все равно,  
Ты вдаль гляди и поступай умно.

### СОНЕТ 141

Пойми, мой взор, тобой не обольщенный,  
В тебе изъянов тысячу найдет.  
Но сердцу нравится быть увлеченным:  
Взгляд отвергает — сердце нежно льнет.  
Ни слух, что внемлет голосу в волненье,  
Ни вкус, ни запах и ни чувства власть  
Не позваны на праздник ошущенья  
К желанию, готовому упасть.  
Пять чувств-советчиков единогласно  
Стремятся сердце глупое отвлечь.  
Но гордостью мужскою пренебречь  
Оно зовет, чтоб стать рабом несчастным.

Нелепый рыцарь, я ищу пароль  
Для той, что, в грех вводя, приносит боль.

### СОНЕТ 143

Ты посмотри: хозяйка ловит птицу,  
Что вырвалась из клетки невзначай.  
Сынок ее за мамою стремится,  
Зовет, хватает за подола край.  
А мать азарт охоты увлекает:  
Бежать за тем, что мечется, летя.  
Слез мальчика она не замечает —  
Ведь он всего лишь малое дитя.  
Так ты ушла ловить свою надежду,  
А я, дитя, остался позади.  
Но если ты, поймав, ее удержишь,  
С заботой материнскою приди,

Вернись, как мать, и голосу внемли, —  
Ведь я твой Вилл, поэт твоей земли.

### СОНЕТ 153

Спал Купидон в тиши лесной поляны,  
В светильнике оставив огонек.  
Огонь служанка бойкая Дианы  
Забросила в стремительный поток.  
И от огня любви горячей ванной  
В источнике с тех пор кипит вода.  
Лечились люди от болезней странных,  
Надеясь исцелиться навсегда.

А Купидон зажег от женских глаз  
Другое пламя — мне на испытанье.  
Я, опаленный, ринулся тотчас  
Сюда, чтоб сердце вылечить купаньем.

Но лгали ванны — я не исцелен:  
В ее глаза по-прежнему влюблен.

#### **СОНЕТ 154**

Светильник, что сердца воспламеняет,  
Уснув, оставил рядом Купидон.  
Огонь, что на безумства нас толкает  
И чести девичьей несет урон.  
Но вот берет огонь одним движеньем  
Защитница обетов дев и жен,  
И полководец пламенных сражений  
Девической рукой разоружен.  
Гасила пламя чистою водой  
Потока; он сберег любви тепло.  
С тех пор недуги лечат ванной той.  
Но мне купание не помогло.

Вода не даст влюбленному покой:  
Ведь жар сердец она несет с собой.

#### **Перевод Нины САПРЫГИНОЙ**

*Перевод осуществлен по изданиям: Шекспир У. Сонеты. На англ. яз. с параллельным русским текстом. Сост. А. Н. Горбунов. — Коммент А. Аникста. — М.: Радуга, 1984, а также с факсимильного издания Первого Кварто сонетов: The Sonnets, Quarto 1. Shake-Speares Sonnets. Neuer before Imprinted. At London, By G. Eld for T. T. and are to be solde by William Aspley. 1609.*

---

Нина Вадимовна Сапрыгина родилась и живет в Одессе (Украина). Окончила филологический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. Работала ассистентом кафедры русского языка в том же университете. Защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Русский язык» (1993). Сейчас работает доцентом кафедры социальной и прикладной психологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Автор четырех научных монографий и свыше 90 научных публикаций по проблемам семантики текста, психолингвистики и литературоведения. Стаж педагогической работы в университете — более 20 лет. Публиковалась в коллективных сборниках поэзии. С 2009 года углубленно занимается изучением творчества Шекспира. Переводить сонеты Шекспира начала в 2017 году.

Дмитрий ЗИНОВЬЕВ

# СТРАХ И УЖАС ОККУПАЦИИ

## Документы и заявления жителей Павловска и Гатчины

2020 год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С течением времени многие события переосмысливаются, меняют свое значение, помещаются в иной контекст, намеренно искажаются. В связи с этим подлинные исторические документы и свидетельства очевидцев становятся необходимым источником для объективной оценки прошлого.

Сохраненные документы и память о событиях войны и оккупации не позволяют исказить страницы истории.

Сегодня, в современной жизни трудно себе представить, как жили люди в условиях военного времени, с чем пришлось столкнуться на фронте, в тылу и на оккупированной территории.

Перед войной в Ленинградской области проживало более 3 млн человек, в 1945 году осталось немногим более 500 тыс. Из 72 районов области были оккупированы 51 район полностью и 12 районов частично. Оккупация началась в июле 1941-го и продолжалась до сентября 1944 года.

После захвата населенных пунктов фашистская администрация устанавливала свой оккупационный режим. В первую очередь выявляли лиц еврейской национальности, коммунистов и расстреливали их. У населения отбирали все запасы продуктов питания, ценные вещи, домашний скот, имущество, теплую одежду. Люди массово погибали от голода, холода, болезней. Людей принуждали работать и сотрудничать с оккупационной властью. За отказ выходить на работу — расстрел, за малейшие нарушения режима — расстрел, за подозрения в помощи партизанам или советской власти — расстрел. Расстрелы носили массовый характер и часто производились без повода, только по усмотрению фашистских офицеров и солдат.

После освобождения специально созданные комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников проводили опросы населения, фиксировали сведения, заявления граждан, составляли акты ущерба.

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга хранятся личные заявления граждан, проживавших на оккупированной территории Ленинградской области, о событиях периода оккупации. В одном из фондов Р-9421 «Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся. Ленинград. 1943—1949» собраны 405 дел по каж-

---

Дмитрий Евгеньевич Зиновьев родился в 1960 году в Казахстане, в г. Чимкенте. Окончил Оренбургское музыкальное училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Новый мир», «Арион», «Топос», «Textonly», «Дружба народов», «Северная Авора», «Нева». Автор книги стихотворений «Снимок на память» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.



дому из районов области, в которых хранятся акты об ущербе и убытках, сводные ведомости по учету ущерба, заявления граждан, материалы опроса граждан, материалы по установлению и расследованию злодеяний и другие документы.

Из множества сохранившихся документов для публикации отобрано несколько характерных. Архивные документы и свидетельства жителей г. Павловска и г. Гатчины Ленинградской области показывают реальную картину жизни на оккупированной территории в 1941–1944 годах.

В первой части представлены четыре документа 1944 года — заявления жителей г. Павловска.

Во второй части — акт «О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории города Гатчина и Гатчинского района в период их временной оккупации».

Документы публикуются с сохранением стилистики оригинала, явные опечатки и опiski были исправлены.

### **1. Фонд 9421, опись 1, дело 195, листы 13–14, 17–18, 20, 26**

В районную комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Павловске.

От гражданки Андреевой З. А.,  
проживающей по улице Первого мая, дом 7-а

#### Заявление

За время немецкой оккупации в городе Павловске был учрежден немецкими фашистами зверский режим. Царил тяжелый и непосильный труд. Люди буквально как мухи падали от истощения. Несколькими десятками ежедневно умирали от голода. Не по-человечески зверски немцы обращались с евреями. Долгое время пытали и мучали семью Шварцман (Иосиф Давидович — 1896 г. р., Рахиль Иосифовна — 1898 г. р., Рима Иосифовна — 1925 г. р., Изя Иосифович — 1928 г. р.), ни в чем неповинные советские люди были расстреляны лишь только потому, что они по национальности евреи. Мне также достоверно известно, что расстрелу подверглись Колосницкий Григорий Федорович — 1900 г. р. и Антонов Федор Антонович — 1914 г. р., за то, что якобы последние имели связь с партизанами. Расстреляна также гр-ка Пушкина София — 1908 г. р., ранее работавшая в должности машинистки в Павловском Горисполкоме. Зверское отношение немцев было с нашими советскими детьми. Только лишь за то, что 14-летняя Галина Мезнова — бывшая соседка по дому, уклонилась от предложения немецкого солдата, стоя на коленях, почистить ему сапоги, была подвержена порке, а впоследствии расстреляна на глазах матери Мезновой Раисы. Вслед же за дочерью немецкие изверги расстреляли и ее мать Мезнову Раису. В городе Павловске царил страх, ужас. Люди прятались по углам. Дети же боялись вовсе показываться на улицах. Все, что известно мне из гитлеровских злодеяний.

*Подпись.*

Подлинность учиненной подписи Андреевой удостоверяю:

Уполномоченная комиссии по расследованию. *Подпись.*

[1944]

От гражданки Зильберман Ольги Наумовны,  
проживающей — город Павловск, ул. Марата 27

#### Заявление

Хочу сообщить в комиссию по расследованию о гитлеровских издевательствах над мирными гражданами во время оккупации ими города Павловска. Первой жертвой издевательства являлись евреи. Как только немецкими бандитами был оккупирован наш город, было предложено немедленно всем евреям явиться на регистрацию для получения специальных знаков различия в виде шестиконечной звезды, которую тут же пришивали к спине и на груди для того, чтобы еще поодаль спереди и позади видно было, что это еврей. Издевались всячески и впоследствии расстреливали. Мне известно, что подобной страшной участи подверглись наши соседи по улице Слуцкой — Самодумские, Самодумская Мария Исаковна, 1891 г. рожд., Самодумский Моисей 1889 г. рожд., Лифшиц Нюся 1925 г., проживавшая в нашем же дворе и Давыдов Соломон Львович 1899 г.

Издевались немецкие изверги немало над русскими учителями. За малейшие подозрения в связи с партизанами расстрел следовал на месте. Так, например, совершенно ни за что были расстреляны Романов Федор Васильевич 1919 г. р., и Калашников Даниил Осипович 1885 г. р. Выходить на улицу после указанного времени строго запрещалось. Так гр-н Орлов и Селезнева Мария оказались также жертвами гитлеровского палаческого режима и убиты за нарушение правил, установленных гитлеровскими бандитами. Все, что мне известно по злодеяниям этих бандитов. Мне также известно, что Троицкий Николай Федорович умер от побоев.

*Подпись: Зильберман Ольга.*

Подлинность učinенной подписи Зильберман удостоверяю:

Уполномоченная комиссии по расследованию. *Подпись.*

[1944]

От жительницы города Павловска гр-ки Катенковой А. В.,  
1912 г. р., работающей в качестве инспектора ГорОНО

#### Заявление

Мне известны следующие факты: немецкие власти с первых же дней своего хозяйничанья стали проводить мероприятия по созданию голода в городе Павловске. Все оставшееся на складах продовольствие немцами изъято, а у тех граждан, которые имели кое-какие запасы продовольствия, последние были реквизированы. Имеющиеся у жителей посевы овощей картофеля были сняты немецкими солдатами. Выход граждан на поля и в окружающие села и деревни [...] воспрещен. Въезд в город крестьян с продуктами также [...] запрещался немцами.

В силу всего этого зимой 1941—1942 года создалось в городе такое [положение], что все жители города голодали, и от голода умирали десятками, сотнями человек в день. Трупы умерших иногда валялись по городу, их не подбирали и долго не хоронили. Были такие семьи, которые на почве голода умирали полностью. В доме № 10 по Крас-

ногвардейской ул. из оставшихся 14 жителей, не успевших эвакуироваться, на почве голода умерло 9 человек.

При регистрации в октябре было 13 000 т. населения. В ноябре месяце 1941 г. немецкие власти проводили повторную регистрацию всех жителей города. В результате чего в местной печати заявлено о том, что в городе насчитывается 11 000 т. населения. В апреле 1942 г. была проведена уже четвертая регистрация жителей, после которой немцами было объявлено о том, что жителей в городе насчитывалось 5 тыс. человек. Таким образом за период с ноября 1941 г. по апрель 1942 г. число населения уменьшилось на 6 тысяч человек. Из всего количества бывшего населения в городе [...] не успевшего эвакуироваться, я считаю, что  $\frac{1}{3}$  населения [умерло] исключительно от голода и других видов уничтожения немцами мирных граждан города. Голод же среди населения немцами был вызван преднамеренно, т. к. никаких пайков, никаких продуктов немцы гр-м не выдавали, население вследствие этого постепенно вымирало.

10/Х-1944 г. Инспектор ГорОНО — Катенкова.

Копия верна:

Председатель Исполкома Павловского Горсовета

*Подпись*

От жителя города Павловска  
Козлова Алексея Михайловича,  
года рождения 1912,  
работающего в Институте Земного Магнетизма

#### Заявление

Мне известны следующие факты: в октябре 1941 г. лично я попал в лагерь, т. к. [...] октября был издан немцами приказ о том, что если только обрежут провода, то идут 10 человек под расстрел мирного населения, и если снимут часового, то тоже самое. С 5-го на 6-е был снят часовой и перерезали провода.

6 октября 1941 года полиция пошла по домам и брали первого попавшего, в этот день было набрано примерно 70 человек. Из них 20 человек расстреляли, из которых я лично знаю: Никифоров Василий Ефимович — 1890 г. рождения, Короушкин Иван Федорович — 1905 г. рождения, Кольдюшев Федор Семенович — 1895 г.

7 октября нас привели в парк к братским могилам и дали нам лопаты и погнали нас зарывать ямы, 4—5 ям мы зарыли, не знали кого, но случайно я зашел с другой стороны, откуда был вход в траншею, и там я увидел убитого человека в хорошем пальто и в желтых ботинках. Мы подошли к следующим ямам, тут стояла береза, а в березу было воткнуто окровавленное шило длиной сантиметров 15, очевидно этим шилом кололи наших людей. Во всех ямах, по-моему, и по мнению товарищей были только расстрелянные трупы людей мирного населения.

10/Х-1944 г., к сему подписался — Козлов А.

Копия верна:

Председатель Исполкома Павловского Горсовета

*Подпись*

**2. Фонд 9421, описание 1, дело 398, листы 1–11**

АКТ

О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников  
на территории города Гатчина и Гатчинского района  
в период их временной оккупации

Специальная комиссия, в составе:

председателя Гатчинской районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков секретаря РК ВКП/б/ Гатчинского района — Беляева Сергея Макаровича, секретаря ГК ВКП/б/ города Гатчина — Зубова Андрея Макаровича, председателя Исполкома Райсовета Депутатов Трудящихся — Гусева Михаила Андриановича, председателя Исполкома Горсовета Депутатов Трудящихся — Игнатьева Дмитрия Анисимовича, секретаря Горкома ВЛКСМ — Лобажкиной Зои Васильевны, Протоиерея — священника Гатчинского собора — Забелина Федора Федоровича, врача гатчинской больницы — Дашенко Анны Михайловны, заведующей Райздравотделом Гатчинского р-на Смышляевой Нины Иосифовны, учительницы гатчинской средней школы Смирновой Елизаветы Федоровны, агронома Гатчинского района — Копытова Луки Лукича и инженера города Гатчина — Матвеева Александра Савича произвели расследование фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории города Гатчина и Гатчинского района.

Приводимое ниже заключение комиссии основано на показаниях и заявлениях жителей города и района, актах о зверствах и разрушениях, документах немецких властей, протоколах медицинской экспертизы и других документах.

I

До оккупации немецко-фашистскими захватчиками город Гатчина и Гатчинский район являлись одними из культурных, благоустроенных городов и районов Ленинградской области и излюбленными местами отдыха Ленинградцев.

За период своего хозяйничанья в городе и в районе с сентября месяца 1941 г. по январь месяц 1944 г. немецко-фашистские захватчики все разрушали и превращали в груды развалин, уничтожали общественное богатство колхозов, организаций, государственных предприятий, учреждений, а также имущество частных граждан.

Немецко-фашистские захватчики разрушили, разграбили и увезли в Германию дорогостоящее оборудование 34-х промышленных предприятий города и района, «Граммфонной фабрики», завода «Цветметштамп», «Завода им. Рошаля», «Литейно-металлического завода», «Лесопильного завода», «Зонтичной фабрики», «Стекольного завода «Дружная Горка», оборудование и механизмы торфо-предприятия. Вывозка оборудования производилась в период оккупации, а при отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали и сожгли промышленные предприятия, выделив для этой цели специальные команды факельщиков, житель города Гатчина — Галанцев был очевидцем работы этих команд. Этими командами факельщиков было взорвано, сожжено и разрушено коммунальное хозяйство города: электростанция и электросеть, водопровод и канализация, баня, прачечная, горобоз, хлебозавод и другие предприятия, лишив таким образом население города хлеба, воды и освещения. В районе немецко-фашистскими командами факельщиков сожжено и разрушено колхозное хозяйство, ими уничтожено 1330 хозяйственных помещений колхозов и промышленных предприятий, 366 скотных дворов, 929 сараев, амбаров и кладовых, 465 гумин и риг, 46 колхозных кузниц, 43 по-

жарных депо, оккупанты уничтожили большую часть сельскохозяйственного инвентаря и машин колхозов, 3 МТС полностью уничтожены со всем оборудованием и тракторами, свыше 1500 конных плугов, 622 бороны зиг-заг, 1066 пружинных борон, 215 сенокосилок, 93 сеялки, 137 жнеек, 167 конных граблей, 266 молотилок, 212 сортировок, 116 веялок, 149 конных приводов к молотилкам, льномяльным машинам и другим агрегатам, 1330 телег, свыше 1500 саней, 15 тысяч парниковых рам и другой сельхозинвентарь.

Немецко-фашистские захватчики при отступлении сожгли и уничтожили полностью сооружение и путевое хозяйство железнодорожных станций, ими полностью уничтожены: Варшавский, Балтийский, Сиверский, Елизаветинский и другие вокзалы. Два железнодорожных депо и разрушено большое количество километров железнодорожных путей и железнодорожных линий, лишив этим самым население города и района средств передвижения.

Немецко-фашистские захватчики за период оккупации разграбили имущество мирных жителей и вывезли его в Германию, а также при отступлении сожгли и разрушили 1763 дома жилой площадью до 194 тысяч квадратных метров, в результате этих злодеяний десятки тысяч жителей города Гатчина и района лишились своего имущества, приобретенного честным трудом и остались без крова.

Гитлеровские грабители отобрали весь общественный скот колхозов, в том числе свыше 2500 коров и молодняка крупного рогатого скота, 1227 голов свиней, 963 овцематки, свыше 1500 лошадей, 10595 голов птицы и 512 ульев пчело-семей.

У колхозников 15-ти сельсоветов немцами изъято в 1941 году 2027 тонн зерна, 6625 тонн картофеля, 5512 тонн овощей, 5575 тонн клевера, 4606 тонн лугового сена. Уничтожено посевов зерновых 4975 га, картофеля 1662 га, овощей 1085 га и свыше 700 га клевера.

Фашистские злодеи вырубали все фруктовые сады колхозов, совхозов и домов отдыха площадью 41,3 га, уничтожили питомники и ягодники на площади 6,05 га.

## II

Немецко-фашистские захватчики за период оккупации систематически уничтожали в городе и районе школы, высшие учебные заведения, дворцы, музеи, библиотеки, клубы, театры, детские сады, кинотеатры, красные уголки, больницы и амбулатории, а при отступлении разрушили, взорвали и сожгли: школы — 25, высших учебных заведений — 2, дворец-музей, библиотек — 4, клубов и красных уголков — 31, театров — 2, медучреждений — 17, детсадов и домов — 5, кинотеатров — 3, дом культуры — 1, а имущество — часть разграбили и увезли в Германию, часть уничтожили. Так ими уничтожена ценнейшая библиотека ПАВЛА I, она гитлеровцами выброшена в прилегающий ко дворцу ров, очевидцем чего является житель города Гатчина — Тумачев Осип. Мраморные ценные скульптуры уничтожены, железная ограда с дворового парка снята, ценные художественные вещи сожжены, снят и увезен в Германию художественный паркет, а сам дворец при отступлении сожжен. Старинные архитектурные дома, расположенные в дворцовом парке, разобраны на дрова и сожжены, также взорваны в парке архитектурные мосты. Варварским путем уничтожались древесные насаждения города и района, в городском дворцовом парке вырублены на дрова тысячи дорогостоящих деревьев, в районе на площади 3100 га вырублен лес, в том числе лучшие заповедники, предназначенные для отдыха трудящихся города Ленинграда.

## III

Немецко-фашистские захватчики с первых же дней захвата г. Гатчина и Гатчинского района установили зверский режим для населения, лишив население всех прав и отняв

у него облик человеческой жизни, они с презрением относились к населению и в частных домах, где проживали немецкие офицеры и солдаты, вывешивали надписи «вход русским воспрещен», в местах общественного пользования везде висели надписи «вход только для немцев», населению запрещено было пользоваться электричеством.

Гитлеровцы использовали население вместо лошадей, запрягали в телегу и возили лес, кирпич, воду и т. п., а гитлеровцы с кнутами садились в телегу и избивали еле движущихся, истощенных голодом людей. Очевидцы — Назарова Анна, Лисенкова Анастасия, Демченко Ирина и другие рассказывают: «Работать заставляли поголовно всех с 6 часов утра до 6 ч. вечера, а иногда и дольше, людей запрягали вместо лошадей и на них возили кирпич, лес, воду и т. д., а немец вставал на телегу и кнутом хлестал еле движущихся от голода людей».

За малейшее нарушение какого-то порядка, неизвестного населению, избивали палками, пороли плетью, подвергали нечеловеческим пыткам, вешали, расстреливали, сжигали и истребляли население планомерным проведением голода. Свидетельскими показаниями, путем опросов жителей, материалами расследования и другими имеющимися материалами установлено, что немецко-фашистские палачи расстреляли, повесили, истребили и заживо сожгли свыше сорока тысяч /40 000/ мирных граждан города и района и военнопленных.

Немецко-фашистские палачи уничтожали советских людей так: в городе повесили 1325 человек на базарной площади — по проспекту 25 октября и в других местах города ежедневно вешали по несколько человек с позорными вывесками «русские жулики повешены за воровство», «за плохое отношение к частям немецкой армии», очевидцы — Галанцер А. П., Никифоров Артемий, Дударенко Григорий рассказывают: «Повешенные висели на виселицах по несколько дней, вешали по Красной улице, в парке у дворца. На воротах рынка вешали по 4—5 человек и не снимали трупы дней по 5-ти, эти ужасы повторялись большинство раз. Кровавожадными немцами был повешен Котт Ульян Иосифович, подозреваемый якобы в каком-то поджоге».

Вместе с Котт Ульяном были повешены за подозрение в поджоге Котовы отец 65 лет и сын 26 лет.

Расстреляли 860 человек мирных граждан, так, неизвестно за что, были расстреляны Андреев Николай Сергеевич — 19 лет, Иванов Игорь Васильевич, Ольтевский Иван Петрович, Полякова Евдокия Моисеевна, Качанова Пелагея Кузьминична, Мохова Елизавета Сергеевна, Сеганцов Иван, Куприянов Евгений, Соколов Борис и другие, эти расстрелы подтверждают очевидцы: Андреева Елена, Волотович, Гошина Антонина и другие. Очевидец расстрела Филимонова Прасковья рассказала: «За отказ нести немецкие вещи, немцы расстреляли Дмитриева Егора, 60 лет».

Очевидец — Крицкий Василий рассказал: «Кузнецов Аркадий Павлович и Кузнецова Евдокия расстреляны за то, что якобы они являются еврейского происхождения».

Немецко-фашистские захватчики не остановились на этом, они сожгли 60 человек мирных граждан.

Планомерным истощением, избиением и отравлением истреблено 3071 человек мирных граждан города, так немецко-фашистские захватчики отравили Кусову Марию Георгиевну. В гражданском лагере, расположенном в торф. поселке, содержалось до 250 человек, в лагере ежедневно умирало до 10 человек, в этот лагерь заключались граждане за то, что они копали на своем огороде картофель, за неподчинение немцам и т. д., о злодеяниях в этом лагере Грибанов Илья, Потакина Матрена, Рунева Варвара, Гашина Антонина, Степанова Татьяна, Попов и другие рассказали: «В лагере содержались дети от 10 лет, престарелые старики и женщины, все заключенные носили на груди клеймо «К», лагерь содержался в антисанитарном состоянии, а заключенные полу-

чали голодные пайки, их запрягали в телеги, как лошадей, избивали плетьюми, обливали холодной водой, расстреливали, живых, избитых людей бросали на растерзание собакам, отдельных заключенных заставляли для себя рыть ямы и тут же их расстреливали, также расстреливали за принятие от родных продуктовых и других передач».

Немецко-фашистские мерзавцы глумились над населением, устраивали публичные порки женщин плетьюми, на глазах малолетних детей насиловали матерей, грабили от населения скот и имущество, избивали резиновыми палками, специальными плетьюми и применяли другие мучительные пытки, все это подтверждается показаниями и рассказами очевидцев: Егоровой Нины, Николаевой Евдокии, Сорокиной Анны, Грязновой, Степанова Романа, Стачеевой Н. и другими.

Очевидцы Каретников Андрей, Савельева Валентина, Лисов Игорь и Трунина Александра рассказали о страшных злодеяниях, проводимых фашистами над советскими детьми: «фашисты стреляли в малолетних детей, так фашист ради потехи из револьвера ранил в голову 5-тилетнего мальчика Колю Бондарчик. В группу детей 8 человек фашист стрелял из автомата. Фашист бросил в люк со смолой (летом 1943 года) шестилетнего мальчика Колю Симашова, который был спасен другими лицами».

Особенно страшные злодеяния по уничтожению советских людей гитлеровцы совершили в селе Рождествено и в больнице имени «Кашенко» Никольского сельсовета, как установлено следствием и судебно-медицинской экспертизой в больнице им. Кашенко в ноябре 1941 года было умерщвлено больных советских граждан около 900 человек путем подкожного введения укола каждому больному отравляющего препарата. Трупы умерщвленных отвозились за 3—4 километра от больницы и сваливались в противотанковый ров, а летом 1942 года они были зарыты.

Осенью 1943 г. пытаюсь скрыть следы преступления, немецкие захватчики трупы выкопали и сожгли, эту работу немцы заставили делать советских военнопленных в количестве 20 человек, а после их сожгли заживо в сарае в деревне Ручьи, что подтверждают местные жители Максимов З. В., Степанов Г. С. и Никитин С. Ф., который показал: «В сентябре—октябре 1943 года немецко-фашистские захватчики разрыли могилы, где были зарыты трупы отравленных больных и сожгли их. Для сжигания трупов немцы пригнали около 20-ти пленных красноармейцев.

Под усиленной охраной немецких солдат, пленные красноармейцы жгли трупы недели две. После окончания сожжения трупов, однажды утром немцы привели группу красноармейцев и заперли в сарае, принадлежащем жительнице деревни Ручьи — Соколовой Е. А., я тогда работал на гумне и видел, как немцы зажгли сарай с находившимися там пленными красноармейцами. Горевший сарай немцы охраняли до полного окончания пожара».

В селе Рождествено немецко-фашистские захватчики проводили массовое истребление советских граждан и военнопленных в лагере, где содержалось гражданское население и военнопленные, обнаружено 2 могилы и в этих могилах захоронено до 7 тысяч человек.

В лагере был установлен невыносимый режим, большая скученность, вшивость, голод, людоедство, расстрелы, вешение, так очевидцы — местный фельдшер Цедик Мария Александровна, колхозницы Семенова Н. Г., Сюртукова Л. М., Синицина М. М., учительница Федорова А. Ф. и другие показали: «23 сентября 1941 г. в лагерь пригнали около 5 тысяч мужчин гражданского населения из Павловска, Пушкина и Стрельны, обвинялись якобы за связь с партизанами, через неделю пригнали партию военнопленных красноармейцев и командиров около 8000 чел. В лагере была большая скученность, на 1 кв. метр приходилось 5 человек. Питание было в день 100 гр. хлеба с примесью хвои и баланда 1 раз, вследствие этого голода были случаи людоедства, что констатирова-

ло само немецкое командование и в лагере за это было повешено 7 человек пленных. Среди заключенных развилась огромная вшивость, проходя мимо лагеря можно было видеть заключенных, у которых сквозь обрывки одежды сквозило, покрытое струпьями от расчесов и укусов вшей, тело. В лагере был случай сыпного тифа, но больной не был изолирован и в результате началось повальное заболевание сыпным тифом, кончающееся в большинстве случаев — смертностью».

От лагеря к кладбищу ежедневно с утра до вечера возили тремя повозками трупы, причем отмечались случаи, когда в повозке были еще живые люди, замечалось движение конечностей, имел место случай, когда один военнопленный, вытасненный из рва, куда он был свален вместе с умершими, был отправлен в изолятор и впоследствии выздоровел. По регистрационному журналу, который вел врач — Самоваров, умерших только от сыпного тифа значится 4160 человек, от голода и истощения погибло 4000 человек, из общего числа погибших, гражданских пленных доходит до 3600 человек.

В лагере проходили расстрелы военнопленных, однажды утром колхозники видели, как из лагеря вывели шесть красноармейцев и одну женщину, подвели ко рву, заставили раздеться догола и расстреляли, женщина пыталась бежать, но была при побеге убита.

Колхозники пытались помочь заключенным продуктами питания, но немецкая охрана открывала стрельбу, так была убита портниха — Андреева П., за связь с пленными расстреляны жители села Рождествено: Синицын Николай — 15 лет, ученик 7 класса Рождественской школы, Козлацкий Владимир — 15 лет, школьник, Шабанов Николай — колхозник.

О режиме в лагере граждане Ануфриев К. Е. и Самоваров С. М. показали: «Я лично пробыл в Рождественском лагере больше месяца, единственной пищей для заключенных были листья мерзлой капусты, ежедневно от голода, холода и побоев умирали и умерших тут же закапывали в траншеи на территории лагеря, кто пробовал протестовать, того привязывали проволокой к столбам в приподнятом от земли навесном положении и так оставляли висеть от 6 до 8 часов». «Больные пленные Рождественского лагеря осенью 1941 г. стали собирать в помойках объедки пищи, выбрасываемые туда солдатами, охраняющими лагерь, заметив это, немцы расстреляли всех голодных людей, которые находились на помойке».

Таким образом только в Рождественском лагере немецко-фашистские злодеи уничтожили свыше 8500 человек военнопленных и гражданского населения.

В расположенных в городе Гатчина лагерях военнопленных «ДУЛАГ № 154» (лагерь добровольно умирающих) повешено военнопленных 200 человек, расстреляно 650 человек, сожжено 1500 человек, истреблено путем истощения и пыток 17 210 человек, а всего 19 560 человек.

Лагерь военнопленных, расположенный на гатчинском аэродроме был прозван пленными «Лагерем смерти», в этом лагере уничтожали военнопленных путем внутреннего вливания в организм жидкости, после чего следовала мучительная смерть, здесь же расстреливали больных и раненых красноармейцев, разбрасывали заминированные буханки хлеба, подбирая которые пленные гибли от мин, в этом же лагере зимой 1943 г. в 6 утра 10 пленных были догола раздеты и расстреляны, очевидец Чижов и Сменакова показали: «Летом 1942 г. ради забавы немецко-фашистские прохвосты разбрасывали минированные буханки хлеба, в результате чего не один военнопленный погиб и несколько человек были ранены и доставлены в лазарет военнопленных для лечения».

Свидетель Кривицкий Василий показал: «На территории граммофонной фабрики города Гатчина был расположен лагерь военнопленных, где находилось боле 200 человек, в том числе много раненых и больных. В декабре месяце 1941 г. немцы подожг-



ли барак с находящимися там военнопленными, военнопленных, которые выскакивали во время пожара из окон, немцы расстреливали из автоматов, все военнопленные, находящиеся в этом бараке, погибли от огня и пуль».

В лагере, расположенном в бывших арт[иллерийских] Казармах, за 1941–1942 гг. было умерщвлено путем голода и расстреляно 13 000 пленных, что подтверждают очевидцы — Михайлов и Николаев.

В столовой граммофонной фабрики находились 1000 человек раненых пленных и гражданского населения, фашисты закрыли столовую, облили керосином и подожгли. Вся тысяча человек сгорела, очевидцы этого — жители города Гатчина Михайлов и Николаев показали: «Зимой 1942 г. немцы свезли около 1000 человек раненых русских военнопленных мужчин в столовую фабрики «Граммфон», закрыли все двери, здание столовой облили керосином и сожгли, из здания столовой долго доносились крики и стоны горящих».

В 1942 г. в Гатчинском парке фашисты расстреляли 15 человек пленных, о чем подтверждает свидетель Васютович Д. С., он показал: «В 1942 году, примерно в первых числах сентября месяца в Гатчинском парке немцы расстреляли группу жителей в 15 человек за то, что они были противниками немецкой власти».

Лагерь военнопленных, расположенный на улице Хохлова, где находилось 170 человек, 24 ноября 1941 г. был сожжен вместе с пленными, свидетели этого злодеяния Бардюкова Вера, Алексеева Любовь, Ердышева Нина, Алексеева А. и другие показали: «Вечером 24 ноября 1941 г. часов в 11 вечера фашисты закрыли наш барак на засов, мы не знали в чем дело, для чего они это делают, а через некоторое время мы увидели огромное пламя, по нашему бараку прошел шепот: «горит барак с военнопленными красноармейцами», несколько минут было молчание, потом люди в нашем бараке закричали, стали бить в двери, женщины и дети плакали, но все было напрасно, наутро все увидели, как на месте, где еще вчера были люди, сегодня остались остатки пепелища».

Очевидцы Смекалова и Чижас показали: «Во всех лагерях царил антисанитария и голод, в результате чего появилась эпидемия сыпного тифа, отчего ежедневно в период эпидемии в лагере военнопленных умирало 150 человек, фашисты путем пыток истребляли военнопленных и применяли методы хождения раненых пленных группами от 100 до 200 человек по другим лагерям, расположенным в Гатчинском районе, не давали им пищи, а после возвращения в прежний лагерь, они погибали от истощения. Фашисты устраивали так называемую «карусель», т. е. пленных выстраивали в круг и заставляли их ходить по кругу в одном направлении при морозе в 15–20 градусов. Ходили непрерывно по 6-8 часов. Слабые падали, большинство [из н]их умирало, а кто выдерживал, того отправляли неизвестно куда».

Кроме этого немецко-фашистские захватчики летом 1942 г. провели негласную регистрацию населения района, с целью выявления лиц, имеющих родственников бойцов и командиров Красной Армии, а после этого проводили массовые террористические акты на колхозниках и рабочих, у которых родственники были в рядах Красной Армии. Так в селе Никольское зарезаны в своей квартире Владимир Васютин и Анна Мельцова, убит в своем доме во время сна Петр Турашев, у которого сын и две дочери служат в Красной Армии. В деревне Луги Пикенецкого сельсовета больной Захаров В. Д. расстрелян в постели, а его жена Захарова Т. А. сожжена в собственном доме. В этой же деревне Луги были сожжены немцами — одна девочка, два старика и две женщины — родственники воинов Красной Армии.

В деревне Сорочкино Ящерского сельсовета были расстреляны Иванов Николай Георгиевич, 54-х лет, Чугков Георгий Иванович. В деревне Покровка того же сельсовета расстреляны Кирилова и ее 5-ти летняя дочь.

В деревне Даймище Даймищенского сельсовета обнаружены изуродованные трупы колхозников, среди них: Баранов Алексей — 70 лет, Николаев Иван — 75 лет, Куприянов Георгий — 12 лет, Федорова Пелагея — 60 лет, Федорова Евдокия — 50 лет, Демешина Екатерина — 45 лет, Антонова Мария — 75 лет, Антонова Ольга — 50 лет, Крестинина Евдокия — 75 лет и Дарьин Петр — 60 лет.

По Воскресенскому сельсовету, немцы убили 17 колхозников и колхозниц, сыны и дочери которых находятся в Красной Армии. В Орлинском сельсовете расстреляно 13 колхозников, в Ящерском — 14.

#### IV

Фашисты угнали в немецкое рабство 9000 мирных граждан /детей, мужчин, женщин/ города Гатчина. Угон в рабство производился под силой оружия, а имущество и скот отбирались, так 25 октября 1943 г. было отобрано 350 русских девушек и отправлены в немецкое рабство.

Очевидцы отправки в немецкое рабство — Сорокина Анна, Грязнова Прасковья и Белякова Наталья показали: «Немцы под предлогом трудовой повинности мобилизовали русских девушек и с биржей труда 25/X-43 г. отправили в Тайцы и Нарву, их было 350 человек, их послали на тяжелую физическую работу, очень плохо кормили, а при отступлении угнали в немецкое рабство и в неволю».

Большинство здоровых и сильных людей из Гатчинского района немцы насильственно, под силой оружия угнали в Германию. Так, например, из Колпинского сельсовета в немецкое рабство отправлено 3204 человека, из Никольского сельсовета — 1864 человека, из Ящерского сельсовета — 484 человека, а всего из Гатчинского района угнали в немецкое рабство свыше 16-ти тысяч жителей. Так, кто скрывался — беспощадно карали и расстреливали, например, в октябре месяце 1943 г. в деревне Даймище Даймищенского сельсовета была арестована группа молодежи в количестве 17-ти человек, которые отказались ехать в Германию. Житель деревни Даймище Колосов Н. С. рассказал: «В октябре месяце 1943 г. группа молодежи деревни Даймище, в количестве 17-ти человек, не пожелали ехать в Фашистскую Германию и сбежали в лес, в этой группе были — Букашня П. З., Рассадин В. А., Невский Б. Н., Филатов Б. В., Захаров М. М. и другие, 27/XII— эта молодежь зашла в свою деревню за хлебом, немцы узнали об этом, арестовали юношей и девушек и увезли в Сиверскую, где они и были расстреляны».

В деревне Орлино, Орлинского сельсовета зверски убиты Гранатов Николай с женой и Иванов Николай за отказ поехать в Германию. В деревне Заозерье, этого же сельсовета расстреляны отказавшиеся ехать в немецкое рабство колхозница Федорова с дочерью и четыре подростка.

Жители деревни Даймище Русаловский А. М., Кузнецова М. М., Лазарева К. И. и другие показали: «5 ноября 1943 г. в деревню Заречье прибыл немецкий карательный отряд. Все население немцы согнали за деревню и объявили приготовиться к эвакуации, а молодежи — отправиться в Германию. Большая часть здоровых мужчин и женщин вечером ушла в лес. Наутро немцы согнали оставшееся в деревне население и на их глазах стали поджигать колхозные избы, затем население по направлению к Кикерину и дорогой сильно избивали и только некоторым гражданам по дороге удалось сбежать в лес».

#### V

Комиссия считает, что основными виновниками всех злодеяний являются:

Командующий 18 германской армией — генерал-полковник — Линдеман Георг

Начальник штаба «ДУЛАГ № 154» — майор — Малинеус  
Главный врач «ДУЛАГ № 154» — штабсартцгт — Гоппе Ганс Дитрих  
Начальник 3-го отдела штаба «ДУЛАГ № 154» — хауптман — Крамер  
Следователь 3-го отдела штаба «ДУЛАГ № 154» — лейтенант Вегхорн  
Немецкий военный комендант мест Сиворицы, Никольской обл. хауптман — Хегер  
Немецкий военный комендант Гатчинского района — майор — Шперлинг  
Заместитель коменданта — майор — Пфистер  
Немецкий капитан Вихман  
Комиссар гестапо — Райхе  
Начальник гражданских лагерей торфо-поселка — Имель.

#### КОМИССИЯ

*Подписи:*

*[Беляев, Зубов, Гусев, Игнатьев, Лобажкина, Забелин, Дашенко,  
Смышляева, Смирнова, Копытов, Матвеев]*

[1944]

---

---

Юлиан ФРУМКИН-РЫБАКОВ

## БРОНЯ РОССИИ

С броней надо разговаривать на Вы...

*С. И. Сахин*

*Светлой памяти отца,  
Иосифа Ароновича Фрумкина*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Из детства, выпавшего на годы Великой Отечественной войны, я вынес имена: Данилевского, Падурова, Поликарпова, Попова, Хабакпашева, Завьялова, Максарева, братьев Долбилкиных, Рубинчика. Они были товарищами моего отца по работе, они были металлургами. Помню, как в Кулебаки в 1944-м или 1945 году на завод № 178, где отец работал главным металлургом, приехал Михаил Николаевич Попов. Он был в генеральской форме. В то время Михаил Николаевич был заместителем наркома танковой промышленности.

Вечером он был у нас, и мы с братом не отходили от него ни на шаг. Как положено, стол был накрыт белой крахмальной скатертью, стоял графинчик водки. Бабушка Оля и мама суетились у плиты, которая по случаю торжества шкворчала чем-то вкусным, скорее всего, то были котлеты из мяса, полученного в орсе (отделе рабочего снабжения), а котлеты потому, что в них можно было добавлять хлеб при недостатке мяса.

За хлебом мы вставали в пять утра. Поскольку хлеб давали по одной буханке в руки, бабушка будила нас с братом, и мы шли занимать очередь. В очереди стояли по пять-шесть часов. Бывали дни, когда хлеб вообще не привозили. Привозили же хлеб зимой и летом на лошади. Запомнились розвальни, на которых стоял фургон с надписью «Хлеб». Хлеб привозил дядя Сережа. От фургона несло живым хлебным духом. Продавщицы разгружали лотки, от которых поднимался пар, и только после этого открывали магазин, поскольку других продуктов в магазине не было.

Грузы перевозили гужевым транспортом. На заводе была конюшня, машин было мало. Легендарная полуторка с газогенераторными колонками, стоящими, как оловянные солдатики, по обеим сторонам кабины, неутомимо колесила по городку. Было несколько машин ЗИС и один американец — «студебеккер».

Впрочем, тема этих заметок не детство, а *нечто*, что открывается много позже... Тема этих заметок, вероятно, мужество и порядочность, которой обладали отец и его това-

---

Юлиан Фрумкин-Рыбаков по образованию инженер-металлург. Ветеран войск особого риска. В 1961–1964 годах проходил военную службу на Первом ядерном полигоне Новая Земля. Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «День и ночь», «Слово/Word», «Крещатик», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Дети Ра», «Футурум Арт», «Времена» (США), в различных антологиях и сборниках. Автор пяти книг стихов и книги прозы «Летят перелетные птицы — Минувшее, век XX». Лауреат премии журналов «Зинзивер», «Футурум Арт». «Зарубежные записки». Живет в Санкт-Петербурге.

риши. Они встретились в начале тридцатых годов на Ижорском заводе, куда пришли работать в качестве молодых специалистов.

Отец мой, Иосиф Аронович Фрумкин, родился в городе Стародубе Брянской области. В семейном архиве сохранился весьма любопытный документ:

СССР УПРАВЛЕНИЕ СТАРОДУБСКОЙ  
Уездно-Городской Сов. Раб.-Крестьянск. МИЛИЦИИ  
Апр. 13 дня 1925г. № 5780  
Справка

Выдана настоящая справка Управлением Уездно — Городской милиции г. Стародуба Иосифу Ароновичу Фрумкину в том, что по метрической книге о родившихся евреях за тысяча девятьсот восьмой год / 1908/ 28 июля значится записанный под № 80 муж. Иосиф. Родители его Арон Файвисов Янкелев и Хаз Софа Хаяколева Фрумкины. Что подписью и приложением печати удостоверяется. Герб. сбор на основе параграфа 31 перечн. изъят, а герб. сбор не взыскан ввиду предоставления в учебное заведение. Подпись. Печать.

В 1925 году отец поступил на металлургический факультет Ленинградского политехнического института и окончил его в 1931 году по специальности «Производство стали» с присвоением квалификации «инженер-металлург». Одновременно с окончанием института пришло время призыва на военную службу. Отец был призван на Военно-морской флот и откомандирован в 6-й флотский экипаж в Кронштадт. После полутора недель безделья краснофлотец Иосиф Фрумкин подал рапорт по команде, и его направили для прохождения службы на Кронштадтский судоремонтный завод, но и там не нашлось работы по его специальности, и он был направлен на Ижорский завод, где стал работать в должности мастера в мартеновском цехе.

В это же время на завод пришла большая группа инженеров, выпускников разных вузов страны: Попов, Завьялов, Данилевский, Ходак, Долбилкин. В 1932 году на Ижору пришел работать Семен Израилевич Сахин, один из создателей танковой брони марки «ИЗ», из которой будет сделан лучший танк ВОВ — Т-34.

Семен Израилевич, будучи ведущим специалистом в области производства брони, был командирован в 1941 году в Магнитогорск, именно ему обязана танковая промышленность качественной броней для тяжелых танков КВ.

В Челябинске на базе тракторного завода строился завод № 200, получивший название «Танкоград». Директором завода № 200 и одновременно заместителем наркома танковой промышленности был назначен бывший директор Кировского завода Исаак Моисеевич Зальцман, в 1942—1943 годах нарком танковой промышленности СССР.

С началом войны встала задача организации производства танковой брони на заводах черной металлургии Урала и Сибири. Требовалось усовершенствовать технологию производства брони с наибольшим приближением ее к условиям заводов черной металлургии, где не было кислых мартеновских печей и возможность организации кислото процесса была под сомнением. Кроме того, технология выплавки стали для брони дуплекс-процессом привела бы к значительному снижению производительности мартеновских цехов.

Уже в июле 1941 года по инициативе группы ижорских металлургов М. Н. Попова, А. Ф. Якимовича, Д. Б. Бодягина, И. А. Фрумкина, П. А. Романова, Я. И. Машука и других, в содружестве и при участии ведущих работников НИИ Завьялова С. И. Сахина, Е. Е. Левина, И. Г. Вергазова была разработана новая технология выплавки стали для противоснарядной брони тяжелых танков в основных мартеновских печах.

До этой технологии выплавка брони производилась дуплекс-процессом, то есть сначала броня, точнее, ее «полуфабрикат» выплавлялся в основной мартеновской печи,

а затем, после разливки в ковш, этот металл для придания ему необходимых механических свойств переливался в кислую мартеновскую печь, где шла присадка лигатуры: никеля, ванадия и других ферросплавов. Эта технология кардинально решала задачу производства брони на заводах черной металлургии, где кислых мартеновских печей не было, она позволила обеспечить высококачественной броней нарастающий выпуск тяжелых танков.

Работы эти проводились, когда враг был уже на подступах к Ленинграду. 8 сентября 1941 года, когда замкнулось кольцо блокады, И. А. Фрумкин спецавиарейсом вывез всю техническую документацию по производству танковой брони в основных мартеновских печах из осажденного города. Самолет сопровождали два истребителя.

По мере развития военных действий и необходимости увеличения выпуска танков по решению Государственного Комитета Обороны от 5 октября 1941 года наиболее квалифицированные инженеры и рабочие с Ижорского завода были откомандированы на заводы юга, Урала и Сибири. Инженеры В. И. Долбилкин, В. М. Васюк, Г. И. Михалев; сталевары Н. И. Круглов, И. А. Стригин были направлены на завод «Запорожсталь». Инженеры Г. А. Петров, Т. П. Давыдков, мастер А. М. Любимов — на Нижнетагильский завод, инженеры С. М. Ермицкий, Т. М. Тарасов и сталевар С. Н. Косолапкин — на Кузнецкий металлургический завод.

В предвоенное десятилетие на Ижорском заводе создали новую броню для Военно-морского флота и танкостроения.

Когда началась война, металлурги Ижорского завода были направлены в качестве главных специалистов на все заводы, переданные наркомату танковой промышленности, а также на заводы черной металлургии. На каждом заводе, где варили броню, работали сталевары, мастера, инженеры-металлурги Ижорского завода.

Олег Федорович Данилевский и Иосиф Аронович Фрумкин были направлены в октябре 1941 года на завод № 183 в «Красное Сормово» (г. Горький). Данилевский — на должность главного металлурга, а Фрумкин — на должность начальника мартеновского цеха. Как старые товарищи и сослуживцы, они жили в одной комнате. Скорее всего, они жили на заводе, а спали иногда в комнате. Семья Фрумкина была в эвакуации в г. Краснокамске, а семья Данилевского — в г. Кирове.

В мае 1942 года Олег Федорович Данилевский был арестован органами НКВД и 3 августа 1942 года осужден городским трибуналом г. Горького по статье 58-7 к заключению в ИТЛ на 15 лет с поражением в правах. Его обвинили во вредительстве на том основании, что он подписал карты отклонения на выплавку брони. Кроме того, ему припомнили, что он сын царского генерала. Отец Данилевского, Данилевский Федор Степанович, получил звание генерал-майора на Первой мировой войне, после революции стал красным военспецом и умер от тифа в Баку в 1922 году.

Кроме того, старший брат Олега Федоровича, Сергей Федорович Данилевский, служил военным руководителем в Харьковском авиационном институте.

11 февраля 1938 года начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР Николаев направил пространное спецсообщение на имя Ежова о расследовании вредительства на заводе № 135. Вывод Николаева звучал категорично: «Неустранение своевременно дефектов на самолете Р-10, выявленных испытанием, и необеспечение производства этих самолетов целиком укладывается в те формы вредительства, которые широко практиковались вредителями из ВВС и авиапромышленности, и требует вмешательства руководящих органов».

В апреле 1938 года С. Ф. Д. был арестован органами НКВД. В 1956 году вдова С. Ф. Данилевского получила уведомление, что Данилевский С. Ф. умер в 1942 году (видимо, в лагере) и полностью реабилитирован, что подтверждалось справкой:

Дело по обвинению Данилевского Сергея Федоровича, 1898 г. р., пересмотрено военным трибуналом Киевского военного округа 5 октября 1956 г. Постановление Особой Тройкой УНКВД по Харьковской обл. от 10 апреля 1938 года в отношении Данилевского С. Ф. отменено и дело о нем производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Олег Федорович Данилевский, столетие которого было отмечено конференцией в 2002 году, рано пошел «в люди». В 1913 году, десятилетним мальчиком, он поступает в Польшу, где находился на службе отец, в Варшавское кадетское Суворовское училище. Затем учится в Московском Суворовском училище, в Петербургском кадетском корпусе, а также в Севастополе, где он становится свидетелем гибели линкора «Императрица Мария» и через много лет напишет об этом.

На Ижорский завод Данилевский приходит в 1930 году. Работает над созданием брони нового поколения, организует впервые в СССР производство валков холодного проката, необходимых, в частности, для получения тонкого холоднокатаного листа в автомобильной промышленности.

Иосиф Аронович Фрумкин был первым, кто встал на защиту Данилевского. Он вызвал на завод «Красное Сормово» из Свердловска Анастасию Михайловну Бодиско, инженера-металловеда, работника ЦНИИ-48, первого броневого института страны, где директором был Андрей Сергеевич Завьялов.

Андрей Сергеевич Завьялов вошел в историю науки и техники как талантливый инженер-исследователь, организатор и ученый. В полной мере его характеризует тот факт, что работы по созданию новой противоснарядной танковой брони на Ижорском заводе коллективом молодых инженеров Завьяловым, Поповым, Сахиным, Ходаком, Бравым, Данилевским, Пирским, Орловым, Фрумкиным и многими другими привели к тому, что 17 мая 1936 года вопрос о будущем Ижорского завода рассматривался в Политбюро, а затем был вынесен на заседание Совета труда и обороны под председательством Сталина. Заседание продолжалось шесть часов.

Решению правительства от 17 мая 1936 года «О реконструкции Ижорского завода» предшествовала драматическая коллизия, возникшая между дирекцией завода и молодыми инженерами ЦЛЗ (Центральной лабораторией завода) по вопросу использования задела броневых листов, оставшихся на заводе после сдачи заказа на поставку танковой брони иностранному заказчику. Эти броневые листы не соответствовали техническим условиям заказчика.

Однако когда Ижорский завод получил заказ от Главного артиллерийского управления на поставку брони для отечественных танков, дирекция ИЗ предложила поставить отбракованные броневые листы в качестве кондиционных на том основании, что они формально отвечали требованиям ТУ Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Красной армии.

Доводы инженеров ЦЛЗ о том, что нельзя поставлять эту продукцию отечественным танкостроительным заводам, предоставляя качественную броню иностранному заказчику, а внутри СССР использовать броню с более низкими механическими свойствами, влияющими на снарядопробиваемость брони, были встречены дирекцией ИЗ в штыки.

Конфликт закончился тем, что в «Ленинградской правде» была опубликована статья «Самокритика по-ижорски». Завьялов и Попов были сняты со своих должностей и уволены с завода. ЦЛЗ была расформирована. Завьялов и Попов не смогли устроиться на работу ни на Кировский завод, ни на завод «Большевик».

После вмешательства парткома завода Завьялов и Попов были приглашены Наумом Марковичем Анцеловичем, уполномоченным Комиссии советского контроля по

Ленинграду и Ленинградской области. Анцелович вызывал их несколько раз, подробно расспрашивая о деталях конфликта с инженерной точки зрения. Беседа продолжалась около трех часов.

После этого в середине апреля Завьялова и Попова пригласил к себе А. А. Жданов. В конце беседы Жданов сказал, что секретарь райкома партии Емельянов сообщил ему, что Завьялов и Попов называют наши танки «ходячими гробиками», правда ли это, и почему они называют так наши танки, которые, по мнению военных, хорошие, и если называли, то почему.

Завьялов и Попов сказали, что наши танки имеют хорошую подвижность и вооружение, но сами танки легко будут выведены из строя. И рассказали о проведенных ими опытных снарядных испытаниях танковой брони самых больших толщин — 15 и 20 миллиметров, применяемых для основного бронирования наших танков.

Жданов сказал, что решение ряда поднятых ими вопросов, особенно о поражаемости наших танков, выходит за пределы компетенции Ленинградского обкома и горкома партии и он будет выносить эти вопросы в правительство. На вопрос Жданова, где они сейчас работают, Завьялов и Попов сообщили, что в настоящее время безработные.

Жданов позвонил в их присутствии исполняющему обязанности директора Института металлов А. В Беркашвили и дал указание выплачивать Завьялову и Попову зарплату с момента увольнения с ИЗ, сказав, что институту будет компенсирована сумма затрат на зарплату.

На заседании Совета труда и обороны под председательством Сталина 17 мая 1936 года после военных, которые доложили, что у них нет вопросов к принятым на вооружение Красной армией танкам, было предоставлено слово Завьялову и Попову. Принципиальную позицию Завьялова и Попова поддержали Орджоникидзе и Сталин. Совет труда и обороны принял решение о коренной перестройке и укреплении бронетанковой промышленности:

- о необходимости создания танков, бронирование которых надежно защищает от противотанковой артиллерии;
- об оснащении броневых заводов современным оборудованием;
- о передаче всех броневых заводов в Главспецсталь (И. Ф. Тевосяну);
- о реорганизации ЦЛЗ в Центральную броневую лабораторию ЦБЛ-1 (ЦБЛ-2 была создана в г. Мариуполе на заводе Ильича);
- о смене руководства Ижорского завода;
- о восстановлении на работе Завьялова и Попова.

Решение СТО повлияло на всю броневую промышленность страны. На реконструкцию и строительство Ижорского завода были выделены из госбюджета 20 миллионов рублей, Колпино было выведено из областного подчинения и стало районом Ленинграда. Начала бурно развиваться социальная инфраструктура Колпина.

В дальнейшем по результатам этого заседания Завьялову было предложено создать и возглавить броневой институт, получивший название НИИ-48, ныне всемирно известный ЦНИИ «Прометей». Михаил Николаевич Попов был назначен главным инженером Ижорского завода, а впоследствии его директором.

Однако вернемся к событиям 1942 года, когда был арестован и осужден Данилевский. Итак, Иосиф Аронович Фрумкин был первым, кто встал на защиту Данилевского. Он вызвал на завод «Красное Сормово» из Свердловска Анастасию Михайловну Бодиско, инженера-металловеда, работника ЦНИИ-48, первого броневоего института страны. Анастасия Михайловна Бодиско приехала из Свердловска в Горький без пропуска, на свой страх и риск. Фрумкин и Бодиско по вызову заместителя наркома танковой промышленности М. Н. Попова выехали в Москву.



Надо сказать, что принципиальную позицию Иосифа Ароновича поддержал директор завода № 112 Ефим Эммануилович Рубинчик (1903–1991), советский партийный и хозяйственный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы (1945). лауреат Сталинской премии. Иосиф Аронович рассказывал мне, что в Москве, у Попова, он поручился за Олега Федоровича, написав в заявлении на имя наркома танковой промышленности о полной невиновности Данилевского и готовности разделить ответственность за брак, если его наличие будет подтверждено документально. Было решено написать заявление на имя Прокурора СССР о создании экспертной технической комиссии, которая должна была разобраться в существе дела. Заявление было написано, и Фрумкин вернулся на завод.

Анастасия Михайловна тшечно пыталась передать заявление в прокуратуру, там были огромные очереди, а ей надо было возвращаться в Свердловск, к тому же были серьезные опасения, что заявление затеряется в канцелярии прокуратуры. Тогда Попов позвонил наркому тяжелой промышленности. Николай Степанович Казаков, нарком тяжелой промышленности СССР, бывший директор Ижорского завода, лично знавший Олега Федоровича, позвонил Прокурору СССР и попросил его проследить, чтобы заявление не затерялось.

Решением Президиума Верховного суда СССР была создана экспертная комиссия в порядке надзора за обоснованностью вынесения приговора Данилевскому. Сегодня мы не можем назвать имена тех специалистов, которые в нее вошли. Известно другое. Фрумкин, начальник мартеновского цеха, предоставил материалы по выплавке брони, которая якобы была ненадлежащего качества, и передал их Анастасии Михайловне Бодиско. Кроме того, что Анастасия Михайловна была талантливым металлостроителем, — она любила Олега Федоровича. У них был роман. Инженер Бодиско по материалам, представленным Фрумкиным, собрала документы по всем плавкам, на которые Данилевский подписал отклонения, и проследила, из какой плавки прокатывался броневой лист, какие танки и на каких заводах были изготовлены из этой брони. Все данные она передала в Москву, в Наркомат танковой промышленности.

Начальник 3-го Главного управления Наркомата танковой промышленности Артемий Александрович Хабакпашев разыскал эти танки на фронтах ВОВ и затребовал материал о том, как эти танки показали себя в боях. (Во время ВОВ 3-е Управление НТП сформировало фронтовые ремонтные бригады, которые изучали и описывали повреждения, полученные нашими танками во время боевых действий, и занимались их ремонтом.)

Когда все материалы были обработаны, выяснилось, что у фронтовиков никаких нареканий к качеству брони нет. Все документы были переданы в экспертную комиссию, которая должна была дать техническое заключение по существу обвинения.

В начале 1943 года Фрумкин был назначен главным металлургом завода № 178 в г. Кулебаки Горьковской области, где проработал в этой должности до 1956 года. В 1956 году он вернулся на Ижорский завод главным сталеплавильщиком.

Все время, пока Данилевский находился в лагере, Фрумкин посылал семье Данилевского (жене Людмиле Васильевне Пурцеладзе, сыну Владимиру и падчерице Шуре) от имени Олега Федоровича денежное содержание, а с оказией и продукты... Шура Пурцеладзе — легендарная Александра Александровна Пурцеладзе, на ее лекции сбегались студенты филфака университета, и не только они, до последних дней жизни она читала лекции на кафедре литературы в Театральной академии. 16 августа 2005 года в зале учебного театра прошла гражданская панихида: Театральная академия проводила Александру Пурцеладзе в последний путь.

Вот что она рассказала: «Мы с мамой не знали об аресте Олега Федоровича. Только в 1943 году мы получили подробное письмо от Иосифа Ароновича Фрумкина о несчастье,

которое на нас обрушилось. Не надо объяснять, что означало в 1943 году быть семьей осужденного по статье 58-7. Мы жили в 40 километрах от железнодорожной станции. Однажды мы получили телеграмму от Иосифа Ароновича: „Встречайте узловой станции передачу оказией“. Далее следовали дата, фамилия, ориентировочное время прибытия и номер вагона. Я поехала на станцию. Встретила поезд. Какой-то человек передал мне мешок муки и мешок табака. Что делать с этим богатством, я не знала. То есть я знала, понимала, что это наше спасение от голодной смерти. Деньги ничего не значили. Продуктов не было. Да и денег тоже. Я была за 40 километров от дома, где меня ждали мама и брат Володя, и решительно не знала, как мне доставить эти мешки домой. В конце концов я выпросила у знакомых детские саночки, привязала мешки и пошла по зимнику. Саночки постоянно опрокидывались, и мне приходилось через каждые 20–30 метров их поднимать и снова укладывать мешки. Смеркалось. Началась поземка, я выбилась из сил и поняла, что не могу ни вернуться на станцию, ни идти дальше. Я села на мешки и заплакала. Плакала я оттого, что меня ждут, а у меня нет сил идти, плакала оттого, что не могла бросить саночки, плакала оттого, что понимала, что ночью замерзну. Не помню, сколько я так просидела. Из оцепенения меня вывел скрип полозьев. По зимнику шла лошадь. В розвальнях в тулупе сидел мужик. Я бросилась к нему: „Дедушка, миленький, возьми меня!“ Дед меня обматерил: „Такая-рас-такая, вишь, лошадь околеваает! Бросай поклажу и топай на станцию!“ — и уехал. Тут я поняла, что совсем пропала. Через час дед вернулся. Мы долго торговались. Дед вернулся за мной, а мешки ни в коем разе брать не желал. Я ему обещала отдать табак, но дед уперся. В конце концов мы привязали саночки к розвальням, а мне было велено идти своим ходом. Саночки на колее валились набок. Дед ругался, я плакала. Закончилось все прекрасно: саночки мы бросили, мешки переложили в розвальни. Я могла садиться в розвальни, но только когда дорога шла под увал, а когда на увал, мы с дедом помогали лошади. Километров через 20 дошли до деревни и заночевали. На следующий день дед доставил меня домой.

Каждый раз, бывая в наших краях, дед заходил к нам, скидывал тулуп. Мама подносила рюмочку. Дед выпивал, крикал, крутил козью ножку из дармовых газет и табака и после первой затяжки говорил: „Счас курну — и бягом, бягом“ — и сидел часа два».

Все это Александра Александровна рассказала мне по телефону, когда я позвонил, представился и спросил, что ей известно о «деле» ее отчима.

— Боже мой, — сказала Александра Александровна, — вы сын Иосифа Ароновича?

— Да, — сказал я.

— Вы знаете, что ваш батюшка спас нас от голодной смерти? — естественно, я об этом ничего не знал.

25 марта 1943 года Президиумом Верховного суда СССР было вынесено Постановление за № 6/м о прекращении дела в отношении Данилевского Олега Федоровича. Данилевский был полностью реабилитирован.

Начальник 2-го отдела исправительно-трудовой колонии «Тагилстрой» при расставании с Олегом Федоровичем 3 апреля 1943 года сказал: «Повезло вам, это первый случай в моей работе». При этом бывшему з. к. (заключенному) Данилевскому был выдан следующий документ:

С П Р А В К А

СССР

Народный комиссариат внутренних дел

Строительство Нижне-Тагильских металлургических и

коксохимических заводов

ТАГИЛСТРОЙ

Отдел 2-й  
№ 51621

Дана гр. Данилевскому Олегу Федоровичу рождения 1902 года, уроженцу г. Кулонно /Финляндия/ осужденному Гарадским военным Трибуналом г. Горького 3 августа 1942 года по ст. 58-7 УК к заключению в ИТЛ на 15 лет с поражением в правах на 5 лет в прошлом не судим в том, что он Постановлением Президиума Верховного Суда СССР от 25/03/43г. за № 6/м п/с о прекращении дела, из Тагильского Лагерь НКВД СССР освобожден 3/04 /1943 года с направлением в ЦНИИ г. Свердловска. Видом на жительство служить не может, при утере не возобновляется. Зам. Начальника Тагиллага /подпись/.

(В справке сохранена орфография оригинала.)

Данилевскому были выданы проездные документы до Свердловска, он направлялся в распоряжение НИИ-48, где его ждали работа и Анастасия Михайловна Бодиско. Уже при выходе из лагеря Олег Федорович получил назначение в Московское отделение НИИ-48 в качестве главного инженера. В 1944 году у них родилась дочь, Ася-маленькая (Анастасию Михайловну мы звали Асей-большой).

Александра Александровна Пурцеладзе рассказала, что однажды они получили письмо из лагеря, которое начиналось словами «Дорогая девочка!».

Людмила Васильевна, жена Данилевского, начав читать, позвала дочь:

— Шурка, это тебе!

Когда Шура прочла письмо, она сказала:

— Мама, это не мне...

В лагере специально переложили письмо семье в конверт с адресом Анастасии Михайловны, а письмо Асе-большой — в конверт на имя Людмилы Васильевны Пурцеладзе. Так семья узнала о романе Олега Федоровича и Анастасии Михайловны.

В 1944 году Данилевский вернулся на Ижорский завод и стал его восстанавливать. И Данилевский, и Фрумкин работали над созданием и освоением в производстве новых марок стали для надводного и подводного флота СССР, нового поколения стали для атомной энергетики. Олег Федорович стал дважды лауреатом — Сталинской и Ленинской премий, Иосиф Аронович — лауреатом Сталинской премии.

Михаил Николаевич Попов после войны работал заместителем министра транспортного машиностроения, заместителем председателя Государственного комитета Совета Министров РСФСР по координации научно-исследовательской деятельности. Артемий Александрович Хабакпашев был одно время заместителем министра судостроительной промышленности СССР.

Я рассказал только о том, что было известно в кругу нашей семьи. Говорят, что вопрос о судьбе Данилевского был решен на заседании Государственного Комитета Обороны в 1943 году, когда после Сталинграда, по окончании доклада наркома танковой промышленности Исаака Моисеевича Зальцмана о состоянии дел в танковой промышленности, Сталин спросил: «Какие у вас есть нерешенные вопросы? В чем нуждается танковая промышленность?» Зальцман ответил, что для пользы дела нужен инженер Данилевский. Возникла пауза. И тут встал нарком черной металлургии Иван Федорович Тевасян и сказал: «Товарищ Сталин, я лично знаю этого человека, и я за него ручаюсь».

Никто из этих людей не мог знать, чем закончится вся эта история. Но к тому времени уже было заключение независимой экспертной комиссии о невиновности Данилевского. И еще одно. Все действующие лица этой драмы не поступились принципами, совестью и рисковали жизнью, потому что иначе они не могли. И Олег Федорович Данилевский, руководствуясь теми же принципами, на непрерывных допросах не сло-

мался, ни на одного из своих товарищей не дал показаний. На Данилевском «дело о вредительстве в танковой промышленности» на заводе № 112 и кончилось.

Судьба «короля танков», так его называли американцы и англичане, генерал-майора, Героя Социалистического Труда (1941), лауреата Сталинской премии (1946) Исаака Моисеевича Зальцмана также изобилует драматическими коллизиями. Он вспоминал: «Как-то во второй половине октября сорок первого года мне в Челябинск позвонил Сталин:

— Товарищ Зальцман, сколько танков «КВ» вы можете направить в Москву?

— Могу тридцать, но нет стартеров.

— Где же выход?

— Выход один. Пусть из Москвы срочно направят вагон со стартерами, я встречу. В Куйбышеве перегрузим их в эшелон с танками, я отправлю его завтра. Экипажи установят стартеры на ходу к Москве».

Все получилось. Эти танки прямо с парада на Красной площади ушли на фронт. За четыре года Германия смогла выпустить 53 тысячи танков. Наша танковая промышленность, отлаженная И. М. Зальцманом и его соратниками, — 100 тысяч танков.

Еще один эпизод. В 1942 году Сталин сообщил Зальцману, что директора Нижнетагильского завода № 118 Максарева снимают и отдают под суд, и попросил Исаака Моисеевича срочно выехать и принять руководство заводом, сказав, что решение ГКО уже есть. Зальцман в тот же день был на заводе. Начал он с того, что предложил Максареву должность главного инженера. Максарев сообщил, что его отдают под суд. Зальцман ответил, что это его вопрос. Он тут же позвонил Берии и доложил, что назначил Максарева своим приказом главным инженером.

— Я отдал его под суд, — сказал Берия.

— А я по поручению товарища Сталина должен выпускать двадцать пять танков Т-34 ежедневно и гусеницами пройду по каждому, кто мне помешает...

На другом конце провода помолчали...

Потом Берия сказал:

— Как бы по вам не прошлись гусеницами...

Зальцман добился того, что Максарева под суд не отдали.

На завод № 118, по вызову Зальцмана, приехали инженеры НИИ-48. Очень быстро выяснилось, что технология сварки броневых листов была нарушена. Из-за этих нарушений в металле возникли большие напряжения при остывании после сварки, приводящие к возникновению холодных трещин. После восстановления технологической дисциплины брак по холодным трещинам был ликвидирован.

В это же время Исааку Моисеевичу доложили, что нет мазута для термических печей, и если эшелон с мазутом не придет через шесть часов — завод остановится. Зальцман тут же позвонил наркому путей сообщения Кагановичу и доложил, что из-за отсутствия мазута завод встанет. Каганович сказал, что примет меры к поиску пропавшего эшелона с мазутом. Тогда Зальцман позвонил Молотову, который курировал танковую промышленность. Тот выслушал сообщение и спросил:

— Вы Кагановичу звонили?

— Да, звонил.

— Хорошо, сделаю все, что могу...

После некоторого размышления Зальцман по прямому проводу позвонил Сталину. Сталин выслушал и спросил:

— Вы товарищу Кагановичу сообщили?

— Да, товарищ Сталин

— А товарищу Молотову?

— Да, товарищ Сталин.  
— Что же вы от меня хотите?  
— Хочу, чтобы вы знали, товарищ Сталин, что, если не придет эшелон с мазутом, завод остановится.

Через шесть часов эшелон с мазутом пришел.

В 1949 году Зальцман не дал показаний по «ленинградскому делу» против Кузнецова и ленинградского руководства ни Берии, ни Маленкову.

— Об этих людях я ничего плохого не знаю, — твердо сказал Зальцман. — Можете меня расстрелять, но больше мне сказать нечего.

Много лет спустя Зальцману рассказали, что когда Сталину доложили об отказе бывшего наркома танковой промышленности принять участие в «ленинградском деле», Сталин спросил:

- А кем он начинал?
- Мастером на заводе...
- Ну и пошлите его на эту работу.

Действующего генерал-майора, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии, кавалера трех орденов Ленина, ордена Суворова 1-й степени, ордена Кутузова 2-й степени, двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена Красной Звезды приняли с величайшим испугом на должность мастера с окладом 70 рублей на машиностроительный завод в городе Муроме. По воскресеньям Зальцман надевал парадную форму (его не лишили ни воинского звания, ни правительственных наград) и шел в лучший ресторан Мурома, где заказывал 300 грамм в графинчике: 100 грамм за Победу, 100 грамм за танковую промышленность и 100 грамм за себя и своих товарищей. В 1949 году Исааку Моисеевичу было 44 года. Только после смерти Сталина, в 1955 году, его восстановили в партии. Умер танковый нарком в 1988 году. Гражданская панихида прошла на Кировском заводе, директором которого Зальцман стал в 35 лет.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Академик Ферсман говорил о железе как об основе жизни, имея в виду цивилизацию в целом. По нашим жилам течет кровь, красная потому, что в ней много железа. В советские времена в одном из мартеновских цехов висел лозунг: «Вся сила в плавках!». И это верно. Стране нужен был высококачественный металл для атомной энергетики, оборонной промышленности, автомобилестроения, судостроения, нефтехимии. Металлурги по праву гордились лозунгом. Кстати, лозунг имел явно металлургическое происхождение, что свидетельствует о чувстве слова, а также и о железном чувстве юмора.

Поколение инженеров-металлургов, пришедшее в 30–40-х годах прошлого века на производство, в лаборатории и институты страны, сделало, казалось бы, невозможное. Наша страна обладает лучшей танковой броней, непревзойденными и сегодня корпусными сталям для судостроения, атомной энергетики, сталями для реакторов химической промышленности.

О металлургах Ижорского завода написано много, и это справедливо. Казалось бы, что уже все известно. Но нет. Несколько лет назад, разыскивая в Интернете материалы об ижорских металлургах, я обнаружил новое для меня имя — инженера Владимира. Тогда я скачал материал, но на несколько лет забыл о нем. Я бы о нем, наверное, и не вспомнил, если бы не обнаружил в списке членов Союза писателей XXI века, членом коего и сам являюсь, фамилию Владимиров. Владимирова звали Виталий Александрович, и я вспомнил, что несколько лет назад скачал из Интернета материал: «ХРОНИ-

КА СЕМЬИ ВЛАДИМИРОВЫХ (составлена от имени Александра Сергеевича ВЛАДИМИРОВА (6 октября 1908 — 31 августа 1988)». Эту хронику опубликовал в Интернете сын Александра Сергеевича, Виталий Александрович Владимиров (1939—2011). Материал настолько интересный, что я привожу его практически полностью:

«Родители мои, оторванные от своих корней, строили жизнь в стране, прошедшей коллективизацию, индустриализацию, Вторую мировую, культ личности Сталина, „оттепель“ Хрущева, „застой“ Брежнева, „перестройку“ Горбачева. Отец мой прекрасно понимал значение родовой памяти. Это он в США купил киноаппарат „Кодак“ и осталось в памяти: каким был только что родившийся мой брат Сергей, каким я был мальчишкой, какими молодыми были папа с мамой и их друзья. Когда умерли мои родители, весь семейный архив Владимировых перешел к моему брату, когда умер Сергей — к его жене Нине. Итак, кто же такой Александр Сергеевич Владимиров?»

В архиве Ижорского завода сохранилась учетная карточка Владимирова. А. С. В. пришел работать на завод после окончания Московского института стали в 1937 году. Работал в термическом цехе: бригадиром, инженером, начальником объекта (так записано в карточке), а с 16 октября 1938 года по сентябрь 1941 года — заместителем начальника цеха по технологии. В сентябре 1941 года он был уволен ввиду командировки за границу. В своих воспоминаниях Александр Сергеевич Владимиров пишет:

«В 1927 г. я закончил Моршанскую девятилетку с двухгодичным педагогическим уклоном. Нас выпускали как педагогов первой ступени — преподавателей 1—4 классов. Педагогический уклон заключался в отдельном курсе по педагогике, психологии, методам преподавания и двухмесячной практике. Мне досталась работа в детской колонии под Моршанском. Практика была трудной, но интересной. Детдом — это колония для бывших беспризорных. Как педагогу-воспитателю, мне надо было помимо классных занятий организовать досуг моих воспитанников в летнее время. Начали с утренней гимнастики и купания в пруду. Ребятам понравилось. После зарядки маршировали вокруг пруда и пели песни. В те годы школьное образование было на невысоком уровне. Основные предметы — русский язык, математика, физика, химия давались по сокращенной программе, требования к учащимся были низкие. После девятилетки, без дополнительной подготовки с преподавателями за плату, поступить в институт было невозможно. Поступали единицы, начавшие подготовку с репетиторами за два-три года до окончания школы».

Александр Владимиров проработал учителем в Сибири и в Москве пять лет.

#### ИНСТИТУТ СТАЛИ (Из воспоминаний А. С. В.)

Москва. Молодежь тех лет стремилась быть в рядах строителей тяжелой промышленности: учиться в таких престижных институтах, как Институт стали. Чтобы поступить в такой институт, требовался рабочий стаж, а у меня его не было. В Москве я пошел на биржу труда, чтобы получить направление на работу, где мне объяснили, что как педагог и член профсоюза работников просвещения я должен обратиться на биржу интеллектуального труда, тем более, что педагогов не хватает. Денег на проживание у меня не было и пришлось идти работать педагогом первой ступени в школу № 7. Это было в 1930 г. Через полгода назначили директором школы № 34, а позже ректором Культармейского университета Сокольнического района.

Все шло к тому, чтобы получить высшее педагогическое образование, но мысль о поступлении в престижный институт меня не покидала. Один из моих знакомых по Культармейскому университету надоумил меня устроиться техническим секретарем на одну из кафедр Московского института стали с расчетом поступить на учебу в институт.

Реализовать эту задумку удалось, но с большими сложностями, для чего потребовалось получить разрешение на освобождение от должности ректора. Помогли друзья. Год я проработал техническим секретарем и лаборантом на кафедре металловедения и термообработки. В мои обязанности входило вести учет входящих и исходящих бумаг, следить за выполнением заказов по работам кафедры, просто исполнять отдельные поручения типа «отнеси-принеси» и другие несложные работы. Все поручения я выполнял прилежно и вскоре стал нужным человеком на кафедре. Я работал и готовился к экзаменам. В апреле 1932 г. сдал экзамены и был принят на технологический факультет в группу А-32Т по специальности «термическая обработка».

#### СПЕЦГРУППА

На четвертом курсе института была создана спецгруппа, в которую включили студентов из числа будущих мартеновцев, прокатчиков, термистов. Учеба для спецгруппы была увеличена на один год. Читались лекции по производству брони, снарядов, каждый защищал диплом по спецзаданию. Мы проходили специальную практику на базах военно-морского флота, бывали на линкорах «Марат» и «Октябрьская революция», на «Красной Горке», в Кронштадте, на Ижорском заводе. Дипломные работы были связаны с решением конкретных технических проблем. Дипломную практику я проходил на Брянском машиностроительном заводе, в цехе по производству шести и восьмидюймовых снарядов. Темой моего диплома была разработка технологии и оборудования механизированной термической обработки восьмидюймовых морских снарядов. В июле 1937 г. я защитил диплом. Из нашего выпуска выросли начальники производств, такие как Бройде, Башкиров, Ветров, Истратов, Корнилов, Кулешов, Осташева, Рыбин, Филимонов, Форисенков, Щербаков. Почти весь состав спецгруппы (8 человек), в которой я учился (Филимонов, Кучкин, Истратов, Рыбин, Кубышкин, Ветров и другие), был направлен на Ижорский завод, и в августе 1937 г. я прибыл на станцию Колпино. Никто нас не встречал, явились мы в отдел кадров, где мне порекомендовали устроиться на частной квартире и дали адрес на улице Первая Немецкая (колония). Это был угол, в общей с хозяевами комнате, в одноэтажном доме с дровяным отоплением, без водопровода и канализации. На следующий день нас принял главный инженер, который предложил мне, как и всем остальным, должность бригадира цеха 15 — цеха по термической обработке корабельной и танковой брони с окладом 600—700 рублей в месяц. Никто из приехавших молодых инженеров до этого не работал на производстве. Опять главные трудности пали на жену с маленьким сыном, а я полностью погрузился в работу. Завод по возрасту — ровесник Санкт-Петербурга, с огромным опытом производства и крепкими традициями и входил тогда в наркомат судостроительной промышленности. В конце 1937 г. нам дали комнату 15 кв. м. в г. Пушкин, примерно в пятнадцати километрах от Колпина в новом многоэтажном доме с водопроводом и канализацией. На работу я ездил рабочим поездом или на велосипеде.

Зоя стала посещать вечернюю школу, чтобы получить среднее образование. Все наши переезды отрицательно сказались на здоровье сына Геннадия, он заболел дизентерией и в декабре 1937 г. умер. Похоронили мы его на Пушкинском кладбище. Никого на похоронах не было, мы положили гробик с телом сына на санки и отвезли на кладбище.

#### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА ВИТАЛИЯ

Мама рассказывала, как после окончания строительства «Беломорканала» она попала в один поезд с его «героями». Звения наградами, освобожденные уркаганы ворвались в вагон и выгнали пассажиров в другие вагоны. Их вожак, Пахан, посмотрел на маму с ребенком на руках и процедил сквозь золотую «фиксу»: «Мамашу не трогать!»

## ИЖОРСКИЙ ЗАВОД (Из воспоминаний А. С. В.)

На работе освоился я быстро и через два-три месяца стал мастером, затем инженером смены (работали в три смены), а через год — технологом цеха, затем начальником технологического бюро цеха и заместителем начальника цеха. Зарплата моя выросла до 1200—1500 рублей в месяц, я получал премии и работал уже только в одну смену. В 1938 г. я стал не только замначальника цеха по технологии, но и кандидатом в члены ВКП(б). Работа была сложная, ответственная и интересная.

В предвоенные годы Ижорский завод был основным поставщиком корабельной и танковой брони, на нем работали ведущие специалисты отрасли, здесь же, на базе броневой лаборатории, был создан научно-исследовательский институт брони (ЦНИИ «ПРОМЕТЕЙ»), где работали такие специалисты, как А. С. Завьялов, С. И. Смелянский, С. И. Сахин, П. О. Пашков и другие. С моим непосредственным участием были внедрены новые технологические процессы по производству брони. То, что раньше выполняли отдельные специалисты и мастера, стало доступным практически любому производственнику. В эти годы мы обеспечили поставку брони для линкоров «Марат», «Октябрьская революция» и «Парижская Коммуна», которая сменила броню 1914 г. Эта работа велась под наблюдением командного состава ВМФ.

## КОМАНДИРОВКА В США

14 сентября 1941 г. меня и технолога из механического цеха Льва Михайловича Мошиашвили вызвали к директору Михаилу Николаевичу Попову. В его кабинете был заместитель наркома судостроительной промышленности Смирнов. Нам сказали, что есть решение послать нас в США для закупки материалов и оборудования по ленд-лизу. Я возразил, что здесь принесу больше пользы, но со мной не согласились и предложили немедленно выехать в Москву для оформления. Мы получили мандат за подписью замминистра, что мы выполняем спецзадание и нам надо оказывать всяческое содействие по пути следования.

Железная дорога Москва—Ленинград уже не работала, пришлось ехать через Шлиссельбург, далее по Новолодожскому каналу до Тихвина, потом до Вологды. До Москвы мы добрались за 20 дней. Там мы явились в «Промсырьеимпорт» Минвнешторга, и началось оформление. Две недели мы заполняли различные анкеты. Я вызвал жену, и она приехала в Москву 16 октября. Этот день войны запомнился как день всегородской паники, распространились слухи, что Москва будет сдана, все бросились из города.

Наше оформление не было закончено, но нам, группе в 15—20 человек, было предложено явиться на Ярославский вокзал. Городской транспорт не работал, и мы пешком от Советской площади дошли до Ярославского вокзала. На вокзалах скопилось огромное количество отъезжающих, в их числе целые министерства и другие организации со своими руководителями. Нас поместили в вагоны пригородной электрички и отправили в Архангельск, куда мы добирались две недели. В Архангельске жили в гостинице, питались в ресторане «Север». Затем Шпицберген. Меня, Мошиашвили и Коровкина посадили на пароход «Марат», следующий с грузом леса в Шотландию.

Через три недели дошли до порта «Металл», где нас встретили и отправили поездом до Лондона, оттуда в Глазго, где мы получили въездные визы в США и на канадском пассажирском пароходе добрались до Галифакса, а оттуда поездом до Нью-Йорка.

Рассказывая об Александре Сергеевиче Владимирове, я пользуюсь материалами его воспоминаний и материалами воспоминаний его сына, Виталия Александровича Владимирова, который пошел по стопам отца, окончил Московский институт стали, но так



же, как и автор этого очерка, стал писателем. В память о Виталии Владимирове Союз писателей XXI века учредил литературную премию им. Виталия Владимировича.

А. С. В., работая в США, оформил вызов семье.

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА ВИТАЛИЯ

Из Москвы, через всю Россию, Сибирь, доехали до Владивостока. Помню ноги солдат, сидевших на верхних полках в вагоне... Положение было очень сложное. С японцами — нейтралитет, но уже тогда они следили, чтобы наша страна не получала помощи от союзников. Поэтому решили два транспорта из Владивостока отправить якобы на Камчатку, а на самом деле в Штаты. Заодно с ними и семьи... Всех записали как членов экипажей. Пароходов, как я уже говорил, было два — «Кола» и «Трансбалт». На «Коле» подобралась вся ленинградцы, среди них и я с мамой. За три дня до отхода нас перевели с «Колы» на «Трансбалт». Мать, как узнала, что ее пересаживают, в рев, не пойдя ни в какую, но с ней особо не церемонились.

Ушла «Кола». Их остановил японский эсминец, якобы для проверки документов. Почему через японские воды идете? Какой груз? Почему дети на борту? Идем через эти воды, потому что февраль, зима, севернее проливы замерзли, груза нет, идем на Камчатку, дети на борту, потому что война, дети членов экипажа. До одиннадцати вечера всех на палубе держали, потом отпустили, следуйте своим курсом. Команда и пассажиры в трюмы спустились, устали за день. И тут — две торпеды в беззащитный мирный пароход. Стреляли, как на учениях. «Кола» тонул три с половиной минуты. Шторм, ледяная вода, на поверхности остались только те, кто вахту нес, два спасательных плота и вельбот. Подлодка всплыла, прожектором осветила гибнущих людей и ушла на погружение.

Из спасшихся после шестнадцати дней в океане в живых остались только четверо матросов, в том числе радист. Их подобрал японский противолодочный заградитель, и только после долгого разбирательства они были возвращены на родину.

Мать рассказывала, что капитан «Трансбалта» несколько дней из каюты не выходил после отплытия. А нам тоже досталось. В кильватер за нами все время шел перископ подлодки, может быть, той самой, что потопила «Колу», это я сам видел, японские военные самолеты несколько раз облетали «Трансбалт», имитируя атаку. Нас, малышей, в спасательных жилетах выставляли на палубу, чтобы показать, что на борту дети. Как сейчас, вижу летчика в шлеме и очках под стеклянным колпаком кабины и планирующий с воем самолет с круглыми пятнами японского солнца на крыльях, казавшимися кроваво-красными. Позже самолеты не появлялись, исчез и перископ.

А Тихий океан оказался вовсе не тихим. Мама не переносила качку и сильно страдала от морской болезни. Двадцать третьего февраля устроили праздничный обед в честь Дня Красной Армии и Флота и дали детям несколько долек шоколада. Я зажал их в горсти и так и не притронулся — маме принес. Шоколад растаял, мама, конечно, отказалась, и вот тогда я руку дочиста вылизал, обсосал — так есть хотелось.

Мама только когда с отцом встретилась, узнала, что «Кола» погибла. К ней потом еще долго ходили отцы, чьи семьи погибли, она им, что могла припомнить, рассказывала... Про жен... Про сыновей и дочек...

### АМТОРГ (Из воспоминаний А. С. В.)

Еще до войны в США была создана американо-советская торговая организация «Амторг Трейдинг Корпорейшн», а в начале войны (конец 1941 г.) Советская закупочная комиссия, в задачу которой входила организация поставок военной техники, оборудования и материалов по ленд-лизу. Амторг также работал во время войны, но

не так интенсивно. Советскую закупочную комиссию возглавил генерал Руденко, в ее состав входили военные разных родов войск и специалисты по разным видам оборудования, технологиям и материалам.

Я работал в отделе «Промсырьеимпорт», в номенклатуру которого входили прокат, трубы, метизы, рельсы, железнодорожные колесные пары, инструментальные и специальные стали, броня и др.

Во время войны США поставляли СССР по ленд-лизу самолеты, танки, военные и грузовые корабли, прессы, станки, прокатные станы, заводы по производству отдельных видов продукции (химической, резинотехнической, метизов, снарядов и др.), сырье и полуфабрикаты для изготовления военной техники, одежду, продукты питания и др. Заказы оформлялись через военное и торговое министерства и после приемки отправлялись в СССР в основном морем, иногда самолетами.

Что можно сказать о США в военный период?

Война для США была выгодной — предприятия были полностью загружены заказами, рабочие были обеспечены работой.

Большим потрясением для американцев был Пирл-Харбор 7 декабря 1941 г., после чего они осознали реальность войны.

По роду моей работы мне пришлось побывать на самых разных предприятиях: в разных городах США, встречаться с президентами, вице-президентами фирм, директорами заводов, начальниками цехов, рабочими, причем не только в деловой обстановке, но и в частной. Советских людей, нашу страну в Америке знали плохо, часто в очень искаженном виде. По тем понятиям американцев, русские — люди низкой культуры, грубые, азиаты. Рядовые американцы особых симпатий к русским не испытывали, относились как к союзникам по борьбе с Гитлером. Бизнесмены же были очень довольны заказами и были бы только рады их продолжению.

Помню, потерял портмоне с деньгами и чеками, дал объявление в газету, потерю вернули.

В канун рождества 1943 г. я встречался в г. Янгстаун с вице-президентом фирмы «Янгстаун Тьюб Ко.» мистером Джонсоном. После переговоров он предложил показать мне город. Кроме световой рекламы город был празднично украшен и по праздничному оживлен. Джонсон сказал тогда, что встречает Новый Год страна хорошо — есть работа для всех, кто хочет работать, а это большой успех. Он вспомнил мировой кризис 30-х годов, тяжелое время, памятное для всех американцев. Янгстаун — город металлургов и угольщиков с развитой городской периферией кафе, столовых, магазинов и др. Во время кризиса все закрылось, остановилось, люди бросили город, ушли в деревни. Больше всего Джонсон боялся повторения кризиса.

В Баффало в то время был завод по производству «грифельных» колес, а из Москвы поступил заказ на них. Я посетил несколько фирм, по всем параметрам подходила одна фирма из Чикаго, но по цене — Баффало. Выяснилось, что добивается этого фирма за счет плохих условий труда и производства: рабочие без спецодежды, рукавиц, в рваных башмаках, защитных очков нет, в цехе высокая температура, вентиляции нет, заливка в ковш, выбивка литейных форм, обрубка отливок — все производится на земляном полу. В Баффало — большой процент негритянского населения, рабочие завода, в основном, негры.

Из значительных поставок можно отметить газопроводные трубы для газопровода Саратов — Москва, грузовой трос на 1 млн. долл., «грифельные» колеса для узкоколеек и городского транспорта. Я участвовал в переговорах и заключении контракта на поставку 9000 тонн брони от фирмы «Рипаблик Стил Корп.», Колтон, Огайо.

Американцы — народ деловой, гордый, воспитанный на том, что «Америка выше всего, и каждый американец может стать богатым». Среди американцев масса ан-

гличан, французов, немцев, китайцев, японцев, поляков, но американской национальности нет. В американском языке много идиом, зачастую англичанин и американец не понимают друг друга. Запас слов американского фермера 800—1000 слов, но это не мешает ему общаться с людьми высокой культуры.

Мы свободно передвигались по Америке всеми видами транспорта. Никаких разрешений на посещение любого города не требовалось. Я по делам побывал в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Лос-Анджелесе, южных штатах, Чери — крупном металлургическом центре под Чикаго штата Индиана. В Чикаго виден контраст богатых районов на Мичиган-авеню вдоль озера Мичиган и бедных районов. Большое количество кафе, ресторанов, предлагают девушек, хотя проституция запрещена.

Яркое впечатление — посещение Голливуда.

Внешне, особенно в больших городах, разницы между белыми и черными нет, но негр никогда не пойдет в кинотеатр или бар для белых, на юге даже продажа железнодорожных билетов в разных помещениях, везде в транспорте есть перегородка. При передвижении по Гарлему сидят вместе, в белом районе негры пересаживаются назад.

В конце 1945 г. Советская закупочная комиссия стала сворачивать свою деятельность, заключение контрактов по ленд-лизу прекратилось. Мы стали приводить в порядок дела и составлять отчетность по всем своим контрактам. Вся документация осталась в здании Комиссии 1655, 16-ая стрит, Вашингтон.

В ноябре 1945 г. основной штат Комиссии переехал в Нью-Йорк (210, Медисон Авеню) в здание Амторга. Председателем в то время был назначен Еремин. Заказы шли на конкурентной основе, было много поездок и переговоров, на уровне руководства Амторга, начальника отдела Крупина. К тому времени я был назначен заместителем начальника отдела.

В США я сумел посетить немало производств, что много дало мне как инженеру. На заводах Republic Steel Co, US Steel, Betlechem Steel познакомился с производством корабельной и танковой брони. На заводе Форда в Питсбурге я увидел замкнутый технологический процесс производства танковой брони от мартена до готового, термически обработанного обрезающего листа. По моему предложению была закуплена технологическая линия термообработки и закалки под прессом броневое танкового листа.

У нас сложились хорошие взаимоотношения с многими фирмами по производству металлопроката. По инициативе фирмы Crussibl Steel Co. в одном из отелей в Вашингтоне был организован прием, на котором присутствовал посол СССР в США А. А. Громыко. Стол был полон закусок, водки, коньяка, вин, играл оркестр. При обмене речами от советской стороны выступил заместитель начальника отдела Даниленко. Громыко познакомился с руководством фирмы. Встреча продолжалась около двух часов. Были высказаны пожелания по дальнейшему взаимному сотрудничеству, что относилось не только к данной фирме. К этому времени руководство США приняло решение об ограничении номенклатуры материалов, предназначенных для поставок в СССР, в первую очередь стратегическим. В связи с этим шло и сокращение штатов Амторга. Часть сотрудников вернулись в СССР, часть были направлены на работу в Германию, Австрию, Румынию и другие страны для обеспечения поставок по репарации.

## АВСТРИЯ

В системе Минвнешторга был создан ГУСИМЗ — главное управление по советскому имуществу за границей с отделениями в Австрии, Германии и Румынии. Часть заводов была передана СССР, часть работала под руководством советских генеральных директоров.

Таким директором в 1946 г. я был назначен в Австрию на завод «Энцесфельд метал верке», в 25 километрах от Вены. Во время войны завод производил снаряды и цвет-

ное литье для оборонных целей. На почти полностью разрушенном заводе была организована переплавка фюзеляжей и крыльев самолетов в чушки, также подготовка углеродистого скрапа (англ. scrap — вторичный металл, металлическое сырье в виде лома и отходов производства, предназначенное для переплавки с целью получения годного металла) из вагонов узкоколеек. Часть скрапа поставлялась на Запад.

На заводе кроме меня был директор — австриец, коммунист. Он оказывал мне большую помощь в выполнении плана поставок.

Компартия Австрии была слабой и малочисленной. Большим авторитетом пользовались социал-демократы. Они выполняли работу лучше, организованнее. Как-то они обратились ко мне с просьбой разрешить восстановить бассейн для общего пользования. Я поручил это коммунистам, но без социал-демократов все-таки не обошлось. При встречах и беседах было видно, что подготовка социал-демократов заметно выше, их убежденность крепче. Да и с молодежью они работали лучше. Насколько знаю, Австрия — «родина» социал-демократии.

Немецкого языка я не знал, но выяснилось, что все инженерно-торговые работники, экономисты и бухгалтеры в совершенстве владеют английским, чем я и воспользовался. У нас было две квартиры — в Вене и особняк рядом с заводом, две машины, одна из них была переоборудована: вместо багажника установлен котел с топкой дровами в связи с дефицитом бензина. Скорость такого «лимузина» составляла 40–80 км/час, на подъемах он требовал заправки дровами. Пользовался я им первые 2–3 месяца.

Жене и двум сыновьям приходилось непросто. Языка они не знали, советской колонии не было. Правда, нам прикомандировали переводчика. С семьей выезжали в окрестности Вены, в Альпы, посещали плавательные бассейны, кинотеатры. Питались дома, готовила жена, иногда приходящая работница. Продукты покупали через шофера или работницу.

Спустя полтора месяца ко мне прибыл контролер из Москвы Алексей Николаевич Ольхов. Выяснилось, что он — уроженец Моршанска. Мы знали друг друга мальчишками, купались в реке Цна, лазали по садам, воровали яблоки. Ольхов остался доволен результатами проверки и рекомендовал мне не торопиться с возвращением на Родину, где условия жизни были тяжелыми. Ольхов пробыл у нас три дня. О войне мы знали только из газет, пребывание в послевоенной Европе позволило мне ощутить все ее последствия.

В марте 1947 г. стали собираться домой в отпуск. Крупные вещи отправили в Москву еще из США. В Австрии были только носильные вещи, хозяйственные принадлежности, личные вещи. И все-таки их оказалось очень много, а взять мы могли два-три чемодана и небольшой багаж. Остальные вещи оставили в квартире в Вене, чтобы отправить их железной дорогой. Как потом оказалось, получить их было сложно, что вещи из США, что вещи из Вены.

В конце марта 1947 г. мы вернулись в СССР. Квартиру нашу в Пушкине разбомбило. Я рассчитывал поселиться у сестры. В Москве нас встретила сестра Анфиса с мужем Александром, из Шереметьево на грузовике добрались до Потылихи. Тогда я припомнил совет Ольхова, но действительность оказалась намного хуже ожидаемой.

#### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА ВИТАЛИЯ

Насколько я знаю, отец как-то в отделе кадров сидел у своего кадровика. Неожиданно влетел кто-то в гражданском и стал кричать на кадровика. Отец сделал ему замечание. Тот зыркнул глазами, спросил у отца фамилию и вышел. Кадровик побледнел, это же генерал МВД.

Отца полгода никуда не вызывали, судя по всему, проверяли, это могло кончиться и репрессией, потом предложили работать в Промсырьеимпорт, но невыездным или

самому найти работу. Так отец пришел рядовым инженером в Министерство судостроительной промышленности.

#### МИНСУДПРОМ (Из воспоминаний А. С. В.)

В Москве пришлось начинать практически с нуля. Прописались с трудом у сестры. У нее своих четверо и нас четверо — в двух комнатах. В Москве голод, с продуктами тяжело, карточки. Пошли на продажу наши вещи.

Мне предложили работу на Ижорском заводе или в Минсудпроме, куда я и был принят старшим инженером с окладом 1800 руб в месяц. Денег этих не хватало. Вскоре удалось снять комнату в Бирюлево по Павелецкой дороге (30 км). Позже получили комнату 13,6 кв. м, Каретный ряд, 2. Канитель с получением ордера на эту комнату продолжала около года, получение комнаты по тем временам было большим успехом.

Жизнь после получения комнаты стала стабилизироваться. Жена пошла работать в шляпную мастерскую, Виталия определили в школу, Сергея в детсад, мой оклад возрос сначала до 2000, потом до 2500 рублей. Я стал главным специалистом, а позже начальником отдела и заместителем начальника главка с окладом 3800 рублей. В Минсудпроме я проработал до 1976 г. С 8 мая 1976 г. мне стали оформлять пенсию республиканского значения и с 16 февраля 1976 г. я перешел в ЦНИИЧЕРМЕТ в Институт качественных сталей старшим научным сотрудником с окладом 2800 рублей и правом работать четыре дня в неделю. Сумма моей пенсии 120 рублей, а зарплата вместе с пенсией не могла превышать 350 рублей, поэтому мой оклад понизили до 220 рублей. Перерыва в работе практически у меня не было. В Минсудпроме я вел всю тематику ЦНИИ «Прометей», то есть все вопросы технологии и производства, связанные со сваркой, а также литьем, ковкой и штамповкой. Эти области не являлись ведущими в судостроительной промышленности, но от них многое зависело. По этой тематике проходили межминистерские выставки, конференции, симпозиумы. И всегда Минсудпром ставился в пример остальным, что было приятно и мне, и руководству министерства. Одним из направлений работы ЦНИИ «Прометей» было создание новых сталей и сплавов. Все технические задания утверждались мной, иногда замминистра А. А. Хабахпашевым. Фактически я являлся техническим руководителем при решении многих проблемных вопросов. Дело было еще и в том, что ни начальник техотдела В. А. Орлов, ни другие руководители среднего звена не владели моими вопросами, а я курировал Ижорский завод, завод Ильича в Жданове, еще три машиностроительных завода и ЦНИИ «ПРОМЕТЕЙ» и мне приходилось докладывать свои предложения непосредственно руководству министерства. В 1950 г. меня назначили главным металлургом главка. Пришлось осваивать и пополнять свои знания мартеновского, прокатного, кузнечного, литейного производств. При реорганизации в 1953 г. меня назначили начальником отдела танковой и корабельной брони. Наше министерство объединило четыре ранее существовавших: Минсудпром, Минтяжмаш, Миндормаш и Минтранспортного машиностроения. Бывшие замминистра стали начальниками главков и соответственно остальные сдвинулись по должности на ступеньку вниз. Было создано два технических управления. Я, как начальник отдела, подчинялся начальнику главка Хабахпашеву А. А. и замминистра Моксареву Ю. Е. Курировал ЦНИИ «Прометей», два филиала (Московский и Свердловский) бывшего Минтанкопрома, вел все технические вопросы по броне. Сотрудниками отдела были Каневский Л. Н., Мариенгоф Г. Н., Судакин Я. А., Ольхова Ю. М., Резниченко О. С. и другие. Работали напряженно, с трудом справлялись с потоком бумаг, рабочий день начинался в 9 утра и заканчивался в 20—21 час. Расширился и круг общения с новыми людьми, в том числе и с высокопоставленными. Министерство транспортного и тяжелого машиностроения, или, как мы его называли, «гроссминистерство», просуществовало один год. В 1954 г. про-

изошла очередная реорганизация, министерства разукрупнили, я остался в Минсудпроме начальником отдела металлургии и сварки с теми же институтами и заводами. Затем опять реорганизация — появились совнархозы, министерства были упразднены, но по некоторым отраслям созданы комитеты, в том числе Госкомитет по судостроению, где я продолжал работать начальником отдела металлургии и сварки, с теми же обязанностями. Позже опять реорганизация — вернулись к министерствам в первоначальном виде. В 1965 г. я был назначен зам. начальника Главного технического управления. В этой должности проработал до 1976 г.

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА ВИТАЛИЯ

В те годы в СССР мощно и динамично развивались промышленность и наука. Благодаря новым материалам и сплавам, стали реальными выход в космос и создание атомных подводных лодок. Заслуга отца, мудро предвидевшего перспективы от применения титана, неоспорима. Была создана подводная лодка, развивающая скорость в подводном положении до 70 км/час. Отец был известен в оборонных министерствах, правительстве и ЦК КПСС. Его называли за глаза «человек-броня», а позже «человек-титан».

### ТИТАН (Из воспоминаний А. С. В.)

Меня знали и ценили не только в Минсудпроме, но и в Совмине, Госплане, ЦК КПСС. Часто приходилось бывать в Ленинграде, где согласовывались требования МСП и ВМФ. Так было с идеей применения при строительстве кораблей титана и его сплавов, когда производство их в стране только зарождалось и составляло десятки тонн в год, а требовались сотни и тысячи тонн. Пришлось организовывать и создавать производство новых марок, новое оборудование. Титан — металл, обладающий превосходными свойствами, в два раза легче стали, немагнитен, обладает высокой коррозионной стойкостью, отличными механическими свойствами. Есть у него и недостаток — высокая химическая активность с кислородом, начиная с 450 градусов, поэтому выплавляли его в вакуумных печах, прокатка слитков шла с алюминированной поверхностью, но все эти сложности в конечном итоге окупались.

Не менее важные проблемы решались и с другими металлами. Эти работы получили высокую оценку — я награжден Орденом Трудового Красного Знамени и двумя орденами Знак Почета. Всего в Минсудпроме я проработал 29 лет. За это время было несколько реорганизаций. В состав главка по металлургии и сварке долгое время входили Ижорский завод и Ждановский завод Ильича. Начальником главка и замминистра был Артемий Александрович Хабахпашев — воспитанник Тевосяна, начинавший работу в ЦЗЛ завода «Электросталь». Прекрасный организатор, он имел свой стиль министерской работы. Его знали и ценили в Совмине, Госплане, ЦК КПСС. Когда военно-промышленный комплекс возглавлял Д. Ф. Устинов, много внимания уделялось новым материалам и технологиям, по его указаниям и при его участии проводились специальные выставки министерств оборонных отраслей. Мне пришлось принимать в них непосредственное участие. Наши разделы демонстрировались на ВИЛСе (Всесоюзном институте легких сплавов) в Сетуни. Минсудпром был всегда одним из лучших. Экскурсоводом обычно был я. Помню, в 1967 г., по поручению министра Бутомы Б. Е., я докладывал Устинову и всем министрам оборонных отраслей промышленности. Доклад длился полтора часа, Устинов остался доволен». Это не голословно. Доктор технических наук, ведущий сотрудники ЦНИИ КМ «Прометей» Сталь Сергеевич Ушаков рассказал в первом томе монографии «По пути созидания», в очерке «Подводная лодка проекта 661 — первая в мире цельнотитановая субмарина», что Александр Сергеевич

Владимиров на одном из совещаний, посвященных выбору лигатуры для титана, идущего на изготовление корпуса ПЛ, блестяще выступил, объяснив, что ЦНИИ КМ «Прометей» решает не только задачу повышения прочности сплава, но учитывает свариваемость, технологичность, агрессивность среды и многие другие факторы. Владимирова поддержал С. Г. Глазунов, бывший в то время крупнейшим специалистом по титановым сплавам в авиапромышленности. Сплав 48-ОТЗВ, на основе лигатуры Ti-AL-V, обрел права гражданства. Производство ванадиевых лигатур было организовано в Узбекистане и Таджикистане, и наша страна перестала зависеть от поставок ванадия из-за границы.

Широкому читателю будет интересно узнать, что ПЛ «Золотая рыбка» (так ее называли из-за ее стоимости: она обошлась в 1 % от бюджета страны) принадлежит мировой рекорд скорости под водой, внесенный в книгу рекордов Гиннеса, — 40,3 узла в час, т. е. 84 км/час. Водоизмещение «Золотой рыбки» — 8000 тонн. Оправдана ли постройка столь дорогой ПЛ? Строительство ПЛ проекта 661 вызвало к жизни новые технологии производства титанового листа, титановых труб, титановых метизов, запорной аппаратуры, сварочных материалов для титана. СССР сделал мощный прорыв в науке и технологиях титанового производства, обеспечив большой задел на будущее.

Все началось с того, что в 1959 году вышло Постановление Правительства и ЦК КПСС о строительстве атомных подводных лодок из титанового сплава. Все вопросы, связанные с разработкой и освоением производства титановых листов, были возложены на ЦНИИ КМ «Прометей» и Ижорский завод. Из первых четырех титановых слитков, поставленных Верхне-Салдинским заводом, на Ижорском заводе было прокатано только три листа. Один слиток попал, при докатке в термической печи, на горячую стальную окалину и почти полностью сгорел. Как показали проведенные исследования, при температуре 1083 градуса Цельсия при контакте титана со сталью возникает жидкая эвтектика (от греч. eutektos — легкоплавящийся) — состав смеси двух и более компонентов, плавящийся при минимальной температуре.

Эмиль Семенович Каган, вспоминая то время, рассказывает, что прокат круглых титановых слитков, поставляемых заводом Верхней Салды, был головной болью ижорцев. Опыта проката титанового листа заданных толщин не было. Сначала прокатчики пошли по классической схеме. Круглые титановые слитки проковывали на брамы (плоские карточки) и только после этого катали. Первый прокат титанового листа восходит к далекому 1954 году. На завод приехал представитель ЦНИИ КМ «Прометей» Савелий Моисеевич Шулькин. (В 2004 году, когда Э. С. К. писал свои воспоминания, Савелию Леонидовичу было около 100 лет.) Шулькин предложил начальнику цеха № 11 Борису Александровичу Юргелю опробовать прокатку листов из титана. На завод привезли две заготовки. При выдаче одной заготовки она вошла в соприкосновение с окалиной и полностью сгорела. Это было и для работников завода, и для работников института полной неожиданностью.

Можно много и интересно рассказывать о титановой эпопее. Но мы ограничимся только одним эпизодом. Впервые в мировой практике, по предложению начальника цеха № 11 А. Н. Сироткина, зам начальника цеха А. Н. Шмаевского, начальника титанового бюро В. И. Стольного и Э. С. Кагана, попробовали прокатать круглый титановый слиток, минуя ковку на брамы, — сразу на лист. Попытка увенчалась успехом. Но для того чтобы удерживать круглый слиток на рольганге, пришлось сконструировать и изготовить специальное устройство, получившее название «аэроплан», которое после первого прохода убиралось. Таким образом была создана новая технология проката круглых титановых слитков на титановый лист, минуя процессковки слитков на брамы. Весь титановый лист, поставленный ИЗ для строительства «Золотой рыбки»,

был изготовлен в цехе № 11 на одноклетьевом стане «Дуо-4000» с приводом от паровой машины мощностью 4000 л.с, пущенной в 1903 году.

Вот что пишет о титане в монографии «По пути созидания» Борис Борисович Че-чулин, доктор технических наук, профессор, в своем очерке «Парогенераторы — борьба за ресурс»: «Большую помощь ЦНИИ КМ „Прометей“ получил от министерства судостроительной промышленности в лице заместителя министра Артемия Александровича Хабакпашева и начальника главка Александра Сергеевича Владимиров, курировавших работы по внедрению титана в парогенераторах АЭУ (атомных энергетических установок) на атомных ледоколах, ПЛ и других изделиях».

Хочу еще раз вернуться, хотя бы бегло, к плеяде инженеров-металлургов, работавших бок о бок в течение многих лет. Я горжусь тем, что знаю имена А. А. Хабакпашева, Ю. Е. Максарева (в 1950—1953 годах министра транспортного машиностроения СССР, того самого Максарева, который в феврале 1942 года был снят Сталиным с должности директора танкового завода им. Коминтерна в Нижнем Тагиле и которого спас от расправы нарком танковой промышленности Исаак Моисеевич Зальцман), Вениамина Ивановича Долбилкина и его братьев: Евгения Ивановича и Геннадия Ивановича, М. Н. Попова, О. Ф. Данилевского, Д. И. Филимонова, М. И. Ходака, Э. С. Когана, А. В. Горского, С. И. Ривкина, Э. Ю. Колпишона, В. А. Литвака, Ю. В. Соболева и многих других инженеров-металлургов, с кем мне посчастливилось работать на Ижорском заводе.

Династия Долбилкиных (а их было, как я уже говорил, три брата: Вениамин Иванович, Евгений Иванович и Геннадий Иванович) внесла большой вклад во внедрение новых технологий выплавки ответственных марок стали на разных заводах страны. Если Вениамин Иванович работал на Ижорском заводе, то Евгений и Геннадий Долбилкины — на металлургическом заводе им. С. М. Кирова в г. Кулебаки Горьковской области, на бывшем заводе № 178, где мой отец, Иосиф Аронович Фрумкин, проработал главным металлургом с 1943-го по 1956 год.

В 1946 году кулебакские металлурги первыми в СССР освоили выпуск литых высокопрочных якорных цепей для морского флота. Вот что сказано в юбилейном издании, посвященном 140-летию Кулебакского металлургического завода: «Начальник сталелитейного цеха Александр Иванович Фомичев и главный металлург завода Иосиф Аронович Фрумкин долго бились над тем, как отливать цепи не звеньями, а целиком, чтобы ликвидировать тяжелый труд кузнецов, ускорить выпуск продукции, сделать якорные цепи более прочными. И добились своего...» В 1950 году «за организацию поточного производства литых высокопрочных якорных цепей», главный металлург завода И. А. Фрумкин и начальник сталелитейного цеха А. И. Фомичев были удостоены звания лауреатов Сталинской премии».

Когда Ижорский завод в 80-е годы прошлого века готовился к выплавке тяжеловесных слитков, среди огромного количества инженерных вопросов, решаемых заводом и институтами, стоял вопрос извлечения и транспортировки супертяжелых слитков. Нужны были цепи соответствующей грузоподъемности, с соответствующим запасом прочности. Такие цепи делали на Кулебакском заводе, но, как всегда, заранее их не заказали. Вопрос был решен так. Мой старший брат, Семен Иосифович Фрумкин, работавший старшим мастером термического участка цеха 74 Ижорского завода, был командирован в Кулебаки с двумя письмами об оказании технической помощи. Одно письмо, официальное — от руководства завода, второе, личное — от Иосифа Ароновича директору Кулебакского завода Анатолию Яковлевичу Рабиновичу. Вопрос решили быстро. Цепи в необходимом объеме были отгружены на Ижору.

Я рассказываю не только о Владимирове, но и о тех драматических коллизиях, которыми изобилует всякое большое, настоящее дело.



В 1946 году была принята программа строительства новых надводных кораблей для ВМФ СССР. Одним из новых типов строящихся надводных кораблей стал разработанный ЦКБ-17 крейсер проекта 68-бис. Для изготовления этих кораблей была рекомендована сталь СХЛ-4, разработанная в 40-е годы уральской школой металлургов. Производство ее осуществлялось на Орско-Халиловском комбинате (СХЛ-4 — сталь халиловская листовая, цифра 4 указывала на прочностные свойства). На Балтийском заводе при формировании первых же секций корпуса столкнулись с массовым образованием трещин, в некоторых случаях длина их достигала двух метров. Сталь оказалась неспособной сопротивляться развитию возникающих при сварке холодных трещин. Рабочие расшифровывали сталь СХЛ-4 как «сталь х...я, ломается на четыре части», сам крейсер 68-бис получил у судостроителей название «хрустального». Специалисты ЦНИИ КМ «Прометей» А. С. Завьялов, А. Крошкин, И. Л. Шимолевич и другие сразу поняли, что нужно менять структуру стали. По предложению специалистов института первые секции корпуса разобрали, и листы толщиной 14 миллиметров отправили на Ижорский завод, где подвергли их закалке и высокому отпуску. В связи с вредным влиянием кремния на закаливаемость стали и малой скоростью хода кранов, передающих листы в закалочные баки, на Ижорском заводе была разработана специальная технология закалки этих листов, исключавшая их «подстуживание». Закаливаемые листы грели в термической печи и передавали на закалку пакетом в виде сэндвича, прикрывая снизу и сверху листы стали СХЛ-4 углеродистыми листами, исключая таким образом их «подстуживание».

Еще одна драматическая коллизия возникла при строительстве головной подводной лодки проекта 667. Ижорский завод поставлял на эту лодку большой объем продукции, в том числе и комингсы, то есть пусковые шахты ракет. Их на этой лодке было шестнадцать. Технология производства изделия была отработана и не вызывала тревоги. Комингсы были цельноковаными, после мехобработки они предъявлялись ОТК и военпредам. Когда на Северодвинском судостроительном предприятии ракетный отсек ПЛ с сваренными комингсами подвергли испытанию, создав внутри давление в 400 атмосфер, обнаружили течь. Давление сбросили. При тщательном осмотре выяснилось, что течь образовалась не по основному металлу, а по комингсу. Проведенные исследования показали, что в комингсе есть флокены, то есть газовые полости, имеющие водородное происхождение.

Игорь Васильевич Горынин, тогда главный инженер ЦНИИ КМ «Прометей», убедил директора Северодвинского завода Евгения Павловича Егорова дать институту два месяца, чтобы поставить на ПЛ кондиционные комингсы. Горынин с Егоровым достигли, как теперь говорят, консенсуса. Горынин понимал, что нужна новая технология изготовления комингсов, а ее не было. Он прямо из кабинета Егорова позвонил директору Ижорского завода Сергею Александровичу Форисенкову, выпускнику Московского института стали 1937 года, то есть учившемуся в одно время с А. С. Владимировым.

Форисенков по просьбе Горынина собрал для мозгового штурма большой технический совет. Положение становилось критическим: лодку нужно сдать в установленные правительством сроки. На историческом совещании родилась новая технология изготовления комингсов — делать их не цельноковаными, а вальцевать из толстостенного листа. Но вальцы «Бетлехем», имевшиеся на Ижорском заводе, не могли в холодном виде вальцевать сталь такой толщины. Поэтому разработали режим термического подогрева листа до 400 градусов, что позволило перейти на новую технологию изготовления комингсов.

Учитывая, что основной причиной появления флокенов является высокое содержание водорода в жидкой стали, в мартеновском цехе приняли все возможные меры по его снижению. Плавки проводили лучшие сталевары под руководством самых опытных мастеров В. И. Долбилкина и П. А. Романова.

Непосредственное участие в подготовке и проведении плавок принимал заместитель начальника цеха по технологии Ю. В. Соболев. Наблюдение за соблюдением технологии и ее корректировку при необходимости осуществляли ведущие сталеплавильщики ЦНИИ КМ «Прометей» Л. Я. Глускин и А. Д. Борисов, а от Ижорского завода главный сталеплавильщик И. А. Фрумкин.

Вениамин Иванович Долбилкин был высоким, как и все Долбилкины, прямым, непосредственным и веселым человеком. Получив пенсионную книжку, он пришел в цех и на рабочей площадке, перед мартеновской печью, вытащив ее со словами: «Вот она, кормилица!», сплясал яблочко.

Объем настоящего очерка не позволяет рассказать о пути, пройденном отечественной металлургией более чем за полвека, и о всех, кто вписал славные страницы в ее историю.

В 2008 году, когда закончилась конференция, посвященная 100-летию отца, мне сказали:

— А ты знаешь, что Юрий Васильевич Соболев спрашивал: правда ли, что Иосиф Аронович после смерти Иосифа Генриховича Гуревича (начальник Управления капитального строительства, восстанавливал Ижорский завод после войны, строил новые цеха и производства) стал как бы негласным главным раввином Ижорского завода?

Я ничего об этом не знал. Если вспомнить, что раввин в переводе с идиш «учитель», то да, отец был ребе, учителем, создавшим вместе с другими талантливыми инженерами ижорскую школу металлургов.

Эмиль Семенович Каган в конце своих воспоминаний, вышедших на Ижорском заводе в 2004 году, пишет: «...хотелось бы отметить, что высокий уровень нашей заводской металлургии во многом зависит от вклада наших старших товарищей — учителей, таких как О. Ф. Данилевский, И. А. Фрумкин, В. А. Кавачич, С. М. Филиппов, М. И. Ходак».

В интервью, данном по случаю своего 80-летия, Юрий Васильевич Соболев, лауреат Государственной и Ленинской премии, академик Инженерной академии Санкт-Петербурга, заместитель главного инженера Ижорского завода по металлургии, сказал: «...с началом войны на всех заводах Урала и Сибири, выпускающих танковую броню, работали ижорцы: О. Ф. Данилевский, Г. А. Петров, И. А. Фрумкин, В. И. Долбилкин... Все они вернулись после войны на Ижорский завод и стали моими учителями».

В 2008 году я передал часть семейного архива музею Ижорского завода. Музей выдал акт о приемке предметов на постоянное хранение. В одном из пунктов акта, в графе «Наименование, краткое описание предмета», значилось: «Шестнадцать заповедей, выработанных Иосифом Ароновичем Фрумкиным».

Вот эти «заповеди»:

1. Твоя задача — проводить общую техническую политику и решать ежедневно неизбежно возникающие затруднения.
2. Будь внимателен к критике и улучшающим предложениям, даже если они непосредственно тебе ничего не дают.
3. Будь внимателен к чужому мнению, даже если оно неверно.
4. Имей бесконечное терпение.
5. Будь справедлив, особенно в отношении подчиненных.
6. Будь вежлив, никогда не раздражайся.
7. Будь кратким.
8. Не делай замечания подчиненному в присутствии третьего лица.
9. Всегда благодари подчиненных за хорошую работу.
10. Никогда не делай сам того, что могут сделать твои подчиненные, за исключением тех случаев, когда это связано с опасностью для жизни.

11. Выбор и обучение умелого подчиненного всегда более благодарная задача, чем выполнение дела самим.

12. Если то, что делают сотрудники, в корне не расходится с твоим мнением, давай им максимум свободы действий, не спорь по мелочам, мелочи только затрудняют работу.

13. Не бойся, если твои подчиненные способней тебя, а гордись своими подчиненными.

14. Никогда не испытывай своей власти до тех пор, пока остальные средства не используешь, но в этом, последнем случае применяй ее в максимально возможной мере.

15. Если твои решения оказались ошибочными, признай свою ошибку.

16. Всегда старайся, во избежание недоразумений, давать распоряжения в письменном виде.

18 августа 1957 года. Ленинград

Летопись Ижорского завода еще не окончена, и время, а главное, новые люди обязательно впишут в нее много новых славных страниц...

### **ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ**

И в XXI веке Ижорский завод является уникальным, единственным в своем роде предприятием, поставляющим продукцию во многие страны мира. Заказчики Ижорских заводов — ведущие российские предприятия и зарубежные фирмы. Предприятие участвует в международных научных программах. В 1998 году была изготовлена радиолокационная антенная установка для международного космического проекта «Морской старт» по запуску спутников с поверхности Мирового океана. В 1999—2000 годах предприятие изготовило 120 цельнокованных плит из немагнитной стали и другие металлоконструкции для мюонного соленоида CMS. Общий вес заказа составил 3,5 тысячи тонн, что по сравнению с годовым объемом производства Ижорского завода (164 тысячи тонн поковок в год) выглядит не очень внушительно. Но специалисты Ижорских заводов считают, что дело не в весе. Это была действительно уникальная работа. CMS расшифровывается как «Компактный магнитный соленоид», однако поковки для него, изготовленные на нашем заводе, были отнюдь не компактными и весили более 40 тонн каждая.

В 2001 году завод приступил к изготовлению металлоконструкций установки ATLAS по заказу Европейской организации ядерных исследований (European Organization for Nuclear Research, CERN). Стоимость проекта, в котором участвует 34 страны, 1850 физиков, 150 институтов и множество промышленных предприятий всех развитых стран, составляет \$ 20 млрд. На долю Ижорских заводов пришлось около \$ 3 млн. Предприятие изготовило рамы фундамента, опоры и рельсы детектора. Детектор ATLAS предназначен для исследования протон-протонных столкновений. Это огромное инженерное сооружение массой 15 тысяч тонн и длиной более 20 километров, сквозь которое проходят миллионы измерительных каналов. Поэтому к конструкционной прочности материалов и точности при изготовлении деталей предъявлялись очень высокие требования. Металл конструкций нержавеющей, немагнитный, невосприимчивый к наведенной радиации. Последнюю партию изделий Ижорские заводы отгрузили в марте 2003 года.

## БЛОКАДА ЛЬВА ДРУСКИНА

Публикуемый текст выходит в свет в преддверии 100-летия поэта Льва Друскина (1921–1990).

В юности будущий поэт вел дневник. Скажут: кто в юности не вел дневников? Но у дневниковых записей юного Льва Друскина другая цена. Подлинная их ценность состояла в том, что они велись с 22 июня 1941-го по 20 февраля по 1942 годы, то есть накануне и в самый трагический период ленинградской блокады (зима 1941–1942). Рукопись находилась долгое время у Л. В. Друскиной, вдовы поэта. Сейчас дневник хранится в архиве Бременского университета (Германия). Публикуется впервые.

Казалось бы, о ленинградском поэте известно немало. Его ранний поэтический дар отметил еще в 1930-е годы С. Маршак. Тот самый Маршак, который стал называть Леву Друскина «своим учеником», а ученик о С. Маршаке выражался однозначно и с благодарностью: «учитель». В Советском Союзе вышло несколько поэтических сборников поэта. В. Шкловский, маститый литературный критик и сам автор оригинальных романов, писал о Л. Друскине: «[Физически] поэт мало ездил, но глубоко видал. Он умеет рассматривать вещи внимательно и непечально. Он умеет любить то, что он видит. Это очень ленинградский поэт».

Сложившийся мастер поэтического слова готовил к изданию очередной сборник. Гром грянул в 1980 году. «Компетентные органы» спешно высылают Льва Друскина вместе с семьей за пределы страны. Причиной послужило непозволительное — опубликованная им в Лондоне «Спасенная книга» — книга воспоминаний и размышлений Льва Друскина о своей жизни в «предложенных (властью) обстоятельствах».

Лев Друскин не собирался эмигрировать. Он не был воинствующим «протестантом» и активным борцом с «системой», хотя в зрелые годы он уже видел, во что выродился «советский проект», и не связывал с ним, как в молодые лета, никаких человеческих надежд.

Его поэзия неожиданно убеждала в том, что так точно и прекрасно выразил один философ: «Люди обычно гораздо лучше своих мыслей, слов и поступков». Его поэзия была согрета энергией тонкого лиризма, естественного, а не надуманного отношения к жизни и всему живому. Так творит всякий внутренне свободный и одаренный человек.

Во вступлении к «Спасенной книге», которая так взбесила власть и за которую он был лишен гражданства и выслан, поэт пишет: «Я никогда ничего не писал в прозе. Даже письма для меня — мучительная повинность... Я поэт, и тут знаю себе точную цену. А сейчас я обнажаю перо с чувством, что берусь не за свое дело... Но мне шестьдесят лет. [И] моя жизнь в известном смысле тоже документ эпохи. И я хочу, чтобы этот документ был опубликован. В книге нет ни одного вымышленного факта, ни одной вымышленной подробности. Даже диалоги подлинные. Это принцип».

Высылка и десятилетие в приютившем чету Друскиных Тюбингене (Германия), конечно, продлили физическую и творческую жизнь Льва Савельевича. Поэт умрет в 1990 году, на 70-м году жизни. В последний путь его будут сопровождать новые немецкие друзья и старые друзья из России.

Как человек, рано почувствовавший в себе дар художника слова, Лев Друскин хотел засвидетельствовать все реалии начавшейся и предстоящей блокады с тем, чтобы в послевоенное время люди смогли увидеть и оценить беспрецедентную картину борьбы и трагедии Ленинграда...

«Я знаю, когда закончится война, меня будут жадно спрашивать: „Как жил в эти дни Ленинград?“ И я никогда не сумею толком рассказать. Будут написаны сотни книг, но тысячи мелких неуловимых деталей, которые собственно и составляют основную колорит времени, будут утеряны навсегда ...»

От читательского внимания не уйдет очевидное — насколько автор дневника заряжен верой в Победу Красной армии и ненавистью к фашистскому вермахту.

Не поэтому ли сегодня вдова поэта Лидия Друскина подчеркнет главное — не ожесточение борьбы с властью, развязанной самой властью, а более важное: «Мы прожили вместе ровно тридцать лет и три года счастливо, несмотря на болезни и обстоятельства».

**Александр ЩЕЛКИН,**

*доктор философских наук, ведущий научный сотрудник  
Социологического института РАН*

## I ЧАСТЬ

Я начал писать эту книгу, потому что я не могу молчать. События идут на меня сплошным потоком. Каждое мгновение того, что происходит, — это история. И я не имею права оставаться равнодушным зрителем. Я парализован. Я не могу самостоятельно двигаться. В великой войне, которую ведет мой народ, я не могу с винтовкой в руках защищать свою Родину.

Но каждое слово моей книги будет бить по врагу!

\* \* \*

Когда прозвучали последние слова Молотова, я поднял глаза на ребят. Они сидели бледные, но спокойные. «Вот и война началась», — сказал Илья. Валя молчала, она только передернула плечами как от холода. «Ильюща, — попросил я, — ты не сможешь сегодня у меня вечером собрать ребят? Нам нужно о многом поговорить»...

Вечер. Небольшая комната полна народу. Ребята сидят на стуле, на столах, на подоконнике. Многие курят. Табачный дым кружится по комнате, поднимается к потолку, уплывает в открытое окно. Ребята обсуждают мое предложение. Я предложил создать художественно-агитационную комсомольскую бригаду...

Идея понравилась. Горячо и долго обсуждаем детали. Расходимся поздно, около двух часов ночи.

\* \* \*

Первая тревога.

По черному небу ползают прожектора. Из соседних комнат, наспех одетые, выходят люди. У них бледные, сосредоточенные лица. Кто-то спрашивает: «Воду набрали?» — «Нет». — «Надо набрать»...

Я лежу на кровати и невольно перебираю в памяти газетные сообщения о бомбардировках Лондона и Парижа. Мне становится не по себе. Неужели сейчас на улицы Ленинграда упадут первые бомбы? Но проходит некоторое время, звучит отбой. Ни один немецкий самолет не прорвался к городу. Наутро радио приносит радостная весть: Англия и Америка за нас. Ну подождите, фашистские сволочи — теперь повоеем!

\* \* \*

Трамвай везет меня по улицам Ленинграда. Как изменился город за эти дни... Люди больше обычного говорят, жестикулируют, смеются. Свежий ветер обдувает разго-

ряченные лица, разносит обрывки фраз: «без предупреждения напали... сволочи!» «Ничего... это им не Франция — обожгутся»... На улицах очень много детей. На днях их начнут эвакуировать. И вот матери не могут на них наглядеться, таскают их по городу, покупают им конфеты, новую одежду, игрушки. Часто бывают воздушные тревоги, но на них теперь никто не обращает внимание. Ленинградцы ворчат: ну для чего они лезут — немцы проклятые? Ведь все равно не прорвутся!

\* \* \*

Кровавые волки, гиены,  
Не слышать вам жалоб и стоны!  
Над городом стонут серены,  
Уходят на фронт эшелоны

\* \* \*

Друзья уходят на фронт! Целый день в моей комнате, не умолкая, звенит телефон. Я снимаю трубку.

— Левка! Милый! Сегодня нас отправляют на фронт. Зайти не смогу...

— Рафик! Родной!.. Когда же мы теперь с тобой увидимся?

— В шесть часов вечера после войны.

И снова звенит телефон.

— Левушка, завтра я уезжаю на специальное задание. Скажи, ты веришь, что я не подкачаю.

— А ты, как думаешь? Конечно, верю. Смотри, Борька, в шесть часов после войны собираемся у меня на квартире...

\* \* \*

27 июля я, Женька Гвоздев и Илья Ольшвангер выехали по делам [агитационной] бригады в Москву. Мы думали, что нам придется ехать в теплушке. И поэтому, увидев обыкновенный пассажирский поезд, удивились и даже испытали некоторое разочарование... Здесь в вагоне совсем не чувствуется войны. Спокойные, неторопливые проводники укладывают на полки жесткие матрацы, натягивают наволочки, разносят чай; пассажиры вытаскивают бутерброды, лениво стучат костяшками домино. Неужели сейчас, действительно, война? У Бабина увидели первый вражеский самолет. Он летел, покачиваясь, вдоль пути. Это было очень страшно. Страшное было в том, что мы чувствовали его абсолютную власть над нами... С далекой невидимой станции, защищая нас, тревожно и часто застучали зенитки. Самолет не обращал на них никакого внимания. Он приближался, становился огромным... Поезд резко остановился. Вагоны слегка вздрогнули от тупого удара. Минута — второй удар. Бомбы бросает. Заплакали дети. Поезд рванулся и пошел дальше. Потом опять остановился. Мы ма-неврировали. Самолет повернулся и скрылся за лесом...

\* \* \*

Скоро Москва. Проводники собирают матрацы; пассажиры, весело переругиваясь, тащат свои чемоданы к выходу... Мы бродили по Москве, делая привалы у каждой будочки с газированной водой. Было жарко. Ребята, которым все время приходилось тащить стул-носилки, натерли себе руки и начали постепенно скисать... Ребята ставят стул-носилки на ступени эскалатора, и мы плавно спускаемся вниз. Станция метро «Площадь Маяковского»... Десять часов вечера. Москвичи [в метро] уклады-

ваются спать. Они привычно опускают на пол матрацы, разворачивают одеяла, прихлопывают подушки к колоннам из нержавеющей стали. Осторожно обходя спящих людей, мы растерянно бродим в поисках места для ночлега. Наконец натыкаемся на милиционера, безукоризненно вежливый, подтянутый, в белых перчатках, он ведет нас в вагон, и устраивает меня на мягком, кожаном сиденье. Вагоны предназначены для женщин с маленькими детьми. Для меня делают исключение...

«Какие вы счастливые, москвичи, — говорю я своей соседке. — Вот у нас в Ленинграде метро нет».

— А вы разве из Ленинграда? — спрашивает она. И через минуту меня обступает весь вагон.

\* \* \*

За время нашего отсутствия Ленинград стал как-то спокойнее и строже. Он быстро и уверенно готовится к обороне. На улицах и площадях заколачивают витрины, обкладывают мешками с песком чудесные ленинградские памятники... Город находится в постоянной боевой готовности. Радио не молчит никогда. Промежутки между передачами заполняет сухое щелканье метронома (в обычное время — один удар в секунду, во время тревоги — 2 удара в секунду). Это щелканье не дает людям отвлекаться, настораживает.

Интересно отношение немцев к людям, работающим на оборонной трассе. Сначала немцы пытались с ними заигрывать. Немецкие летчики, пролетая над ними, приветственно покачивали крыльями, сбрасывали листовки: «Переходите к нам: у нас много водки и хлеба!» Но потом, увидев, что листовки не помогают, и что никто на их сторону переходить не собирается, немцы рассвирепели. [В дело пошли] бомбы, снаряды, пулеметные очереди.

Кроме трусов, шептунов и паникеров, есть еще один тип людей, мешающих нашей обороне. Люди этого типа рассуждают примерно так: «Ленинград будут бомбить? Да что вы мне ерунду говорите! Есть фронт, и есть тыл. И совсем не нужно путать эти понятия. А вы... О панике кричите, сами же панику и устраиваете. Взять, хотя бы, воздушные тревоги... Ну для чего они?.. Меня будут бомбить? Какой абсурд! Да что я военный объект что ли? Немцы народ культурный и мирного населения трогать не собираются». (Из выступления агит-бригады)

\* \* \*

Ожесточенные бои в районе Луги. Через город идут беженцы из захваченных немцами деревень. Гонят стада овец, свиней, коз. У беженцев сухие, злые глаза. Все взяли с собой — ничего не оставили врагу. Беженцев размещают в городе. Ленинградские столовые отпускают им бесплатные обеды...

Сегодня утром многие видели немецкий разведывательный самолет. Он летел высоко в небе, а за ним сверкающим строем неслись наши истребители. Вечером в городе разорвалось несколько снарядов. Ночью прямым попаданием фугасной бомбы был разрушен жилой пятиэтажный дом. Много жертв. Похоже, что фашисты принимают за нас всерьез. Что-то будет дальше?!

\* \* \*

Около семи часов вечера началась тревога. Перенести меня в убежище было некому. Мне оставалось только наблюдать за происходящим. Немцы, очевидно, хотели разбомбить Московский вокзал. Бомбы все время падали в нашем районе. На горизонте

заблестело зарево — горели Баадаевские склады... Бомбежка продолжалась около полутора часов. Потом над городом пролетели наши самолеты, и зазвучал отбой.

Я знаю, когда закончится война, меня будут жадно спрашивать: «Как жил в эти дни Ленинград?» И я никогда не сумею толком рассказать. Будут написаны сотни книг, но тысячи мелких неуловимых деталей, которые собственно и составляют основной колорит времени, будут утеряны навсегда... Бесперывные тревоги изматывают, мешают сосредоточиться. У всех сильно расстроены нервы... В первые дни налетов в городе обнаружилось много вражеских ракетчиков. Только завоет сирена — и, глядишь, в небо поднимается ракета, разбрасывая вокруг себя зеленоватые брызги. Но почти всех ракетчиков очень быстро выловили. В охоте на них участвовало все население. Налеты на Ленинград обходятся немцам дорого: каждый день они теряют, по крайней мере, 5 самолетов. Немцы с откровенным цинизмом целятся по госпиталям и больницам.

\* \* \*

... Мы подходим к только что разрушенному дому. Бомба разорвалась с такой силой, что в соседнем доме вылетели не только стекла, но и рамы. Из разрушенного дома, то и дело, появляются люди с носилками. Мужчины, женщины, дети и многие из них мертвы. Вот молодая женщина, лет 23. Лицо ее страшно обезображено; сломанная бесильно висящая рука запачкана кровью и грязью. Вот старик в изорванной окровавленной одежде. Он жив. Поднимается на носилках и стонет: «Проклятые!.. Проклятые!». Из-за угла выход несколько вооруженных красноармейцев. Они ведут высокого белокурого человека. Это немецкий летчик, сбитый недавно над Ленинградом. Один из красноармейцев спрашивает: «gut»? Немец молчит и отворачивается.

Ленинградцев трудно запугать. Громко переключаясь, утром идут на работу, прислушиваясь к далеким разрывам, с досадой поглядывая на ясное небо... Некоторые из моих знакомых, однако, не выдержали трудностей и бежали из Ленинграда. Сбежала Мара Диклер. Сбежал Юра Капралов. Сбежала Саня Найданова. Но лучшие — остались. Работают на оборону.

\* \* \*

Когда с фронта приезжают, они [ребята] первым делом заходят ко мне... И льются, льются без конца тихие задушевные рассказы о фронтовой жизни, о боевых подвигах, о погибших друзьях. Погиб Боря Крючкович. В ожесточенном бою был ранен его товарищ. Боря выпрямился во весь рост и крикнул: «Санитара!» В это время около него разорвался снаряд... Нина Гаврилова ползла по полю, пробираясь к раненым бойцам. Внезапно она услышала стоны и увидела раненого немецкого офицера и раненого красноармейца, лежавших недалеко друг от друга. Нина подползла к немцу и перевязала его. Потом по-ползла к нашему бойцу. Тогда немец вынул револьвер и выстрелил ей в спину.

\* \* \*

На улице абсолютная темнота. Почти не умолкая гремит канонада. Небо озаряется короткими, яркими вспышками. В обычное время — половина восьмого — начинается тревога. Люди собираются в убежище. Они двигают стулья, скамейки, укладывают матрасы... День прошел в напряженной работе. Можно вытянуться на скамейке, выпрямить затекшие руки и ноги и осторожно, стараясь не толкнуть соседа, заложить руки под голову. Ленинградцы ложатся спать. Настороженная ленинградская ночь. По улицам проезжают конные патрули. На темных вышках замерли молчаливые фигуры дозорных. Бесшумно проносятся автомобили. Великий город погружается в сон.



\* \* \*

6 ноября 1941. Немцы в бессильной злобе стреляют по городу. Они знают, что в военном отношении их выстрелы — ничто. В лучшем случае им удастся убить еще несколько женщин, детей. Но сами они лежат, закопавшись в холодную, жесткую землю, и стреляют. Навести на ленинградцев панику — дело безнадежное. Это понимают даже немцы.

\* \* \*

С продовольствием хуже. «Ленинградская правда» пишет: «Мы, большевики, привыкли говорить правду в лицо. Пока не будет прорвано кольцо вражеской блокады вокруг нашего города, продовольственное положение будет оставаться серьезным».

## II ЧАСТЬ

4 месяца назад я закончил 1-ю часть этой книги. И вот на днях я решил собрать у себя дома ребят и устроить читку... Каждый день Ленинграда был для нас годом жизни, опыта и труда. За это время мы стали старше, проще и суровее. Сегодня я снова берусь за перо. Я буду писать о декабре 1941 года, я буду писать о январе, феврале, марте, апреле 1942 года — я буду писать о времени, когда немцы впервые по-настоящему поняли, что такое Ленинград.

\* \* \*

Блокада, которой немцы охватили Ленинград, никогда не была абсолютной. В ней всегда были трещины и щели. Через эти трещины и щели непрерывным потоком текли в Ленинград продукты и боеприпасы. И немцы понимали, что остановить этот поток, вдыхающий силы в город и армию — дело первостепенной важности.

Они бомбили грузовики с продовольствием в районе Ладожского озера. Они ожесточенно, но безуспешно атаковали наши позиции. Ничего не получалось. Советские люди презирали смерть и под бомбами и снарядами доставляли Ленинграду и армии все необходимые грузы. Только в конце 1941 года, сконцентрировав на Северо-Западном фронте огромные силы, немцы добились, наконец, решительных успехов. Они заняли Тихвин. Они продвинулись к Волховстрою. И военно-продовольственное положение Ленинграда стало критическим.

У многих возникал вопрос: каким образом Красная армия Ленинградского фронта, уступавшая численно и технически, армия, измотанная в бесконечных боях, армия, сдавшая лужскую линию обороны, — сумела остановить немцев у самых ворот Ленинграда и не пустить их ни на шаг вперед. Где же лежал источник этого беспримерного мужества?

Ответ прост: источник этого мужества в самом Ленинграде. Город и армия слились в одно. В огне и смерти захлебывались бешенные немецкие атаки. И было ясно: если немцы не найдут другие методы, другие пути, другие средства, они никогда не вступят в Ленинград. Немцы, в общем, трезво оценили обстановку. Они поняли, что для того, чтобы сломить моральный дух армии, нужно сломить моральный дух мужчин, женщин и детей Ленинграда... [Поэтому] На Ленинград сброшены бомбы в количестве достаточном для деморализации населения, по крайней мере, 20-ти больших городов; каждый день идут кошмарные артиллерийские обстрелы. А Ленинград не дрогнул. Что же

можно сделать еще? Что может быть страшнее, чем тяжелые снаряды, разбивающие дома, чем 15 воздушных налетов в сутки? Голод!

\* \* \*

Голод. Братские могилы. Мертвецы без гробов. Везут на саночках. Сзади два-три человека. Сжатые зубы, стиснутые кулаки, бледные ввалившиеся щеки. Один из них останавливается, шатается, хочет упасть. Двое других поддерживают его. Несколько минут они отдыхают. Потом медленно бредут дальше. Ленинград 1941 года.

\* \* \*

Мама кладет на стол небольшой кусок хлеба и делит его пополам: одну половинку — на сегодня, другую — на завтра. Затем берет сегодняшнюю половинку и делит ее на три кусочка: на завтрак, на обед, на ужин. Потом берет каждый кусочек и делит его на три части: одну для себя, другую для меня, третью для бабушки. Ленинградские меню: 1. Лепешки из картофельной муки (прибавить чуть-чуть ржаной). 2. Каша из ржаной муки (вода, соль, мука). 3. Суп из ржаной муки (вода, соль, мука). 4. Лепешки из дуранды (дуранду нужно хорошенько перемолоть, иначе будет засорение желудка). 5. Горчичные лепешки (горчицу пару дней вымачивают в воде, а потом пекут. Но, вообще говоря, есть такие лепешки не рекомендуется — можно получить язву желудка). 6. Картофельный крахмал (заваривают с солью). 7. Суп из хлеба (вода, соль, перец, лавровый лист, половина дневной порции хлеба). 8. Желе из столярного клея. Это далеко не полный перечень... Я часто слышал голос мамы: «Ну, Лева, сегодня я тебя обрадую. Мне удалось достать немного шиповника: будем делать кашу». — Брось, мама, — скептически возражал я. — Разве из этого можно сделать кашу? Я тебе заранее говорю, что ничего не выйдет. — «А вот посмотрим», — говорила мама и, к моему стыду и радости, каша выходила, действительно, вкусной.

\* \* \*

До 25 декабря [1941 года] мы получали в день по 125 гр. хлеба (рабочие 250). С 25 стали получать 200 (рабочие — 350). Все были почему-то уверены, что с 1-го прибавят еще. Но пришлось разочароваться: положение на фронте серьезное, о прибавке не может быть и речи.

\* \* \*

Новый год. Я думал, что немцы устроят «праздничный салют», но им не позволили. Они только постреляли в 9 часов вечера (минут 5, но довольно сильно). Ужин был царский: студень из желатина и горчицы, кусочек хлеба, вино и лечебные конфеты, которые мама принесла из аптеки.

\* \* \*

6 часов вечера. В моей комнатке у раскаленной докрасна «буржуйки» собирается население большой коммунальной квартиры. Люди приходят надолго, на весь вечер. В квартире холодно, поэтому так приятно посидеть у огонька, погреть озябшие руки, перекинуться городскими новостями.

Женщины приносят с собой шитье, мужчины закуривают. На улице уже темно; шторы опущены и по стенам комнатки бегут светлые блики. «Буржуйка» сделана из

старого ведра и объемистого железного листа, на котором некогда пекли пироги. Топлива почти нет (на 3 дома нашего домохозяйства выдали на зиму 2,5 кубометра дров), и поэтому в раскаленную пасть «буржуйки» бросают мусор, бумагу, ножи от поломанных стульев и прочий хлам. В закопченном котелке булькает вода, слабо шипит поджариваемый к ужину хлеб. Нина, только что вернувшаяся из госпиталя, сидит на корточках у огня; Николай Иванович ходит по комнате и курит; Петр Гаврилович, слесарь Кировского завода, вертит в руках поломанную горелку от примуса и сокрушенно прищелкивает языком; его жена Вера Николаевна, большим кухонным ножом переворачивает на сковородке хлеб; Коля, их сын, еще не вернулся с завода, и я с нетерпением поглядываю на дверь, зная, что если он придет поздно, он не захочет сразиться со мной в шахматы. Как-то по-особенному уютно в эти незабываемые вечера!.. Негромкие возникают разговоры. — Что-то давно немцы не прилетали, — говорит Вера Николаевна. — Уже более двух месяцев не было. «А ты что, соскучилась?» — смеется Петр Гаврилович — давно «зажигалок не тушила?». Николай Иванович останавливается и объясняет: «замерзли теперь немцы. В 40-градусные морозы много не полетаешь. Ручки и ножи свело; вот они и притихли. «Ну, притихли-то они, положим, не притихли, — говорит Нина, — артиллерия у них каждый день стучит». — Артиллерия стучит, соглашается Николай Иванович. — Но только со гласитесь, Ниночка, что артиллерия-то у них стучит не так, как раньше. Теперь их огневые налеты продолжают всего 5—7 минут. Дольше стрелять они не решаются: боятся как бы их не нашупала наша артиллерия. Правда, налеты эти бывают оочент интенсивны. Вот, например, вчера, когда был обстрел нашего района, я насчитал за 5 минут 46 выстрелов». «Но какие сволочи, стрелять по мирному населению» — восклицает Вера Николаевна. — А ты еще не привыкла? Брось!.. Удивляться тут нечему. Они идут на любые преступления, самые тяжелые, самые бессмысленные. Разговор меняется.

«Интересно, что нового на фронте?» — спрашивает Нина. Все оборачиваются ко мне. С фронтом я имею острую и непрерывную связь: каждый день получаю толстые пачки писем, несколько раз в неделю ко мне заходят приехавшие на побывку ребята. Пока я рассказываю, Вера Николаевна разливает по чашкам кипяток, раскладывает по тарелкам крохотные кусочки поджаренного хлеба и приглашает нас пить чай. Дверь со стуком открывается. Засыпанный снегом, входит Толя. Он снимает пальто, подсаживается к столу и берет в руки дымящуюся чашку. — Устал? — спрашиваю я его. «Еще бы! — улыбается он. — 6 километров в один конец — путь не маленький, да и на заводе работы хватает». Вот если бы ходил трамвай, тогда дело другое... Все прощаются и расходятся по своим комнатам. Я быстро раздеваюсь и поспешно залезаю под одеяло «Буржуйка» уже потухла и через пару часов в комнате будет совсем холодно.

\* \* \*

24/1 — сегодня прибавили хлеба: рабочим дают 400, служащим — 300, иждивенцам — 250. Появился полубелый хлеб за 1 р. 70 к.

27/1 — стоят жуткие морозы. Почти во всем городе замерзли водопровод и канализация. По улицам бродят люди с ведрами.

\* \* \*

«А у вас в доме тоже вода замерзла». — Еще вчера! — «Что же нам делать?». Идите за мной. В доме № 40 у Кивеля еще не замерзло. — Он не даст... вы его не знаете. Он очень плохой управдом: для своих жильцов еще дает, а для чужих — ни капли». — Ничего! Пару ведер, как-нибудь отвоюем.

\* \* \*

Скрипят саночки. Везут воду из Невы. Женщина с отекившим изученным лицом тянет веревку, мальчик лет 8-ми идет сзади, придерживая ведра руками. Доходят до большого серого дома. — Приехали, — говорит женщина, облегченно вздыхая. Мальчик оставляет санки, подбегает к двери и открывает ее. «Ты только осторожнее, мамочка, — просит он — на лестнице темно: того и гляди споткнешься и уронишь ведро — плохо! — второй раз на Неву не пойдешь!»

\* \* \*

Везти воду из Невы трудно, и поэтому многие предпочитают пить растопленный на буржуйке снег. Его кипятят и процеживают сквозь ватку, но, не смотря на это, получается нечто грязное и очень противное на вкус. Из-за воды перебои с хлебом. Многие не получают его уже 2—3 дня, становятся в очередь, стоят 6—7 часов. При этом хлеба не хватает, и приходится становиться в новую бесконечную очередь. Желающим вместо хлеба дают муку.

\* \* \*

— Вы знаете? На 6-ой Советской труба лопнула. — «Что вы говорите? Какое счастье». Ленинградец хватает ведро, набрасывает на плечи пальто и выбегает на улицу. У лопнувшей трубы — с ведрами, кастрюлями, бидонами — толпятся люди. Их уже много. С соседних улиц подбегают все новые и новые. Вода, звонко журча, струится по заснеженной мостовой, ныряет в углубления, подпрыгивает на бугорках, и люди, весело перекликаясь, черпают и черпают из этого благословенного источника. Сегодня выдался легкий день: не нужно ходить на Неву.

\* \* \*

Мороз. Серое неподвижное небо. Очередь за хлебом — шумная, пестрая, большая. У многих поверх пальто накинуто ватное одеяло. У пояса оно перехвачено полотенцем, а под горлом застегнуто французской булавкой. Люди хлопают в ладоши, переступают с ноги на ногу, и от этого кажется, что по всей очереди пробегают неровные вздрагивающие волны. Высокий старик в рыжем полушубке и в грязных разбухших валенках яростно притоптывает ногами. «Что, дедушка, холодно? — спрашивают его, смеясь. — И как это мы в такие морозы выстаиваем?» — Ничего! — говорит старик. — «Морозы-то наши, советские. Мы с ними как-нибудь сговоримся. А вот немцы... — Миленькие вы мои! — восклицает на другом конце очереди женщина, плечи которой стягивает огромный шерстяной платок, — а что мне мой зять-то сказал, он у меня военный. Все знает. Он говорит, что войско прорвет блокаду и уйдет,... а Ленинград сдадут!» — Ерунда! Хватит языком трепать! — кричат из очереди. «Не верите?» — обижается женщина. — Ну и не надо! А не сдадут Ленинград, конец все равно один: все равно все с голоду передохнем!» — Вы так думаете? — спрашивает ее молодая работница, стоящая сзади. «А как же!» Тогда работница крепко берет ее за рукав и говорит: — Пойдем! — женщина пугается. «Да что же это такое? — кричит она высоким визгливым голосом, напрасно стараясь высвободить рукав — Да что же я такого сказала? Да кто вы такая, чтобы хватать меня?!» — Не ори, — говорит работница. Она говорит сурово и негромко, но голос кричащей сразу срывается. — Кто я такая — проверить каждый может. Я работаю на заводе: работаю на мою советскую власть. А вот на кого работаешь ты, это пускай Н.К.В.Д. разбирает.

\* \* \*

В нашем районе уже 3 недели не работает радио. Изредка слабо доносятся голоса, но разобрать ничего нельзя. Газет почти не достать. Новости узнаем через ОЖГ-бюро. (ОЖГ — одна женщина говорила)

\* \* \*

В амбулаториях холодно. Больных не осматривают — боятся простудить. Врачи спрашивают их и подмахивают бюллетени. «Можно вызвать врача на дом?» — спрашивает одна женщина. — Отчего же, можно — отвечают ей — но только имейте в виду, что придет он не раньше чем через неделю. Врачей у нас мало — кто на фронт уехал, а кто заболел.

\* \* \*

Бани и прачечные не работают. Дома воды нет. Мама очень мучается: у нас завелись вши, и мы не знаем, как от них избавиться. Иногда мне становится невыносимо тяжело. Я лежу на кровати, набросив на плечи пальто и натянув на ноги большое ватное одеяло. Мне холодно. Несколько дней тому назад на соседней улице разорвался снаряд. От воздушной волны, задребезжав, вылетели стекла. И вот теперь, несмотря на то, что окно заткнули подушкой, в моей комнатке, по крайней мере, 15 градусов мороза. Я поворачиваюсь и смотрю на часы. Половина шестого. До ужина осталось еще полтора часа. Так уж у нас с мамой заведено: завтрак в 8 часов утра, обед в 2 часа дня, ужин в 7 часов вечера. Железная дисциплина желудка! Я знал уборщицу одного убежища. Она брала хлеб на 2 дня (600 гр.) и съедала его сразу. Потом 2 дня голодала. Недавно мне рассказали, что она умерла от истощения. Только железная дисциплина может спасти нас от смерти, только железная дисциплина приближает к нам огромную яркую победу. Это понимают не все. Я понимаю это, но как трудно мне держаться: в рамках дисциплины! Последние полчаса перед едой лежишь, стиснув кулаки и зубы, чувствуешь, как рот заполняется горячей горькой слюной, как ноет под ложечкой, как мучительно сжимается сердце. Резко и отчетливо раскатываются в воздухе удары. Один... другой... третий... усталый голос диктора в который раз за сегодняшний день объявляет об обстреле района. Я поднимаю голову и слушаю приближающиеся взрывы. Число артиллерийских обстрелов давно уже перевалило за сотню, но никогда не покидает меня во время этих обстрелов нервное возбужденное настроение. Легче, когда в комнате кто-нибудь есть. Тогда за смехом, за шутками, за разговором, находя друг в друге моральную поддержку, не показывая друг другу свои тревоги, своего волнения, действительно легко протягиваешь короткий отрезок времени, не обращая внимания на грохот, на подпрыгивающую в буфете посуду, на качающиеся скрипящие стены. Но когда остаешься один со своими мыслями, когда знаешь, что лежишь на кровати в запертой квартире, знаешь, что если начнется пожар от зажигательного снаряда, жестокая болезнь, приковавшая к месту, не дает подняться и выбежать на улицу — трудно сохранить самообладание.

\* \* \*

Кругом десятки тысяч домов. Мой дом — маленькая точка. Почему снаряд должен попасть именно в него? Но ведь люди в доме на 9-ой Советской тоже рассуждали, как я! Неужели сегодня придется умереть? Я не трус и я не боюсь смерти,... но так хочется жить! Сколько может еще протянуться это? Холод, голод, обстрел... Холод, голод,

обстрел. Изо дня в день, изо дня в день. Насколько еще хватит воли, выдержки, силы? Ведь есть предел и нечеловеческому терпению!

\* \* \*

В коридоре слышатся шаги. Свежая, с мороза, улыбающаяся входит Нина. «Ка-а-кой обстрел! — говорит она — я даже струсила, Левушка. Иду сейчас по Советскому, а над моей головой как — вжик! — Я так и присела» Нина подходит к зеркалу, сбивает с пальто снег, подсаживается ко мне на кровать, ласково обнимает меня за плечи. «Что с тобой, Левушка? — спрашивает она — Ты какой-то грустный сегодня. А у меня для тебя сюрприз: поднимаясь по лестнице, я вынула из ящика письмо». Серый конверт со штампом «военное». Синяя тетрадная обложка, исписанная мелким, торопливым почерком. И теплые взволнованные слова: — Левушка, родной! Помнишь Москву? Первые дни налетов, пыльные настороженные улицы, жара. Ты сидел у меня в комнате, я ходил из угла в угол, нервничал и говорил тебе о Ленинграде. Меня бесило твое, казалось, благодушное, довольное настроение. Я говорил: — Немцы приближаются к Ленинграду с каждым днем. Опасность растет. От судьбы вашего города зависит во много судьба всей страны. На вас ложится огромная ответственность. Выдержите ли вы, Левка? — и ты ответил мне тогда, спокойно и негромко, взвешивая и проверяя каждое слово: «Да, Коля, мы выдержим. Я знаю: нам будет трудно... Но Ленинград всегда был любимцем страны, и он оправдает ее доверие!» сколько раз вспоминал я эти слова! На фронте, под Москвой, в сорокаградусные морозы, когда руки сводило от холода, когда над головой тонко посвистывали пули, когда под влиянием минутного страха, минутной слабости, хотелось бросить винтовку и зарыться в снег, мозг обжигали острые, презрительные мысли. — Трус! Так-то ты защищаешь Родину?! Держись, как держатся на полуострове Ханко, как держатся в Ленинграде! — И страх сменяла ярость к врагу, мечтающих превратить нас в рабов, сделавшему столько гнусностей на нашей свободной земле. Как часто на привалах, во время коротких передышек между боями, бойцы говорили о женщинах и детях Ленинграда, собирали им подарки, писали им ласковые неуклюжие письма. Всегда и во всем Ленинград был светлым вдохновляющим примером. Красная армия разбила немцев в Ростове, разгром под Москвой — в этом есть и ваша заслуга! Ленинград покрыл себя неувядающей славой. Оборона Ленинграда войдет в историю Великой Отечественной Войны, как одна из самых ярких ее страниц. Я не умею писать, у меня получается плохо, стандартно,... но разве можно говорить об этом другими словами? Я горжусь, что и у меня есть друг — Ленинградец. Я верю что до того недалекого дня, когда разлетится проклятая немецкая блокада, ни у кого из вас не опустятся головы, ни у кого из вас не придут на ум черные, трусливые мысли. Крепко обнимаю тебя. С комсомольским приветом, Коля». — Я отрываюсь от письма, заглядываю в светлые Нинкины глаза, и мне становится мучительно стыдно за прожитые только что минуты.

\* \* \*

Никто не заметил, как это произошло. Перелом наступил сразу. Мне кажется, что лучше всего об этом расскажут скупые строчки дневника.

\* \* \*

На днях начали работать бани и прачечные. Пропускная способность небольшая. В банях один день мужской, один — женский.

\* \* \*

Прибавили хлеба. Рабочим дают 500, служащим 400, иждивенцам 300.

\* \* \*

Сегодня 1-ая выдача крупы за февраль (рабочим 500, служащим 375, иждивенцам 250, детям 300). В городе празднично. Настроение очень высокое. Говорят, что на базах много сахара, масла и мяса. На улице заметно потеплело. Участились артиллерийские обстрелы. Идет артиллерийская дуэль. Долетают короткие глухие удары (это бьют наши орудия с морского полигона) и громкие раскатистые взрывы (это рвутся на улицах города немецкие снаряды)

\* \* \*

Вчера в нашей лавочке весь день давали крупу. Утром перловую и горох, вечером — гречневую. Сегодня дают сахарный песок (рабочим 300, служащим 250, иждивенцам 200). Настроение все повышается и повышается. Ждем масла и мяса.

\* \* \*

Сегодня выдают мясо (рабочим 450, служащим 215, иждивенцам 195). Завтра ожидаем масла. По квартирам ходит дворник. Берет у всех вторничную подписку, что будут строго соблюдаться правила светомаскировки. За первое нарушение штраф, за второе — ревтрибунал. Очевидно, приближается время налетов.

\* \* \*

Всего 4 дня тому назад давали крупу. А сегодня ее выдадут опять, в городе всеобщее ликование. ОЖГ — бюро работает во всю. Но теперь новости только хорошие. Говорят, что немецкая блокада трещит по всем швам, что в город навезли уйму круп, сушеных овощей, рыбы, масла и мяса, снова ожидают прибавки хлеба. Почта работает очень плохо. Письма из страны шли несколько месяцев. Многие — не доходили. Но мы не обижались. Мы понимали, в каких трудных и опасных условиях приходится работать людям, доставляющим письма в Ленинград. И вот несколько дней назад в «Ленинградской правде» и в «Смене» появились резкие возмущенные статьи. В этих статьях говорилось, что люди, занимающиеся доставкой писем в Ленинград, работают хорошо, доставляют письма быстро и аккуратно, и что задержка происходит потому, что письма по 2—3 месяца валяются на Ленинградских почтамтах. И тогда нам стало действительно обидно, ведь каждому ясно, чем является для ленинградца письмо. Получить письмо — это значит взять в руки еще одну нить, протянутую из сердца страны, вдохнуть в себя новый заряд бодрости, силы и энергии. И плохой работе ленинградских почтовиков — нет оправдания. Сейчас на почтамты направлены шефы — пионеры и комсомольцы. Письма получаем пачками.

20/II — Сегодня выдают сушеные овощи (150 г)...

*На этом заканчивается дневник, который вел юноша Лев Друскин с 22 июня 1941 года по 20 февраля 1942 года.*

Владимир АЛЕЙНИКОВ

## БИТОВ: ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

С Битовым познакомила меня то ли поздней осенью, то ли в самом начале зимы Змеинового, шестьдесят пятого года, смогистского, для всех, в столице, в провинции, за границей — везде, где знали об этом, Алена Басилова.

Встреча, весьма знаменательная для Андрея и для меня, — начиная с которой впоследствии чередой потянулись долгие годы дружбы нашей, не очень-то на другие дружбы похожей, но зато дававшей обоим нам, неизменно, стимул для творчества, вдохновлявшей то на поступки непредвиденные, такие, что не вмятятся сроду в рамки заурядные, то на какие-то фантастические прорывы в состояния непредсказуемые, с озарениями, со взрывами всех эмоций, всех чувств и слов, и возможных перемещений, по чутью, в пространстве, сквозь время, и увиденных, по наитию, несомненно, земных красот и небесных высей, со звездами, поднимавшими отовсюду нас, хмельных или трезвых, звавшими в путь, вперед, куда-то туда, в даль, которая открывалась перед нами как данность, в боль или в глубь, где крупную соль приходилось нам есть пудами, в бесконечной житейской драме, вырываясь из всяких уз, чтобы новый взвалить нам груз на усталые наши плечи, чтобы жить нам во имя речи, как умеем, — произошла, разумеется, у Алены, в квартире, которую знали в шестидесятых все писатели и поэты, художники, барды, ученые, переводчики, просто люди колоритные, вся богема, о которой впору поэму сочинить мне, в моих-то, нынешних, вон их сколько, седых, полынных и отшельнических, у моря, в киммерийской глуши, где вскоре вспыхнут новых свершений зори, в честь надежд и трудов, годах.

Туда, на Садово-Каретную, в старый дом, которого ныне давно уже нет, поскольку был он позднее снесен, и осталась о нем лишь память, в ту пору, во времена крылатые, отовсюду всех, как магнитом, стягивало.

Алена была звездой, на гребне своей известности, — в пределах московских и питерских, чего по тем временам было уже достаточно, и даже с лихвой, но молва о ней легко достигала и прочих мест, во пределах державы родной, — и там, в отдалении от

---

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Гадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.



столицы, превращалась уже в легенду, неминуемо, при тогдашнем интересе провинциалов к жизни всей, с ореолом запретности и с печатью неофициальности, на творчестве, разношерстной донельзя, московской богемы.

Алена была — знаменита.

Еще бы! А как же иначе?

Поэтесса — из авангардных.

Смогистка. Жена Губанова.

Хозяйка салона известнейшего, где можно увидеть — всех.

Мы очень дружили с Аленой.

В отношения наших была — доверительность. Даже больше — доверие. Вера друг в друга. Приязнь. Свет общения. Радость. Участие — в судьбах: ее и моей. И — открытость. Внимание. Искренность наших поступков и слов. То тепло человечности, отзывчивость и понимание, без которых не мыслил я дружбы. А дружба — была. И — хорошая дружба. Достойная. Мне ли не помнить нынче об этом? И мне ли о ней — не сказать?

Хорошо приняла Алена и супругу мою тогдашнюю молодую, Наташу Кутузову, и сдружилась вскорости с ней.

И заглядывать стали сюда мы, на Садово-Каретную, в дом, где гостям всегда были рады, с ноября начиная — вдвоем.

Нет конца и края у осени, всем казалось. Но выпал снег. Стало холодно. Ветер хлопал чьей-то форточкой, рвал афиши в клочья, гнал их вдоль тротуаров. На деревьях остатки листьев, замерзая, слетали вниз, под ногами хрустели. Дни — уменьшались, тускнели. Ночи — удлинялись. И люди шли между ночью и днем, по кромке ледяной, куда-то в пустоты улиц, вытянутых назад и вперед, в немоту окраин или, в центре, в неровный гул площадей и к огням витринным, к полкам с пищею магазинным, к согревающим тело винам, ко всему, что могло спасти от мороза и от печали, от всего, чего все вначале дожидались, о чем скучали, от всего, что вблизи встречали на нелегком своем пути.

Постоянным нашим желанием было — где-нибудь обогреться, вечерок скоротать, поскольку ни жилья в Москве у меня своего, ни малейшего проблеска в непростой судьбе моей — не было, не предвиделось даже, пока что, хоть на лучшее мы и надеялись, без надежды никак ведь нельзя, и поэтому что-нибудь, может быть, в недалеком грядущем изменится, чтобы так вот не мучиться нам.

Только это — не так уж и важно.

Важно — то, что мы были с Наташей, несмотря на невзгоды — вдвоем.

Важно — то, что дружили с Аленой.

Важно — то, что пришли мы однажды к ней, поскольку звала — и ждала.

Мы пришли к Алене — а там находился недавно приехавший гость из Питера, Битов Андрей, вдохновенный, слегка подвыпивший, разговорчивый, со своей рыжегривой супругой, тоже вдохновенной, немного подвыпившей и веселой, Ингой Петкевич.

Вдохновлялись они, с удовольствием и с азартом, словно игра у супругов была такая, всем, что им на глаза попадалось, всем, что вспомнилось им случайно, всем, что к слову кстати пришлось.

Вдохновлялись — и окрылялись вмиг, на крыльях своих поднимались над Москвой, с ее холодами, и людьми, и огнями, вдвоем.

Настроение у супругов было, видимо, превосходным — говорили они, вперемешку, о высоком — и о своем.

Нам навстречу они рванулись вместе — словно взлетели оба — не на крыльях ли вдохновенья — воспарили, светом лучась.

Что-то было в этом шагаловское. Знать, отмеченные особо. Ирреальности откровенные. С остраничностью зримой связь.

Познакомились мы. Пригляделись: к нам — они, мы — к ним. По традиции, за знакомство хорошее, выпили. А потом — повторили. Потом — уж само собою, добавили. Постепенно — разговорились.

Попросили меня почитать, по традиции тоже, стихи.

Почитал я тогда наизусть все, что в голову мне пришло.

И стихи мои Битову с Ингой — было сразу об этом сказано после чтения — очень понравились.

По душе им обоим пришлись. Вволновали — до слез. А иначе быть, наверно, и не могло.

Был я в ту, бесконечно далекую (от сегодняшнего междувременья, с обнищанием чувств и мыслей повсеместным, неудержимым, с героическими попытками это все же остановить, даже, может, восстановить человечность и дух добра, как поэт утверждал, способный силы подлости, да и злобы одолеть), — золотую пору, вправе так я сказать, — в фаворе.

В молодой своей славе. Боже! Это надо же — молодой.

Вспоминаю — и удивляюсь, поседевший, выдавший виды, встарь срывающий покров Изиды, чтобы к тайнам прорваться вдруг, сам себе, молодому, в славе настоящей, — неужто вправе я хранить ее ответ грустный нынче? СМОГ. Магический круг.

Обо мне — везде говорили. Ждали всюду меня — в столице.

Сочинять обо мне любили (да и любят ведь!) — небылицы.

Зывали меня — к себе, приглашали наперебой — в мастерские художников левых, бородатых и безбородых, в общежития, в институтские залы, в чьи-то квартиры, в комнаты коммунальные, где собирались регулярно, в изрядном количестве, любители и ценители стихов, — почитать, почитать, — пообщаться с поэтом известным, легендарным, скорей повидаться с ним, поскольку возможность такая наконец-то есть, пообщаться с толком, так, чтобы память осталась обо всем, — и еще почитать!

Вот что значит — известность, братцы и сестрицы. То-то и значит.

И забавно теперь, и грустно вспоминать о таком — иногда.

(Вспоминать об этом — теперь.

В дни предательств сплошных и потерь.

В одиночестве. В долгих трудах.

И в ночи — о семи звездах.

И с утра, сквозь щебет пичуг.

И когда тишина вокруг.

И когда налетит норд-ост.

И весной, когда травы — в рост.

И в осенней глуши сквозной.

И зимой, в белизне смурной.

Да и летом, бросавшим в жар.

То-то дан мне блаженный дар.

То-то выпал мне трудный путь.

Постиженья эпохи. Суть.

То-то имя мое — со мной.

Свет небесный — и век земной.)

Но — что было, то было. Слово-то — что с ним нынче такое? — «было».  
Может, слово согдится — «есть»? Оба — дышат. В полную силу.  
Оба — живы. Оба — зовут.  
Из былого. Из настоящего.  
Из грядущего — предстоящего?  
Им обоим? В ладье плывут?  
По волнам? В облаках? Вдали?  
Поднимаются ввысь? Взлетают?  
И туманы под ними тают.  
И склоняются ковыли.  
Оба вспомнятся, как ни волею.  
Время наше — свеча и полынь.

К тому же, в глазах моих современников многих, я выглядел страдальцем и даже мучеником, на себя принявшим страдания и мучения все, боровшимся, средь бесчасья, — за правое дело.

За поэзию. За свободу.

И молва по Москве гуляла, и летела, на юг, на север, на восток, на запад, и там умножалась и разрасталась:

- Пострадал — от властей.
- За что?
- Где?
- Когда?
- Почему?
- За СМОГ!..

Лидер СМОГа. О СМОГе все поголовно в те годы знали.

СМОГ такого наделал шуму, что глухие его отголоски до сих пор повсеместно слышны.

СМОГ — подобье большой войны.

Кто в ней — выиграл? Кто — проиграл?

Мы — прошли сквозь ее горнило.

Все. И — с честью. Что было, то было.

Дух эпохи. Бахов хорал.

Вечер давний тот у Алены оказался не только удачным и не только, для всех нас, памятным.

Оказался он, может быть, знаковым.

Для меня с Андреем — для двух мужиков, совершенно разных, и по возрасту, и по судьбам, но и схожих в чем-то, живущих поэзией, всем настоящим искусством, свободолюбивых, известных в богемных кругах, таких, пусть и каждый по-своему, колоритных, вроде — полярных, но при всем при том родственных личностей, — этот вечер стал самым началом долголетней и сложной дружбы.

И для наших супружеских пар — для меня с Наташей Кутузовой и для Битова с Ингой Петкевич — этот вечер стал добрым началом нашей дружбы — сквозь годы — семьями.

До того, разумеется, часа, когда семьи наши — распались.

Но до этого было в ту пору, слава богу, еще далеко.

А пока что нам было общаться — четверым — всегда интересно.

И полезно, поскольку творчеством жили все мы, — замечу теперь.

Андрею Битову было тогда двадцать восемь лет.

По давнишним богемным понятиям, с парадоксами их и загадками, закидонами и претензиями на солидность и взрослость, — немало.

По теперешним, с их, овеванным преждевременным опытом грустным, выживанием, впрямь искусством, да еще и серьезным, — немного.

Был он строен, скуласт, лобаст.

Беспокоен, плечист, очкаст.

Под настрой, под хмельком — речист.

В каждом жесте своем — артист.

Спину держал — прямо.

Шагал по земле — широко.

В комедию или в драму?

Вписывался легко.

Говорил — уверенно, громко, на низах уходящим в бас, на верхах залетающим в тенор, сочным, бархатно-влажным, густым, пряным, барственным баритоном.

Руки битовские были крепкие, с длинными, твердыми пальцами, на которых бросались в глаза тоже длинные, твердые, странные, заходящие на подушечки пальцев резкими полудугами, желтоватые, вроде когтей, в кожу накрепко вросших, ногти.

Что-то было в этих ногтях, думал я, не совсем человеческое.

Звериное? Птичье? Не знаю.

Подобных — не припоминаю.

Таких вот, изогнутых, твердых, костяных, копытных, когтистых, больше ни у кого я нигде никогда не встречал.

Скулы были — восточные. Азия?

Разгулявшихся предков фантазия?

Или, может, иная оказия?

Вход к отгадке закрыт на засов.

Европейское — близко маячило.

И — довлекло, и что-то да значило.

И — курочило явь, и корячило.

Не носил он — пока что — усов.

Глаза под очками — круглые.

Со слезою набухшею, карие.

Когда же снимал он очки — глаза становились узкими, косящими вроде Монгольскими? Не знаю. Нет, вряд ли. Китайскими? Похоже на то. В чайна-тауне сочли бы его — своим.

— Обе мои петербургские бабки, — сказал, подвыпив, Битов однажды, — немки.

Сделал на этом походя нужный ему — акцент.

Заострил, ненароком, исподволь, без лишних деталей, — внимание.

Словно Джеймс Бонд из фильма. Больше — двойной агент.

Суперпрофессионал, все просчитавший заранее.

Шучу. Все проще, на деле.

Скулы его — бронзовели.

Цвели азиатским огнем.

И немецкое — было в нем.

Было. Вот оно. Вас ист дас?

Тут же выросло — в нужный час.

Из каких же он все-таки немцев?

Понятно, что из обрусевших, причем — обрусевших давно, петербургских, традиционно, для России, считавшихся русскими, но — с немецкими, в прошлом, корнями.

Без конкретики это, без фактов, на поверхности, так, для словца, для случайного упоминания, обтекаемо, без подробностей.

Изначально же — из каких немцев? Может быть, он — из гессенцев?

Представлял я себе, как встарь это племя, довольно странное, во главе с предводителем Кисеком, называемым русами всеми иронически, просто Киськой, издавела, с Востока, от самой границы с Китаем, от рубежей туманных Иньской обширной земли, пришло на русские земли европейские, а потом переместилось и западнее, на земли немецкие нынешние, где часть потомков его, изрядная, обитает и поныне, считаясь при этом, как положено, именно немцами.

Ездили эти люди за забавных, косматых, маленьких, но выносливых, неприхотливых и в походах удобных лошадаках.

Люди эти — носили косички.

Отсюда, кстати, припомнил я сейчас, и пошла эта мода — носить парики с косичками, в столетия прежние, в армии, в Европе, на прусский манер.

Кисековы — или Киськины, если по-русски, — гессенцы.

Не из них ли Андрей? Похоже.

Ну а может быть, из других, вон их сколько на свете, немцев.

Германские племена — кареглазые, круглоголовые.

Их немного было совсем, по сравнению со славянскими.

Остальные, так называемые немцы нынешние, — славяне.

Онемеченные, позабывшие и язык свой родной, и корни.

Светлоглазые, светлоголовые. Жертвы давней ассимиляции.

Прибалтийские русы. И прочие. Древний русский мир — был велик.

Эх, история! Сплошь — многоточия. Ко всему человек привык.

Прорубили — в Европу окно.

И — в России немцев полно.

Прижились. Обрусели — вновь.

Петербуржцы. И — вся любовь.

Предки Андрея какие-то, кажется, по морской части служили. Точно не помню сейчас. У него лучше вы сами спросите.

Его мать, незабвенная Ольга Алексеевна, мне говорила:

— Андрей уже с малых лет знал, что будет писателем. Если спрашивали его, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал он тут же: «Писателем!» И — сами видите — стал.

(От корня идите, граждане любезные, лишь от корня. Спрашивайте. Отвечаю. Отвечайте. Сызнова спрашиваю. Отвечаю — всем тем, что есть у меня, у вас, и у всех. Всем, что есть. Что было. Что будет. Всем. Что есть. У меня. Всегда. Где бы ни был я. Что бы ни делал. Как бы чем-нибудь я ни мучился. Как бы, выжив и встав, ни радовался. Что бы там, на воле, ни пел. С кем бы там, на пути, ни общался. И когда бы в глуши ни жил. В корень смотрите. Помните. В корень. Идите от корня.

И ночь. И день. И весна. И утро. И вечер. И осень. И зима. И свеча. И лампа. И лето. И вздох. И взгляд.

Созвездья седые. Струны. Глухие, в пустыне, луны. Лихие, в тиши, кануны. Кануны. Вперед. Назад.

Прорывы в пространство. Знаки. В степи, за холмами, злаки. Недремлющие собаки. Сады. Пруды. Сторожа.

Сквозь время. Сквозь темень. Звуки. Мгновенья. Забвенья. Муки. Прозренья. Синица в руки. Журавль. Острие ножа.

И ржавь. И наждачный блеск. И скорость, вместо корысти. Приязнь, вопреки боязни. Признание, после болезни. Призвание. Переживанье. Желанье. Имен склоненье. Всех звеньев цепи спряженье. Роенье. Соединенье. Струенье. Сквозь расстоянье. Горенье. Сквозь расставанье. До встречи. Вблизи. Вдали. До неба. И до земли. Сквозь ветер. Сквозь век. Сквозь речь. Куда бы еще увлечь. Туда, где словам просторней. Сквозь корни. В корень. От корня.)

Битов с Ингой довольно часто, чаще некуда, так скажу я, приезжали, вдвоем и порознь, как уж выйдет у них, в Москву.

Литературные, нужные, дела — и общение, важное, для них и для всех остальных, — все было именно здесь.

С ними виделись мы постоянно.

Появившись в столице, они звонили нам. Договаривались о встрече очередной. Мы куда-нибудь к ним приезжали.

Не обходилось без выпивки.

Выпивал Андрей в годы прежние, сколько помню его, всегда.

И не просто, как многие люди, выпивал, от случая к случаю, если повод был подходящий, далеко не всегда, — но и пил.

Впрочем, это дело хозяйское.

Значит, было это ему почему-то необходимо.

Наподобие пищи, требовалось.

Помогало держаться уверенно?

Быть смелее? Мало ли что!

Все когда-то мы — выпивали.

(Это нынче я так давно вообще ничего не пью, что начал подзабывать, сколько именно лет это длится.

И вкус питья позабыл давным-давно. И последствия. И похмельные состояния. Все, что связано было с питьем.)

Выпивали когда-то — все.

Это было — в порядке вещей.

Это был один, просто-напросто, из компонентов общения.

Так скажу я. И это — правда.

Правда — с привкусом алкоголя.

Но — куда от нее деваться?

Вдосталь воли в ней, вдосталь — боли.

Не желает она забываться.

Предостаточно в ней — страданий.

И с избытком — горьких прозрений.

И довольно ли в ней оправданий?

Ну, хотя бы — новых творений?

Разбираться не стану. Поздно.

Все, что было — временем скрыто.

Потому-то и смотрит грозно.

И — не ищет у нас защиты.

И не хочет, чтоб мы — вздыхали.  
Мол, могли бы жить по-другому.  
Правда — с привкусом нашей печали.  
В ясном небе — подобная грому.  
Правда — наша. С ней нету сладу.  
И пощады в ней нет, ни йоты.  
И бежать от нее — не надо.  
Все понятно в ней. С первой ноты.  
Как в мелодии — той, далекой.  
В чистой музыке лет минувших.  
Полнозвучной и ясноокой.  
Поминающей — всех уснувших.  
Продлевающей — песни наши.  
И врачующей — дух болящий.  
Наполняющей — наши чаши.  
Встречей радуя предстоящей.

В Москве Битов с Ингой частенько водили меня с Наташей Кутузовой по своим знакомым, которых было, как и друзей-приятелей, мнимых и настоящих, у молодых, талантливых петербуржцев — хоть отбавляй.

Помню вечные передвижения, торопливые перемещения, туда и сюда, по городу, вечерами, а то и ночами, разумеется — на такси.

Помню, как настежь распахивались двери — и на пороге появлялись мгновенно радостные хозяева, несколько взвинченные, восклицали что-то бравурное вразнобой, приглашали войти.

А там, куда мы приехали вчетвером, — и стол наготове, и, само собою, питье.

Все давно уже навеселе.

И, конечно, просят меня почитать им стихи. Обязательно. И желательно — прямо сейчас.

Вот уж люди! Вынь да положь.

Отказать — неловко. Проверено. Не поймут. Еще и обидятся.

И откуда такая любовь, повсеместная, право, — к поэзии?

Но любили стихи — всерьез.

Время было тогда — орфическим.

И ценил я это умение — понимать поэзию — с голоса.

Не с листа, как теперь, но — с голоса.

И опять приходилось читать.

Было чтение это — искусством.

Те, кто помнят, — небось подтвердят.

Я читал — и меня действительно все, кто были в квартире, — слушали. Еще как! Действительно — слышали. И действительно — понимали.

Понимали — в процессе чтения моего. Понимали — с голоса.

Голос — ключ к минувшей эпохе.

Голос — клич. А может быть — плач.

Голос — выход из лабиринта или, может, из катакомб в темноте бесчасья — на свет.

На вопросы души — ответ.

Я читал — и каждое слово близко к сердцу людьми принималось.

Это чувствовал я. И знал, что стихи мои — им нужны.

Я читал — как пел. Словно музыку создавал — и она звучала, здесь, для всех, посреди всеобщей, чуткой, бережной тишины.

А потом — разговоры всякие, похвалы, благодарные отзывы и восторги, порой умеренные, от которых, тут же смущаясь, я не знал, куда мне деваться.

Только искренность в этом — была.

Неизменная. Несомненная.

И отзывчивость в этом — была.

Долгожданная. Драгоценная.

Та, которой вовек не прерваться.

В одной из подобных квартир, где-то в центре столицы, в доме, с виду старом, стоящем отдельно, в стороне от других строений, бывшем, видимо, просто флигелем, после чтения моего хозяйка, полная, рыхлая, крупная, вся уж очень богемная, из таких, что со всеми — по-свойски, вскочила с места — и, налетев на меня, принялась обнимать, целовать, — и я помаленьку пятился от нее, а она — наступала, надвигалась всем корпусом, шла, как таран, на меня и с каждым шумным шагом своим, и с каждым всплеском белых, пухлых, мясистых, унизанных кольцами рук все оглядывалась на Андрея, повторяя одно и то же:

— Андрей! Ну, спасибо, Андрей! Вот кого ты привел ко мне! Володю привел! Ах, Володя! Есенин! Ну прямо Есенин! Ах, люблю! Хорошо! Замечательно! Ах, Володенька! Милый! Хороший! Какой молодой! Как Есенин! Золотые, смотрите-ка, волосы! Ну, Володя, спасибо! Люблю!

Я не знал уже, как мне быть и куда поскорее спрятаться.

От такого напора — действительно сразу спрячешься. Но куда?

Ничего себе заявления!

Да нашла еще, сравнить с кем, ни с того ни с сего, — с Есениным!

Уж чего-чего, а вот этого я просто терпеть не мог.

Первое, что пришло ей в голову, то небось в порыве своем и выпалила.

А тут еще — возраст мой. Молодость. И стихи. И чуб мой, отчасти кудрявый, золотистый, светлый. И прочее.

Выпитое хозяйкой вино, в немалом количестве, в течение дня, и вечера, и чтения, например.

Не больно-то было приятно мне подобные излияния, даже искренние, не спорю, но чрезмерно бурные, слышать.

Я поглядывал вкось на Битова — что за чушь, мол, что за дела?

Но в ответ он лишь пожимал, театрально этак, плечами да руками все разводил, широко, с каждым разом шире, — что же делать, мол? Знай терпи. Принимай все, как есть. Смирись. Видишь — любит народ поэзию. И поэтов. Особенно — дамы.

Приходилось — и вправду терпеть.

И вино мне — в подобных случаях — пусть на время, да помогало.

Только некий осадок все-таки, горьковатый, — от вечеров, сходных с этим, с полубогемной, полупьяной, восторженной публикой, вроде ряженных, закружившейся в карнавальном, и впрямь повальном, не иначе, водовороте, — все равно в душе оставался.

Битов легко, мне казалось, — и, пожалуй, так все и было на деле — в шестидесятых годах сходил с людьми.

С московскими, подчеркну. Как с питерскими — не знаю. Но, думаю, без особых затруднений, тоже — легко.

И довольно легко, похоже, находил с ними общий язык.

Но везде и всегда, в любом состоянии, и в любой ситуации, и с любыми собеседниками, собутыльниками, соратниками, приятелями, друзьями, — был сам по себе.



Некоторую дистанцию, между собою — и прочими, кем бы ни были эти прочие, до общенья всегда охочие, а до выпивки так тем более, — умел выдерживать он.

Словно черту незримую в воздухе проводил.

Или стену, прозрачную, вроде бы невидимую, надежную, прочную, непроницаемую, меж собой — и другими, запросто, и — привычно, уже — умеючи, как-то разом вдруг воздвигал.

И — все. Закрыт. Защищен.

Там, извне, вблизи, вдалеке, в стороне, — какая-то публика.

Здесь, внутри, за чертой, за стеной, за гранью незримой, — Битов.

Со своими заботами. Многими.

Со своими устоями. Строгими.

Со своими, коль надо, трудами.

Так продолжалось — годами.

Об известности громкой своей, о широкой своей популярности — в Москве, у богемной братии, где возможным было признание, где формировалось общее, немаловажное, мнение, где складывался, с годами, исподволь, постепенно, все более укрепляясь и тяготея к легенде, приемлемый всеми образ, — Битов очень заботился.

Он охотно читал желающим услышать его — свою прозу.

Причем там читал, где и важно, и нужно было, для дела, с прагматизмом немецким отчасти, почему бы и нет, почитать.

Это — всегда срабатывало. Безотказно. Его положение, с каждым действием таким, укреплялось.

Это — исправно работало. На образ, прежде всего.

В самом деле, смотрите-ка, он, вроде бы и печатающийся, вроде бы официальный, так уж вышло сразу, прозаик, — оказывался на поверку вовсе не преуспевшим, не таким уж, везде и всюду, где пожелает, печатающимся, вовсе и не таким, вот ведь как оно повернулось и открылось, официальным, как некоторым казалось.

Выяснялось, тут же, на публике, ну а проще — среди своих, что у него, публикующегося автора, вы представьте только, в столе имеется внушительное количество серьезнейших сочинений, доселе не опубликованных, и даже таких, которые, по вполне понятным причинам, вряд ли могут быть напечатаны в ближайшее время, и даже, по причинам слишком весомым, вряд ли будут в нашей стране изданы вообще.

Упоминались — таинственные «Записки из-за угла».

Постоянно, в разных домах, говорилось — о том, что он усиленно, напряженно работает над романом.

Особенным. Небывалым.

Произносилось название, шепотом, — «Пушкинский дом».

Потом, в свой новый приезд, Андрей привозил, бывало, в Москву главу из романа.

Оповещал знакомых: намерен, мол, почитать.

Устраивалось немедленно чтение. Для своих. В узком кругу, понятно. Без особого афиширования.

Например, на Садово-Каретной, у той же Алены Басиловой.

Собирались вечером — избранные.

Романиста — внимательно слушали.

Читал Андрей — замечательно.

Потом — похвалы, восторги.

Общие. Обязательные.

И догадки вдруг — о подтексте.

О концепции. О структуре.

О приемах. О метафизике.  
О втором или третьем плане.  
О героях. И о сюжете.  
И — гадания: что же — дальше?

И так вот — глава за главой — выслушал я когда-то почти весь его новый роман, знаменитый «Пушкинский дом».

Такие, на людях, чтения — реклама очень хорошая.

Такие, вовремя, чтения — мостики своеобразные, протянутые ко всем — тогдашним, давнишним, — нам, к богеме, не издающейся, не имеющей отношения никакого к официальной, полуподпольной, сытой по горло запретами, братии, — мостики, по которым при некотором желании вполне можно было к нам, в наш вольный стан, перейти, — и тем самым стиралась грань очевидная, и тем самым устанавливалось как будто бы даже некое равенство или же подобие такового, — мол, все мы одна команда, если быть объективным, ребята.

В наведении регулярном таких вот мостов Андрей большим был специалистом.

К тому же, часто читая свою прозу, он приучал к себе московскую публику.

Везде к нему — привыкали.

И все — привыкли, в итоге.

И у Алены Басиловой все считали его — своим.

И у Сапгира его уже считали — своим.

И в доме у Великановых считали — своим. И так далее.

Молодец, Андрей! — ничего по-другому о нем не скажешь.

Ведь был он, вот что существенно, к тому же по-настоящему, и всем это было ясно тогда, еще и талантлив.

Он учился в шестидесятых — на высших сценарных курсах.

Было модно тогда и престижно — учиться на этих курсах.

Приезжали в Москву — из провинции.

По два года жили — в Москве.

Получали исправно стипендию.

Получали — на время — жилье.

Жили здесь — в свое удовольствие.

Фильмы лучшие все смотрели.

С кем хотели, с тем и общались.

К тайнам творческим приобщались.

Ощущали себя уж ежели не избранныками судьбы, то, по крайней мере, удачниками — пусть, согласны, и ненадолго, — но мало ли что, в любой момент, и тем более в будущем, при условии нужных связей, может произойти.

Потом, что правда, то правда, отучившись, набравшись опыта и умения, надо было что-то этакое, особенное, современное, своевременное, интересное, написать.

Сценарий. Оригинальный.

С новизной авторской. Свой.

И — пристроить его, желательно.

(Это было бы замечательно!)

Только это — не к спеху, не сразу.

Это — позже, это — потом.

А пока что — сплошное общение.

И — гульба. И — знакомства. Полезные.

А пока что — свободная жизнь.  
Жизнь — азартная, жизнь — богемная.  
И не где-нибудь — там, в провинции.  
Здесь, в столице. Именно здесь.

На высших сценарных курсах учился, весьма старательно, украинский поэт Иван Драч, основатель будущей «Руха», идеолог, древнего духа почитатель, борец со стажем, широко известный политик, депутат, государственный деятель, а тогда сидевший, по слухам, сиднем, в общежитийской комнате, в окружении москалей, инородцев и всяких прочих, без особых примет, субъектов, с чемоданом своих, авангардных, но с традициями народными, что должны были стать свободными от российских оков, стихов.

Здесь учился отменно хороший армянский писатель Грант Матевосян, печальный, задумчивый, неразговорчивый, весь в своем находящийся мире, там, в горах, вдали от Москвы, тихим творчеством ввысь ведомый от соблазнов земных человек.

Здесь училась тогда же Роза Хуснутдинова. Где ты, проза? Вся — поэзия, тайна, греза, возникала она — вдали.

Появлялась — и струны пели, и луна в ледяной купели отражалась, и к дальней цели всех капризы ее вела.

Стройная, нежная, бледная, восточная странная женщина, такая — одна-единственная, пленительная, таинственная, ходила она в диковинных нарядах, с обритой наголо, завернутой в легкие, мягкие, воздушные, образующие то ли подобие некое тюрбана, то ли какой-то сказочный, не иначе, убор головной Шемаханской царицы, своей точеной, сидящей на лебединой, гибкой и длинной, шее, благоуханной, туманной, высоко — среди богемы — поднятой, легкой, птичьей, змеиной головкой, держа на весу лицо напудренное, с губами коралловыми, с глазами бездонными, темными, томными, искоса, исподволь, нехотя горящими жарким огнем.

Про нее тогда говорили, почему-то — всегда вполголоса или даже — чуть слышно, шепотом:

— Роза очень, очень талантлива!  
Но никто из ее писаний ничего никогда не читал.  
Были — слухи об этом. Домыслы.  
Про талантливость — верили на слово.  
Дева Роза была — загадкой.  
Дива Роза была — звездой.  
Здесь, на высших сценарных курсах.

Здесь учился — Резо Габриадзе.

Вспоминаю, как в ЦДЛ, в шумном, дымном кафе, заполненном разномастными посетителями, в самом дальнем углу, за столиком, до предела забитым бутылками, он сидел в одиночестве, пьяный, уронив тяжелую голову на свои скрещенные руки.

Мы с Андреем к нему подошли.  
Поздоровались. Нет ответа!  
Мы зовем его. Понапрасну!  
Что стряслось? Никого не слышит, ничего не видит Резо.  
Битов тронул его за плечо.

Резо Габриадзе очнулся, медленно поднял на нас опухшее, словно обвисшее вниз, неестественное бледное, отрешенное от всего, что творилось вокруг, в кафе, в этом шуме, и гаме, и дыме, вдохновенное — внутренней, видимо, никому не заметной работой, су-

ществующее отдельно от людей — большое лицо, посмотрел на меня и на Битова очень светлыми, утомленными, с бесконечной тоской по родной Имеретии, чуть мигающими, ну а может быть, и мерцающими, немостою своей говорящими больше, чем любыми словами, по-младенчески робкими, кроткими и по-старчески пронизательными, с умудренной слезою, глазами, — и сказал — словно выдохнул вдруг:

— Я был в России. Грачи кричали. Грачи кричали. Зачем? Зачем?..

И — вновь уронил свою голову вниз, на скрещенные руки.

Слова его были вроде бы знакомы мне. Из Бальмонта?

Сам он был в столице — залетной, по гнезду тоскующей птицей.

Вскоре стал Резо — знаменит.

Это были — сценарные курсы.

(Это вам не из Гоголя — бурса,

Бульба с люлькой, панночка, Вий.)

Курсы — высшие. С перспективой.

И солидной — в кармане — ксивой.

Путь в кино — как бильярдный кий.

Прям и точен: удар по шару.

В лузу! Что же, подбавим жару.

Путь в кино — счастливый билет.

Кто-то вытянул — вот удача!

Только так — и никак иначе.

Впереди — черед побед.

Здесь училась — Инга Петкевич.

Ничего не знаю — писала ли что-нибудь она — для кино.

Здесь учился — Андрей Битов.

Он сценарии — написал. И по ним — поставили фильмы.

Сонмы звезд и комет хвостатых.

След невольный — в людской молве.

Это было — в шестидесятых.

Посреди Союза. В Москве.

Помню, как-то я Инге с Андреем прочитал — наизусть, конечно, — у Алены Басиловой, вечером, в час, когда уже выпито было все, до капли последней, спиртное, и народ по домам расходился восвояси отсюда, лишь мы оставались, и все говорили о высоком, и кофе пили, и, за тихой беседой, курили, и волокна дымные плыли к потолку, — стихи Кублановского.

Ранние. И, по-моему, симпатичные. Со своим, юношеским, с наивной, надтреснутой ноткою, голосом и со своим, какое уж было тогда, лицом.

Не изданные доселе. Старательно позабытые Кубом, в угоду позднему, трезвому его писаниям.

Реакция Битова с Ингой оказалась быстрой и жесткой.

Оба сразу же заявили, не сговариваясь:

— Нет, не то!..

И тогда я Инге с Андреем прочитал — наизусть, естественно, по привычке своей давнишней (и теперешней, признаюсь, только реже это с годами, что ж поделать, со мной бывает, хоть привычка сама жива, сохранилась), — под настроение, в тишине,

которая вдруг воцарилась в Алениной комнате, напряженной какой-то, праздничной, вдохновенной, — стихи Губанова.

Реакция Битова с Ингой была мгновенной, восторженной.

Оба тут же воскликнули:

— Здорово!

Пояснив:

— А вот это — то!..

Почему-то заволновались:

— Леня! Ленечка! Молодец!

Обратились — вдвоем — к Алене:

— Он когда придет, наконец?

— Он в запое, — сказала Алена. — Протрезвеет — и сам придет. Отовсюду, где пьет с друзьями, он дорогу сюда найдет.

Покачал головою Битов:

— Повидаться хочу я с ним.

Рыжей гривой тряхнула Инга:

— Он судьбою своей храним.

И достал из сумки бутылку, им припрятанную, Андрей:

— За Губанова, за поэта, надо выпить — и поскорей!

Вот и выпили мы за Леню.

Ветерок залетел в окно.

Стало грустно тогда Алене.

Горьковатым было вино.

Попрощались мы с нею. Встали.

Вышли в мир, чей был чуток сон.

В ночь, где люди чего-то ждали.

В речь, живущую вне времен...

Однажды в чьей-то квартире мы, как всегда, выпивали.

Я, как и всегда, по традиции тогдашней, читал стихи.

Андрей, запомнив их с голоса, повторял то и дело запавшие в душу ему, глубоко и надолго, видимо, строки:

— Но раскроется роза, и в ней — золотая пчела удивления.

Он ходил, вдоль стола, вдоль стен, — и эти слова твердил.

Стихи были — новые. Много тогда я работал. Не только ведь с Битовым выпивал. Вырастала — новая книга.

Почему-то спросил я Битова:

— Андрей, а сколько ты, в общей сложности, начиная с самых первых вещей, по объему, прозы своей написал?

Битов остановился. Поправил очки. Хлебнул из фужера. Немного подумал.

Покосился на книжный шкаф, где на полках, в полной сохранности, аккуратнейшими рядами, стояли, одно за другим, собрания сочинений самых разных писателей.

Сказал:

— Ну, если прикинуть, как у этих вот, классиков, — тут он показал на книги в шкафу, — то я тома три написал.

Но взгляд его, устремленный на собрания сочинений, чужие, был — это бросилось в глаза мне в ту же секунду, — красноречиво-ревнив.

Наверное, и ему хотелось, конечно, хотелось, даже очень хотелось, и это понятно ведь, написать — со временем, разумеется — свое, вот именно, собственное, из внушительного числа солидных томов состоящее, собрание сочинений.

Похвальное, в общем-то, правильное желание, для писателя.  
Дай-то Бог ему сил для этого.  
И упорства. И воли. И времени.  
Так рассудил я тогда.

Не припомню, чтоб где-нибудь там, где всегда читали стихи или прозу, где пили чай или кофе, а то и покрепче, позабористее, напитки, вроде водки или вина, в основном, где курили — все, говорили, галдели — все, обсуждали — решительно все, что годится для обсуждений, рассуждали порой — о высоком, били — чашки, морды, стаканы, жили — странными новостями и делами среды богемной, пели — часто, с душой, под гитару, знали — всё, обо всех, обо всем, что на белом свете творится, ночью, днем ли, здесь или там, были рады поздним гостям, похмелялись, друзьям звонили и знакомым, куда-то плыли по течению или вспять, чтобы жизнь по новой начать, — слышал я Ингу Петкевич.

Ее взрослая проза, неизданная, о которой все говорили, что она интересна, талантлива, необычна, свежа, оставалась, год за годом, довольно долго, для меня полнейшей загадкой.

Но детскую книжку ее читал я — и книжка эта мне очень, помню, понравилась.

Инга была еще и актрисой. Уж точно — яркой.  
Недаром снималась в кино.  
Пусть в эпизодах. Изредка.  
Пусть даже — в массовках. Неважно.  
Важно — что в жизни была восхитительно артистична.  
Важно — что образ ее вспыхивал в шестидесятых — рыжим огнем — на снегу, пламенем жарким — в дождях.

Инга была — особенная.  
Инга была — солнечная.  
Белая. Рыжая. Жаркая.  
Смех ее — ржание — жарким был.  
Но была в ней порою — прохлада.  
И — таимая ранее грусть.  
Петербургская дама. Привада.  
Европейка. Леди Годива.  
Словно легкая мгла — над Невою.  
Словно рыжая прядь — на снегу.

Любопытная пара была — петербургские гости в Москве — иностранцы почти, люди светские и богемные — Инга с Андреем.

Инга Андрея — не дополняла.  
Инга Андрея — лишь укрупняла.  
Отдаляла порой — от себя.  
Отделяла его — любя.  
И тем самым — вновь укрепляла.  
Над обыденным всем — возвышала.  
Инга была — сама по себе. Вольная птица. Львица.  
В храме ночей, в драме речей — пленница. И — жрица.  
Мерцающий жар зрачка.  
Припухшие губы: роза.

Плечо. Изгиб локотка.  
И разве все это — проза?  
Волос — в огне — завитки.  
В руке — сигаретка. Чары?  
Пожалуй. И в них — силки.  
Для певчего — свыше — дара.

Квартира занятая — в Питере, на Невском. Вблизи — Московский вокзал. Квартира — шарада. Но, может быть, так и надо? И в этом-то — вся отрада? И нет в ней — лишних примет?

Две комнаты. Нет здесь — быта. Раздоры и страсти — скрыты. Подобье гнезда — не свито. Есть — кофе. А хлеба — нет.

Есть — стены, почти пустые. Обои. Две-три картинки. Ворошилов — подаренный мною. Кулаков — подарок от автора — загогулины всякие, вроде иероглифов, с вывертом, — Битову.

Есть — высокие вроде бы — окна.  
Есть — высокие вроде бы — двери.  
Потолок — похоже, высокий.  
Пол — как двор: просторный, пустой.  
Две-три пары туфель в углу.  
Три-четыре чашки. Тарелка.  
Блюдец. Пепельница. Кофемолка.  
Стопки книг — их не сразу заметишь.  
Рюмки. Ложки. Две-три бутылки.  
Сигареты. Часы. Очки.

Есть — письменный стол-корабль.

Огромный. Фрегат на рейде.

За столом — руки вытянув — Битов.

Над столом, за спиной Андрея, на стене, над его головой, — фотография: человек, пожилой, а в руке — сачок, — ловит бабочек? — что за блажь? — взгляд — лукавый, умный, — в упор, и — насквозь, и — навек! — Набоков.

...Петербургские сумерки. Вечер.  
Стол-фрегат. И на нем — капитан.  
Петербургский писатель. Битов.  
И над ним — в небесах — Набоков.  
И за ним — за домами — Нева.  
За Невою — залив. И — море.  
Незабвенные времена.  
Колыханье шестидесятых.  
Полыханье Ингиной гривы.  
Битов. Проза его. Глаза.  
Стол-фрегат. Перед ним — стихия.  
Петербургская ночь. И — речь.  
Значит, стоили встречи — свеч?  
Ночь. Набоков. Очки. Сачок.  
Две слезинки — в ночи — со щек.  
Две ли? Больше ли? Так, две-три.  
Не заметили? Что ж, сотри.

Что же стало, Андрей, судьбой?  
Будь — собою. И — Бог с тобой!..

Как-то исподволь, незаметно, я привык и к тому, что есть он, что присутствует в мире он, и к тому, что пишет он прозу, говорит — всегда интересно, колоритен, оригинален, обаятелен, пьян порой или чуть во хмелю — с друзьями, но в делах — прагматичен, трезв, — и во всем, что делает он, есть, похоже, неповторимость, Божья искра — с людскою волей, что-то свыше — и слишком земное, почва твердая под ногами, над которой — воздуха знак.

Битов — Огненный Бык. Особенный. Он родился — в тридцать седьмом, под созвездием Близнецов, двадцать седьмого мая.

В этот день, в шестьдесят втором, в Кривом Роге, я написал:

— Тучи ушли на запад, бок земле холодя, — только остался запах спелых капель дождя.

Мне было — шестнадцать лет. Писал я тогда, стихи и прозу свою, — запоем.

В этот день, в восемьдесят третьем, умерла моя любимая бабушка, баба Поля, мамина мама, Пелагея Васильевна Железнова, урожденная Кутузова.

Бабушка моя, с ее чутьем и огромным ведическим опытом, поняла Андрея — мгновенно, и потом, позднее, порой очень верно всегда мне о нем говорила.

В этот же день, и тоже в тридцать седьмом, родился мой криворожский друг Рудик Кан.

В этот день, в шестьдесят пятом, перед моим отъездом на Тамань, в Москве, Артур Владимирович Фонвизин, слушая, как я читаю стихи, написал мой портрет.

В этот день, давным-давно, в самом начале шестидесятых, по-настоящему, навсегда, ощутил я себя — поэтом.

Вот какой это день, когда появился на свет Андрей. Вот какой это день. Майский. Под созвездием Близнецов.

Чумаки — в Крым, за солью, — веками ездили на волах. В образе быка громовержец Зевс на спине могучей своей нес по волнам Европу. Быки всегда были рядом с людьми.

Битова — отовсюду — всегда вывозил на себе — огненный Бык. Огненный. Тотем его. Фирменный знак.

Такой же тотем, как у Битова, и такой же знак зодиака был — почему-то вспомнилось это — и у Волошина.

Совпадений и параллелей — восталь. Все — далеко не случайны.

Что за мистика? — скажут. Наша. Наши судьбы и наши тайны.

Битов. Огненный Бык.

Было ли в нем — демоническое нечто? Не было вовсе.

Это — совсем другие категории. Не для того, кто слишком привязан к земле.

Но было в нем — некое постоянное попадание в десятку, неизвестно каким способом, было — как в картах — вечное везение, неизменное двадцать одно, — было в нем — как бы это сказать поточнее? — что-то такое, сфокусированное на нем, откуда-то, — но откуда? — остается только гадать, — будто постоянно был он в направленном на него, световом, хоть и неярком, не бросающемся в глаза, не ослепительном, не магнетически властном, наоборот, неброском, однако — не гаснущем, не исчезающем, наоборот — устойчивом, четком луче — непонятно из какого фонаря, — будто где-то там, и поди гадай — где, неизвестно какие существа — поставили на него, и наблюдают за ним, и помогают ему постоянно, и заботятся о том, чтобы он все время был в выигрыше, был



удачлив, был — на виду, был — в какой-то мере эталоном современного человека, писателя, мужика, с машиной, квартирой, дачей, изданиями, известностью отечественной и заграничной, со своим — отработанным, надо заметить, и не в смысле создания образа, но — проще, определеннее, отработанным — как на работе, в институте ли, на производстве ли, все равно, усердно, по-честному, с бесконечным старанием, имиджем, как сейчас говорят, со своим, привычно солирующим, но никак уж не в хоре, голосом, со своим, давно путешествующим, бодро движущимся в пространстве, в жестких рамках — ему отведенного, на игру его всю, по крупной, на его пребывание в мире, или — существование в яви, без участия прави в нем, без возможного, в будущем, выхода — в измерения новые и в другие миры — дорогого земного времени.

Дорогого. Ведь в нем — успех. Что же! Этимология этого слова — предельно ясна. От другого слова — успеть. Актуально это, не правда ли? Современно и даже — модно: здесь, в юдоли, — взять да успеть.

Все — успеть. Получить — при жизни. Все, что можно. И даже — больше. Непременно — успеть. А потом? Ах, да мало ли что — потом! Важно все получить — сейчас. Поскорее. Сию секунду.

Можно — петь. А можно — успеть. Можно — пить. Но только — не спать. Только — в путь. Успевать. Повсюду. Что-то — можно стерпеть. Но — успеть. И — свое наверстать. И — встать. Меж других. Современным героем.

Надо всем, что мешало, — встать.

Все — успеть. И — свое сказать.

Слово? Именно слово. Как?

Здесь поможет — воздуха знак.

Так сказать, чтоб — не в плач, не в крик.

Здесь поможет — Огненный Бык.

Помогают. Успеть — скорей.

Не горюй о былом, Андрей!

Что за силы? Откуда — весть?

Света — мало. Темноты — есть.

Что за вера? — Во что? В кого?

Чье же — все-таки — торжество?

Чья же — все-таки — здесь игра?

Чье-то *завтра* — его *вчера*.

Чьи же — все-таки — свечи здесь?

Завтра — поздно уж. Нынче. Днесь.

Так, в пределах земных, — вперед.

Что-то оторопь вдруг берет.

Но задерживаться — нельзя.

Где-то в мире — его стезя.

Или, может быть, — вздох о ней?

Где-то на людях — в пену дней.

Как в волну — головой. Нырок.

И — наверх. В суету дорог.

В темноту — как на свет. Не вдруг.

Воздух — знак. На земле же — круг.

В круге дороги — век и миг.

В путь — по кругу. Огненный Бык.

Был ли способен он, иногда хотя бы, а может быть, и довольно часто, поскольку жизнь сама призывала к этому, и не раз, и не два, но многожды, на поступки? Да, разумеется.

Способен ли был — на подвиги? Вряд ли. Ведь здесь нужны — самоотверженность, жертвенность, нешуточное горение.

Андрей был все-таки слишком уж замкнут на всем, что было в нем собственным, личным, удельным, родным, на себе самом, чтобы, во имя подвига, творческого, допустим, пожертвовать вдруг земным своим временем — и движением своим, путешествием, долгим, непрерывным, своим — на север, на юг, на восток и на запад — в пределах земного круга.

Был ли он мне настоящим, добрым, хорошим другом — хотя бы в шестидесятых? Думаю — все-таки был.

Потом, позднее, с годами, — было уже не то. Просто — я это видел, — срабатывала инерция.

Но какое-то неизменное, долговечное изумление в душе его — по отношению ко мне, и к моим стихам, и ко всем остальным трудам, ко всему, что со мною связано, — полагаю, доселе осталось.

Да, осталось. Что живо, то живо.

Был ли он способен, хоть изредка, хоть единственный раз, на предательство?

Не хочу говорить об этом.

Если что и было когда-нибудь — то с него, как известно, и спросится.

Бог ему — да и всем нам — судья.

Битов — не пешеход. Он — автомобилист.

Вереницей, из года в год, чередою долгой прошли, появляясь во всей красе, чтоб исчезнуть потом вдали, в лабиринтах былых дорог, им сменяемые машины.

Он — давно уже за рулем. Словно сросся с автомобилем.

Современный кентавр? Не знаю. Кентавр — существо загадочное. Попробуй-ка разберись — кто он, собственно, был ли он?

В случае с Битовым — все неизмеримо проще.

Он — человек в седле. Мягком. Автомобильном.

Для него машина, любая, — просто-напросто необходимость.

И сейчас впечатляет это. А по старым-то временам — впечатляло куда сильнее!

Марку Андрей держал — во всем. В том числе и с машинами.

Тем не менее были они для него, человека в седле, прежде всего удобным средством передвижения.

Однажды приехал в Москву он — из Грузии — на машине. Без ветрового стекла.

Разбил. Заменять было — некогда. Торопился писатель в столицу.

Да еще и понравилось вдруг — ехать к северу именно так.

Ветер в лицо. Романтика? Может быть. Ну и что?

Гайшники — останавливали. Удивлялись: что за причуда?

Но что они, эти гайшники бестолковые, понимали, если — ветер хлестал в лицо, если прямо в глаза — пространство!

Было холодно, даже очень. Заболеть мог любой. Но — не Битов.

Битов холода — не замечал. Не хотел замечать — и все тут.

Характер. Упрямство. Пристрастие — к дорогам. Воля. Желание — на колесах, без чьей-либо помощи, пусть и в холоде, но — добраться — самому, как всегда, — до Москвы.

И — доехал благополучно. Ничего с ним в пути не стряслось.

Битов был — всегда при деньгах.

Даже в молодости. Неизменно.

Почему-то — умел зарабатывать.

Хорошо, что — умел.

Битов был — всегда на коне.  
С самых первых шагов своих.  
С самых первых своих публикаций.  
С первой книги. И с первой рецензии. Вот на эту — первую — книгу.  
Никогда он коня — не менял. Даже на переправе.  
Через реку? Это — не Лета.  
Через озеро? Это — не море.  
Через море? Это — не бездна, из которой выхода нет.  
Выход — был. Всегда находился. Из любых — везде — состояний. Сквозь любые —  
всюду — преграды.  
Переправиться. Преодолеть.  
Пережить — и добраться. Успеть.  
На ходу. На коне. В седле.  
По земле. По земле. По земле.  
Иногда — над землей. И — назад.  
Четкий принцип и трезвый взгляд.  
На людей. На вещи — в труде.  
Быть — так здесь. Никогда — нигде.  
Не витать в облаках. Есть — путь.  
Видеть смысл в этом. Или — суть?  
Не всегда. Что пером скрипеть?  
Есть — машинка. Издать. Успеть.  
Есть — машина. Дорога — есть.  
Сесть в седло — и... Куда? — Бог весть!

...Пожалуй, надо рассказать о моем дне рождения двадцать восьмого января шестидесят седьмого года.

Мы решили его отметить у Ляли Островской, в ее скромной, но милой всем нам квартирке в деревянном доме на Трифоновской улице.

Мы заранее договорились о встрече у нее, в мой день, вечером, не очень рано и не слишком поздно, часов в семь.

Охотно согласились прийти Наташа Светлова (будущая Солженицына) и Наташа Горбаневская. Тогда ведь я с ними очень дружил.

Ко мне приехал мой давний, еще со школьной поры, друг, Виталик Гладкий.

Я встретил его на Курском вокзале.

Он привез с собой из Кривого Рога, от моих родителей, письма, поздравления и всякие приятные гостинцы.

Мы с ним добрались с вокзала до улицы Годовикова, где я обитал, — и он, человек общительный, обаятельный, сразу как-то пришелся к дому.

И мы поселили его у нас, на все время его пребывания в Москве.

В тесноте, да не в обиде — так все рассудили.

Виталик, человек по-особому, по-украински, умный, пронизательный, весьма острый на язык, едкий в некоторых, только ему одному присущих, выражениях, к тому же еще и подкрепленных неповторимыми его, ироничными, блестящими юмором, интонациями, характерными его жестами, человек, владеющий сызмала яркой, сочной, меткой, образной речью, поблескивая своими карими глазами из-под очков и откидывая со лба косо срезанный клин запорожского чуба, рассказывал мне о наших общих криворожских знакомых и о жизни в родном городе.

Мне с ним было всегда интересно.

С тех еще пор, когда мы вместе по утрам ходили в школу, а потом, уже днем, возвращались домой.

С тех еще пор, когда вместе с ним учились мы в техникуме.

С той, блаженной и блаженной, поры нашей ранней, старательно взрослеющей, провинциальной юности, когда мы, там, в нашей, относительной, конечно, да все-таки глуши, постигали открывающуюся перед нами жизнь.

Был он всегда независим в суждениях. Обо всем на свете имел собственное мнение. Говорил только о том, что сам хорошо знал. То, чего не знал еще, старался узнать — сам.

Такой он, везде и во всем, несмотря на свою компанейскость, несмотря на общительность, несмотря на свой интерес к людям, к самым разным проявлениям жизни, был одиноличник.

Превыше всего дорожил он своей независимостью.

Надо заметить, это ему как-то очень всегда шло.

Оригинальность, единственность — вот что его всегда отличало и выделяло среди прочих.

Другого такого — не было. Да и быть не могло.

Наша старая дружба продолжалась во времени, казалась нам обоим крепкой, более того — нерушимой.

Я и сейчас, пусть и не виделись мы с ним давно, считаю его настоящим своим другом.

А в шестидесятых — это был золотой мой друг. И постоянный собеседник. А иногда и советчик. Потому что, как уже говорилось, обладал он особым, тяготеющим к синтезу, способным угадывать самое главное, глубоким, гибким и острым умом.

И мы с Виталиком чудесно проводили время. Нам было о чем говорить, было куда ходить.

На свой день рождения, разумеется, пригласил я и его.

Виталик откликнулся на это по-своему.

Он не стал размениваться на приобретение дешевого вина, он отправился в магазин и купил там пару бутылок болгарской «Плиски».

Поступок, в те времена, когда мы на всем экономили, решительный.

Он принес эти симпатичные, пузатенькие, приземистые, но с узким горлышком, темно-зеленые бутылки, ценою в пять рублей двенадцать копеек каждая, что меня, в ту пору вечно считающего каждую копейку, поскольку наличных средств у меня всегда было в обрез, поначалу смутило, а потом развеселило и даже вдохновило, и невозмутимо присоединил их к уже купленным накануне мною и поставленным плотной шеренгой в сумку бутылкам самого дешевого вина, столового и портвейна, а заодно и небрежным жестом бросил туда же несколько пачек вполне приличных сигарет с фильтром.

Таков был его скромный, но весомый вклад «в общий котел», как тогда выражались.

Все у нас вроде было приготовлено для дружеского вечера.

К тому же со своей стороны, и приглашенные мною дамы по традиции должны были принести кое-что из еды и питья с собой, прямо к Ляле.

Поразмыслив, я позвонил Андрею Битову и пригласил его, вместе с Ингой Петкевич, его тогдашней женой.

Андрей твердо пообещал прийти, но чтобы не запутаться с адресом, попросил встретить его на трамвайной остановке.

Мы взяли нашу поклажу, вышли втроем — я, Наташа Кутузова и Виталик Гладкий — на проспект Мира, сели в подкатившийся к нам из продуваемого холодным зимним ве-

тром, сквозного, режущего и гудящего транспортом, продольного, утомительно длинного, долгого, от Колхозной площади до ВДНХ и дальше, обреченно смирившегося с непрерывным движением, отчасти напоминающего аэродинамическую трубу, пространства, светящийся запотевшими окнами, бодро позванивающий, красный, как ягода на снегу, трамвай — и довольно быстро добрались до Лялиного дома.

Там, в тепле, в уюте, встретили нас Ляля и обе Натальи, Светлова и Горбаневская.

Там они сразу же принялись меня поздравлять.

Там разгрузили мы свою тяжелую сумку.

Там уже накрыт был стол.

И мы, отдышавшись с мороза, усевшись за столом, не откладывая дела в долгий ящик, принялись по-дружески пировать.

Однако я иногда поглядывал на часы.

Надо ведь было встречать Битова с Ингой.

Время это подошло. Я оделся и вышел на улицу.

На трамвайной остановке пришлось мне довольно долго стоять и ждать своих запаздывающих гостей.

Наконец увидел я знакомые фигуры — Андрея, несколько набычивавшегося, то наклонявшего крупную голову вперед, то откидывавшего ее назад, куда-то за плечи, но спину по привычке державшего прямо, и его жены Инги Петкевич, в вихре рыжих волос, весело и громко ржущей, хохочущей.

Но с ними вместе были и незнакомые люди.

Один из них, довольно высокий, худой, очкастый, держался вроде бы с некоторой отстраненностью от всего, что происходило рядом, но одновременно и так, будто все вокруг вертелось именно вокруг него, как вокруг оси, то есть чувствовал себя, похоже, главным, осознавал себя хозяином положения. Почему я это сразу же увидел и отметил? Не знаю. Но первое впечатление всегда самое верное.

Второй, маленький, тщедушный, совсем уж хлипкий какой-то, находился будто бы в тени высокого, худого, очкастого. Видно было, что он старался далеко от этого высокого не отходить, вообще — держаться поближе, почти вплотную. И когда он удалялся от этого высокого — несомненно, того, от которого он зависел, покровителя, даже, может, хозяина, хотя бы на небольшое расстояние, то тут же оглядывался назад, замедлял шаг и норовил опять прибиться поплотнее к высокому, притулиться к нему. На плече этот маленький держал гитару.

Создавалось впечатление, что этот пока что неизвестный мне высокий вел еще неизвестного мне маленького, как собачонку, на поводке.

Вся компания двинулась ко мне. Все они были навеселе.

Андрей и рыжегривая Инга шумно поздоровались со мной.

Потом Андрей представил меня незнакомцам:

— Это Володя Алейников, замечательный поэт. Прошу любить и жаловать. У него сегодня день рождения. Мы пришли к нему в гости.

Произнеся своим артистическим голосом эту рядовую тираду, Андрей представил мне высокого и маленького незнакомцев.

Поначалу — высокого:

— Вадим Кожинов.

Церемонно и сухо, чуть-чуть, всего лишь на полсекунды, склонив голову и тут же выпрямив ее, Кожинов пожал мне руку.

Потом — очередь дошла и до маленького:

— Николай Рубцов.

Скорчив почему-то гримасу, маленький небрежно, как смятый газетный кулек с закусью где-нибудь в пивной, протянул мне влажную, скрюченную ладонь и тут же отдернул ее, словно боясь обжечься.

— Вот и познакомились! — резюмировал Битов. — Ну что, куда идти? Пора, пора праздновать. Мы запоздали, конечно. Ты уж извини, Володя. Но зато и у нас тут кое-что есть с собой.

В карманах и сумках у компании выразительно звякнули бутылки спиртного.  
Я повел их за собой.

Они поднялись вслед за мной по скрипучей лестнице наверх, вошли в Лялину квартиру, их встретили там достаточно приветливо, — но что-то сразу же здесь изменилось.

Что-то нарушилось. Почему?

Нарушилось, и все тут.

Я чувствовал вторжение чужеродной энергии.

Новые гости разместились за столом.

Достали принесенные бутылки.

Немедленно принялись их открывать.

Полилась в стаканы водка.

Свою дешевую, глухо, обиженно звякнувшую струнами гитару, доселе закинутую на узкое плечо, Рубцов сразу же прислонил к стене, позади себя.

Он придвинул свой стул поближе к столу.

Его сейчас интересовало только одно — водка.

Он вожделенно смотрел на стаканы, наполняемые Битовым.

Получилось так, что пришедшая компания расположилась за столом напротив нашей.

Верховодил в компании — Кожинов.

Он сидел посередине, и с одной стороны от него сидел Битов, а с другой — Инга.

А вроде бы и здесь же, но как-то в сторонке все же, сидел Рубцов.

Гости наполнили стаканы, подняли их — и, произнеся краткий тост в мой адрес, осушили их.

Мы все вынуждены были привыкать к их присутствию в Лялиной квартире.

Я подумал, что им, в сущности, наплевать было и на мой день рождения, и на всех нас, если не Андрею с Ингой, такое вряд ли могло быть, то уж точно — Кожинову с Рубцовым.

Но поскольку Битов с женой пришел с ними, то и эти питерские люди, считавшиеся моими друзьями, оказывались в другой команде, не нашей, а кожиновской.

Да так оно и было.

Вначале они просто выпивали и закусывали, весьма обособленно, с некоторым вызовом даже, что и было всеми нами незамедлительно замечено и как-то неприятно резануло, по живому.

Наташа Горбаневская встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату.

Вслед за нею вышла Наташа Светлова.

За Светловой вышел и я.

Наша хозяйка Ляля, растерянная, покрасневшая, пыталась не замечать неприятных для нее черт в поведении совершенно незнакомых ей, озадачивающих, чужих людей — Кожинова и Рубцова.

На Битова с Ингой она, зная, кто это, время от времени поглядывала, будто надеясь, что вот-вот они сумеют все смягчить, уравновесить.

Наташа Кутузова — молча курила.

А Виталик Гладкий — сразу понял все.

Губы его, как это с ним в подобных ситуациях всегда бывало, сжались, образуя направленную концами вниз, твердую подковку.

В его глазах, за стеклами очков с большими диоптриями, разгорелся огонь негодования.

Он весь напрягся, помрачнел.

Видно было: в случае чего — он за словом в карман не полезет.

Он оглянулся на меня.

Издали я сделал ему знак, чтобы потерпел, подождал.

Он хмыкнул и нехотя качнул головой.

Потом налил себе в рюмку немного «Плиски» и залпом выпил.

В соседней комнате я подошел к моим подругам Натальям — Светловой и Горбаневской.

Наташа Горбаневская стояла бледная, нервно курила.

— Кто это такой, тот, высокий, в очках? — спрашивала ее Наташа Светлова.

— Как? Ты не знаешь? — вскинула на нее близорукие, огорченно моргающие глаза Горбаневская. — Это же Кожинов!

— Кто? — удивленно переспросила Светлова.

— Ну Кожинов, Кожинов. Тот самый. Ну вспомни!

— Ах, тот самый Кожинов? — Светлова вспомнила. — Ну и что? Раз пришел, так пусть уж сидит. Что делать?

Выдержке ее можно было позавидовать.

— Милые мои дамы! Никто его сюда не звал! — грустно сказал я. — И Кожинов, и Рубцов — пришли с Битовым. Некстати, конечно, все это. Больше того: зачем? И мне то — каково теперь?

— Не огорчайся, Володя! — утешила меня Наташа Светлова. — И не такое бывает.

— Вот уж точно! — вздохнула Наташа Горбаневская.

— Пойдемте-ка за стол! — решительно сказала Светлова. — Будем отмечать Володин день рождения.

И мы втроем вернулись за стол.

Вечер наш продолжался.

Уж так, как сложился.

На противоположной стороне стола шла обычная, заурядная пьянка. Там говорили все больше о своем, непонятном для нас.

На нашей стороне — шло тихое застолье.

Кожинов обратился вдруг ко мне:

— Сколько вам лет исполнилось, Володя?

— Двадцать один, — ответил я.

— Моей дочке почти столько же! — сказал Кожинов. — И что же, стихи пишете?

— Пишу, — сказал я.

— Почитаете нам?

— Почитаю, пожалуй, — сказал я ему. — Но только сегодня — мой день рождения. Поэтому раз уж вы привели его с собой, пусть вначале почитает Коля Рубцов. Потом,

надеюсь, почитает Наташа Горбаневская, замечательный поэт. А после Наташи почитаю и я.

Андрей Битов с интересом слушал меня. Его, видно, удивило такое распределение очередности чтения.

— Володя Алейников — гениальный поэт! — сказал он, обращаясь к Кожину.

— Ну-ну, — сказал Кожин, — посмотрим, послушаем.

— Ладно тебе, Андрей! — отмахнулся я. — Ты уж прямо этак патетично, категорично заявляешь. Не смущай меня.

— А я так считаю! — заявил Битов, обращаясь опять-таки к Кожину.

Тот сделал каменное лицо.

— Володя — гений! — воскликнула Инга, встряхнув рыжей гривой. — Мы у нас дома, в Питере, читали вслух его стихи, целых две книги. И все в восторге были. И даже письмо ему тогда же написали и отправили. Было письмо? — спросила она меня.

— Было, — сказал я.

— Ну вот, — Инга радостно заржала, — было.

— Ребята, — сказал я им, — хоть у меня и день рождения, но мне, поверьте, неловко такое слушать.

Рубцов сидел, надувшись. Молчал.

Что-то было в облике его от подростка, что-то — от старичка.

Рубцов молчал — будто ждал какой-то команды.

И такая команда последовала.

— Коля! — обратился к нему Кожин. Обратился ласково, мягко. Но — требовательно. — Коля! Почитай нам. Ты же такой хороший, просто замечательный — русский поэт. — Кожин сделал сознательное ударение на слове «русский» и покосился на нашу сторону стола. — Почитай, Коля! Надо читать!

Рубцов, не глядя, протянул вперед руку к бутылке с водкой, налил себе полный стакан, выпил его, поставил на стол, вытер длинноватым для его руки, широким растрюбом прячущим его ладонь, рукавом пиджака нервически искривленный рот, затем, точно так же, не глядя, протянул другую руку за спину, достал гитару и пристроил ее у себя на коленях.

Он ударил по струнам, которые скрипнули, звякнули, но никак не зазвучали.

Играть он явно не умел.

Может быть, так, немножко. Приблизительно.

Он ударил по струнам — и вдруг запел, и даже не запел, а заголосил, потом сразу же перешел на негромкий речитатив.

Гитару он держал то как гусли, то как балалайку. Она была скорее антураж, реквизит, нежели музыкальный инструмент.

Он — произносил, полупел, говорил нам свои стихи:

— Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...

Он преобразился. Похорошел.

По его некрасивому, простоватому, маловыразительному лицу прошло вдруг — видение красоты.

Прошло, но в глазах — осталось.

Кожин смотрел на него задумчиво, с нежностью.

Битов растерянно моргал покрасневшими глазами.

Стихи рубцовские — песня, баллада, реквием, плач — звучали в тишине.



Мы внимательно слушали.  
Стихи были действительно хороши.  
Они — жили, звучали.  
Были они — настоящими.

(Когда-то я записал свое ощущение этого давнего вечера, впечатление свое от этого рубцовского чтения, которое было таким обособленным от Москвы, от людей, от вообще всего, таким обреченно-поющим, неожиданно сильным и ярким, что запомнилось мне навсегда.

— Тот вечер — за снегом. Там — грань между жизнью и смертью. Там — времени горечь, и там же — его милосердие. Незримые нити упрямо тянулись оттуда к дорогам и судьбам, к рождению мира и чуда. Четыре души поднимались над гулом застольным — виталицы-птицы в юдольном родстве своевольном. О том, что почуяли, струны чуть слышно звенели — все это мы свяжем потом с круговертью метели...)

Потом Рубцов читал и другие свои стихи.  
И мне они — нравились.  
Да и всем — на нашей стороне стола — нравились тоже. Талантливый человек, это было ясно.

Кожинов победоносно поглядывал на нас.  
Еще бы! Рубцов — его, кожиновская, гордость, его открытие.  
Его подтверждение — собственных теорий.  
Его фигура — в его, кожиновской, литературной игре.  
А мы все, и особенно — мы с Горбаневской, — что мы?  
Что мы — для него, стратега и тактика литературного, но еще и практика, так сказать — матерого, железного реалиста?  
Посторонние люди, да и только.  
Всем своим видом, всем поведением своим он это нам показывал.  
Ну что ж, валяйте, стратег и тактик.  
Торжествуйте, коли очень уж хочется.  
Так я тогда рассудил.

(И вспомнил я то, что рассказывал мне однажды Битов, будучи в подпитии, с откровенностью, странной в те годы, и тем более для него, тоже стратега и тактика, можно считать, уверенно, без фонарей и ариадниных нитей, ориентировавшегося в лабиринтах тогдашней литературной жизни, официальной и неофициальной, сразу на двух фронтах, о Кожинове и о том, как всего лишь одна кожиновская полупричуда радикальным образом повлияла на его, битовскую, литературную судьбу.

Кожинов был зятем Ермилова. Того самого, злостного гонителя Маяковского.  
У Андрея вышла в Ленинграде первая книга прозы — «Большой шар».  
Время было — печально известным, по хрущевскому приказу, временем всесоюзного разгрома формалистов.

Под эту гребенку попадал и Битов. Книгу его питерское литературное начальство и подыгрывавшие начальству, подсуегившиеся, услужливые исполнители решили — громить. Уже готовы были разгромные статьи, которые вот-вот должны были появиться в ленинградской печати.

И тут, буквально накануне готовящихся событий, грозящих обернуться для Битова роковыми, то ли по пьянке, то ли с похмелья, битовскую книгу прочитал Вадим Кожинов. И книга эта почему-то очень ему понравилась.

Он решил сделать доброе дело — поддержать молодого прозаика. Он написал хорошую рецензию.

И что же — дальше?

Он принес ее своему зятю, Ермилову, и предложил подписать ермиловским именем. Тот — подписал.

Рецензия, приветствующая выход битовской книги, да еще и за подписью Ермилова, сразу же появилась в «Литературной газете». Появилась накануне разгрома. То есть — вовремя. Еще немного — и было бы поздно.

Можно себе представить рожи питерских литературных чиновников, которых вдруг, вот так, разом, обезоружили!

Сам Ермилов написал! Хвалит Битова.

Дело следовало переигрывать.

И вместо разгромных статей появились в питерской прессе — хвалебные.

И литературная судьба Андрея Битова была — отныне и навсегда — узаконена и определена.

Вот на что способен бывал Кожин.

И вскоре Андрей с ним познакомился.

Об остальном — говорить не хочу. Незачем. И многоточий — тоже не надо. Мало ли как оно, в прежние времена, бывало!

Те, кто хотят, сами пусть говорят.

Но захотят они — вряд ли.)

Наш вечер январский — длился.

Лялин дом — деревянный скворечник — поскрипывал и пошатывался, постанывал и вздыхал.

За окнами — разгулялась метель.

Рубцов читал стихи.

Я слушал его внимательно.

Мне было не только интересно, дело было в другом.

Вдруг понял я, что он — не русский человек, а скорее — из какого-нибудь угро-финского племени.

Потому что — не русское это мышление, не стержневое.

И образная система — иная, более северная, глухая, лесная.

И сам строй стихов, сам звук — блеклый, белокровный какой-то, белесый, синешушый, торфяной, каменистый, мшистый.

Чувствую это — и все тут.

И не переубедишь меня.

Знаю, что — так.

О следовании есенинской линии и всему прочему, нарочито-русскому, подчеркнуто-российскому, кондовому, якобы — кровному, я уж и не говорю.

Но какая же это русскость, если это — другая кровь?

А с нею, разумеется, и совсем иная песня.

Что за странная глухота — на эти основы основ — у таких вот, мнящих себя знатоками русскости, вроде Кожина, литературных деятелей?

(Некоторое время спустя я высказал свои догадки Битову.

И что же услышал я от него?

— Оказывается, Коля Рубцов по национальности — вепс! — вот что сказал мне Битов.)

Ну конечно. Вепс. Угро-финн. Но никак не русский.

Лишний раз убедился я в том, что чутье у меня — непростое. Речь! Умейте слушать речь.

И все тогда — вам откроется.

Но немногие это умеют.

И отсюда — все казусы, все нелепицы, все последствия их глухоты.

Слух на речь — не привьешь, не внедришь по приказу.

Или он есть — или нет его.

Слух на речь — это Божий дар.

Но его в России — не ценят.

Рубцов между тем отчитал свои лирические стихи — и, вдохновившись вниманием слушателей, а еще, само собой, подкрепившись опять спиртным, перешел на какие-то истерично-задорные, разухабисто-ироничные песенки.

Что-то вроде:

— Стукнул по карману — не звенит. Стукнул по другому — не слышать. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать.

Или такое вот:

— Ах, что я делаю? Зачем я мучаю больной и маленький свой организм? И по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм? Скот размножается, пшеница мелется... — Тут я уже позабыл слова, а заканчивалась песенка неожиданно прозорливо и грустно: — Так замети ж меня, метель-метелица, так замети ж меня, так замети!..

Это уж совсем не понравилось мне.

Однако именно январская метель-метелица и замела его — четыре года спустя, в Вологде.

Там и погиб он от рук доведенной им до отчаяния, истерзанной им, вконец униженной, измученной женщины. Противно и больно об этом говорить.

Знаю жестокие подробности, но не хочу их здесь излагать.

Не один я об этом знаю.

Думаю порой: и откуда такая жестокость, такой садизм — в этом вот маленьком, тщедушном, переполненном самомнением, закомплексованном человечке?

Поэт? Ничего себе поэты пошли...

Талант? А мало ли вокруг талантов?

И никто с ними сроду не возился, не пестовал их, не выхаживал, не пропагандировал, писания их не издавал.

Есть у Рубцова — несколько хороших стихотворений. Десяток наберется.

Но зачем — делать из него знамя?

Что за бред? Очередной российский перебор.

Алкоголик, псих и садист — и на тебе, прямо на знамя его!

Сказать бы: окститесь, опамятуйтесь!

Да кому — говорить? Таким же, двойственным, раздвоенным, под личинами разными собственную мерзость прячущим, что ли?

Российские парадоксы.

Отечественный абсурд.

Отсутствие слуха. На речь.

И — правды. И чести. И совести.

И уже в тот давний вечер что-то и трогало меня в Рубцове, но что-то, еще не сформулированное, но — чуемое, превышающее — то, первое, трогательное, заслоняющее его, уже почти вычеркивающее, отталкивало.

То, что я говорю здесь, — это мое мнение.  
Никому его не навязываю.  
Но свою правоту — знаю.  
А время — еще обязательно скажет свое весомое слово.

Потом — читала Наташа Горбаневская.  
Читала — свои великолепные стихи шестидесятых, стихи — выражение сердцевинного времени шестидесятых, стихи, которые так бесконечно дороги мне.  
И ее — слушали.  
И Кожинов — напряженно, внимательно — слушал.  
И Рубцов — да куда ему было деваться? — тоже слушал. Наташа — поэт. И другого такого доселе — среди пишущих женщин — нет.

Потом — читал я.  
И меня — слушали.  
И Кожинов — заинтересованно даже — слушал.  
И Рубцов — ревниво, насупившись, этаким букой, не туда, выходит, попавшим, где его всегда привечали, но поскольку здесь выпивка есть, тоже вроде бы слушал — не слыша.

Но слышал меня — Битов. Инга Петкевич — слышала. Слышали меня — мои друзья.

Ну а после того, как мы почитали стихи, взял гитару Вадим Кожинов — и запел. Хорошо, душевно. Пел он вроде и сдержанно, тихо — да все же с надрывом. Не без этого. Русские, старые — тактик, стратег — или, может, главарь несусветного лагеря? кто он? — ответа не ждите, не скажет никто, и не знает никто, просто — вечером зимним хмельной человек, — романсы он пел. Захотелось, наверное, петь — вот и пел. Что же! Вольному — воля.

Далеко уже за полночь было. Время пело, цвело, губило. В нем росла молодая сила. Но чего мы в нем дождались?

Фонари в нем горели где-то. В нем казалось мечтою лето. В нем хотелось тепла и света. Постепенно мы все разошлись.

Вот и вспомнил я свой давнишний, для меня и теперь не лишний, — в шестьдесят седьмом, невозвратном, ну а может быть, незакатном, — день рождения, со стихами, всеми судьбами и веками, что столпились гурьбой во дворе, — звук из прошлого, знак в январе...

...В Ленинград сорвались мы неожиданно, как-то сразу, под настроение, по наитию, не иначе, да, конечно, в конце апреля, в шестьдесят седьмом, окрыленном и еще счастливым году.

То есть, в общем-то, не совсем уж так вот, будто бы в сказке, неожиданно. Поехать-то нам хотелось давно. Хотелось — все больше. Привыкли бывать мы в Питере. Поехать туда опять мы очень даже хотели. Да только не знали, когда же конкретно сумеем выбраться.

Все решилось, как и всегда у нас в те годы, на удивление просто, само собой.

Свободные дни у нас были. Как ими распорядиться? Да вот и распорядились. Настроение — если не все, то, бывало, многое значило.

Сидели с Наташей Кутузовой, супругой моей, в гостях. Томились Москвой. Весною веяло в окна. Весною — значит пространством. А время — что оно, время? Все оно — наше. Конечно же, наше. В молодости его было у нас предостаточно. Звало нас больше — пространство.

Был вечер. Мы пили вино. Горела свеча, оплывая.

И вдруг мы решили: едем! Прямо сейчас, не откладывая. Вернулись к себе, собрались. И — напрямиком на вокзал.

Обычно мы путешествовали, по привычке своей, налегке.

Сумка через плечо. В ней — самое необходимое из вещей. И — в дорогу, вперед!

Поезда на Питер в то время из Москвы отправлялись с четкой, отлаженной регулярностью, часто, один за другим.

Билеты стоили дешево. Доступны они были — всем.

Потому в минувшие годы молодежь повсюду и ездила так охотно и постоянно. При некотором желании можно было тогда объехать хоть половину страны.

Несмотря на дни оживленные, взбудораженные, предпраздничные, мы легко купили билеты.

И вот уже ехали в поезде, по направлению к Питеру, — и вагон был полупустым, и мы с комфортом устроились на нижних удобных местах, — и ночь была впереди, с ее огнями и станциями, с ее лесами, полями, разбуженными весной, с ее темнотой, прохладой, со все возрастающей скоростью летящего в завтра поезда, чтоб утром сойти спросонок нам на ленинградский перрон.

Что, разумеется, утром ранним и произошло.

Побродив немного по городу, мы поехали в гости к Битову, в еще незнакомое Токсово, на дачу, прямо по адресу, оставленному Андреем, — и вот, оказавшись за городом, довольно легко разыскали в поселке Глухую улицу, и на ней — деревянный дом.

Нас встретили там супруги — Инга Петкевич с Андреем.

Они были рады гостям — и мы были рады хозяевам.

Затевался, конечно, стол. Как тогда полагалось — с выпивкой. От нее никто не отказывался. С чего бы? Наоборот: возведя ее в ранг традиции, к ней — стремились, ее — поощряли, без нее — так всем нам казалось — обойтись было невозможно. Потому и куплено было в магазине, по счастью — ближнем, ритуальное, неизбежное, да побольше, с запасом, питье.

Андрей, оживленный, подвыпивший, то и дело шел в угол, к проигрывателю, и ставил одну и ту же заигранную пластинку с забористыми частушками.

Почему-то частушки эти, трень да брень, ему очень нравились.

И в доме, довольно просторном, под треньканье балалайки, звучало, с упрямством дятла, глухое, лесное «чо»:

— Милый, чо? — Да я ничо, ты целуешь горячо. Если люди что и скажут, это все для нас ничо.

Пластинка, шипя, останавливалась. Андрей подходил к проигрывателю и ставил ее опять.

И звучало косноязычное:

— Не ходи ко мне талды, колды мне шибко неколды, а ходи ко мне талды, колды мне будет есть колды.

Эти «талды-колды» сидели у всех в печенках.

Но Андрей все никак, вдохновляясь этим «чоканьем», не унимался.

Он восторгался — звучанием. Фонетика непривычная — очень его занимала.

Остальные — просто терпели.

Наконец игрушка ему вроде бы надоела.

Инга с Наташей дружно, облегченно вздохнули — и сразу же занялись женским делом своим — приготовлением скромной, но необходимой закуски.

Мы с Битовым вышли к озеру.

Плотные, белые, с жилками лиловатыми, облака появлялись, одно за другим, чередой сплошной, впереди, из-за темного леса, описывали в смутном небе крутую дугу и заваливались назад где-то за нашими спинами.

Финские, мшистые, топкие, непривычные глазу места, чухонские, — это уж точно.

Вода спокойная в озере, отражая широким зеркалом серовато-синее небо с наползающими облаками, отливала холодным, скользким, как змеиная шкурка, упругим, растекающимся вдоль берега, убегающим вдаль, к другому, лесному, дикому берегу, пульсирующим, подвижным, ртутным зловещим блеском.

Возникало порой ощущение не то чтобы зазеркалья, но места очень уж странного, непонятного, слишком чужого, находящегося уже за той ощутимой гранью, до которой всегда простиралось привычное и родное, и во всей своей отрешенности от всего, к чему тяготела и рвалась доселе душа, — даже ненужного ей, потому что иные здесь ритмы у природы и у людей.

Было вроде бы и тепло, но не так, чтобы сразу не чувствовать вначале даже приятной, но вскоре — досадной, как-то незаметно, упрямо, настырно заполняющей, заслоняющей, обволакивающей зачем-то все вокруг, многослойной, пресной, знобкой озерной прохлады.

Андрей говорил оживленно:

— Побудьте у нас! Подольше. Выпьем. Поговорим. А утром — баньку истопим. Погуляем потом, все вместе, побродим по нашим окрестностям.

Не помню, что же на это отвечал я ему. Но только времени на путешествие было у нас маловато. Погостить здесь немного — это одно, а вот загоститься — не в наших было такое. Мера всему, согласитесь, всегда нужна.

Мы вернулись на дачу. И вот — началось у нас дачное, дружеское, продолжительное застолье.

А потом, как это бывало и всегда, по традиции нашей, попросили меня хозяева, ближе к вечеру, ощутив настроение подходящее как-то вдруг, почитать стихи.

Я давно уже, с той поры, как приехал сюда, заметил лежавшую на столе, среди разных бумаг, наверное — рукописей хозяев, Ингиных и Андреевых, мою осеннюю книгу шестьдесят четвертого года, самиздатовскую, конечно, мною перепечатанную на тонкой, хрустящей бумаге и подаренную в Москве, однажды, при случае, Битову.

Я взял со стола эту книгу — и стал, чуть прикрыв глаза, волнуясь, читать стихи свои, лишь изредка в текст заглядывая, больше — читая по памяти.

Восторги Андрея с Ингой после чтения моего оказались на редкость бурными.

Битов размяк, расчувствовался. Глаза его, близорукие, карие, повлажнели.

А Инга, слегка потряхивая своею рыжей гривой, как леди Годива, громко, решительно, назидательно, подчеркнуто твердо, с укором, напрямую, ему сказала:

— Вот видишь, какие стихи! А ты взял сюда с собой Володину книгу — да так до сих пор ее и не раскрыл.

Андрей покраснел, смутился. Неуклюже начал оправдываться.

Пришлось мне его поддержать:

— Да ты, Андрей, успокойся. Слышишь? Не переживай! Книга моя — у тебя. Еще успеешь, поверь, начитаться. Стихов у меня много, ты сам это знаешь. Прочитать их все сразу, оптом, да еще потом и усвоить — дело все-таки непростое. Стихи мои — вот увидишь — сами к тебе придут. Пришли ведь сами — другие мои книги стихов. Вот и эта книга — сама придет. Будь уверен. Так все и будет. Я-то знаю, что говорю.

— Да, да! — оживился Андрей, левой рукой вытирая глаза, а правой — уже всем в стаканы вино наливая. — Те книги — сами пришли. Действительно, замечательные книги! Помнишь, мы даже прислали письмо тебе, общее, от всех петербуржцев, о том, что все от стихов твоих, Володя, мы просто в восторге?

Я ответил:

— Помню, конечно! Хорошее было письмо.

(Это письмо, подписанное Андреем, Ингой, а также еще и множеством лиц, знакомых мне и незнакомых, из тогдашней богемы питерской, да вдобавок и разрисованное художниками, постоянно, при любом подходящем случае, вспоминал почему-то Битов.

Наверное, для него сам факт отправления мне этого коллективного, дружественного письма был особенно важен.

В нем говорилось о том, что, собравшись однажды в квартире у Андрея с Ингой, на Невском, начали было люди питерские читать, вслух, стихи мои, сразу из двух моих книг, подаренных давно Андрею в Москве, поначалу — читали выборочно, и вдруг — увлеклись, да так, что решили не останавливаться, покуда не прочитали обе книги, от корки до корки, — а это ведь больше полутора сотен вещей, примерно.

Восхитившись моими стихами, люди питерские богемные тут же, прямо на месте, немедленно, написать мне решили общее послание, — что и сделали.

В послании говорилось, по-питерски, определенно, прямо, без оличностей, от лица всех собравшихся, слушавших и читавших стихи, о том, что я — гениальный поэт, что книги мои — гениальные.

В чем собравшиеся и подписываются.

Получив конверт разрисованный, с еще более разрисованными, густо, одна к другой вплотную, чтоб все поместились, испещренными многочисленными подписями людскими, листками внутри, в конверте, был я тогда приятно удивлен и, конечно, рад.

Высказывать свое мнение никому ведь не возбраняется. Решили его немедленно высказать — вот и высказали. Правильно, значит, сделали. Так они все считают.

Значит, есть в стихах моих нечто такое, что может радовать и волновать людей.  
И слава богу, что — есть.)

Мы с моей супругой Наташей провели у Андрея с Ингой на даче славный денек, с беседами интересными, с прогулкой, с долгим застольем, с чтением, по традиции тогдашней, моих стихов.

Поздно вечером, утомившись, разместились мы все на ночлег.

А утром — поблагодарили хозяев за гостеприимство, символически с ними выпили, как положено, на посошок — и поехали снова в Питер.

Там были — прочие наши знакомые. Многочисленные.

Там — это самое главное — можно было бродить по городу. Просто — гулять. Ходить. Мы это любили делать. В Питере обязательно надо много ходить. Лишь тогда вам откроется — город. Магический. И отчасти — зазеркальный. С жизнью особенной. Жутковатый. Прекрасный. Единственный. Другого такого — нет.

Набережные. Мосты.  
Снов и страстей черты.  
Чья это весть? Навь —  
посуху и вплавь.  
Сгинет, и вновь — явь.  
Значит, ее славь.  
С правью дружна она.  
Днесь на земле — весна.

В Неве — небывалая, странная, промежуточная вода. Текучая. Очень подвижная. Связующая крепкой нитью Ладогу с Финским заливом. Река — артерия. Вена с движу-

щейся, пульсирующей, циркулирующей внутри густой, беспокойной влагой. Вода глубинная, темная. С едким блеском. Гулкая. Дымная. Туманная. Хмури и хмарь. Иногда — смоляная. Порой — иссиза-серебристая. Пепел, зола. Гарь. Полночь. Заря. Встарь. Белые ночи. Дни — в дымке. Еще взгляни. Не усни, как-то вдруг, ненароком. Не спи. Получше смотри. Нева — меж двумя сосудами сообщающимися. Нить. Связь. Отводная трубка. Природный канал. Или, может, рукав. Короткая. И широкая. Тугая — от внутренней силы, от буйной стихии водной, — распирает ей порой, изнутри, — и выходит она из берегов, разливается. И случаются — наводнения. Река — мираж. И — фантом. Протянутая, как рука, в пространство, — к заливу, к морю. Вытянутая — на запад. В Европу. И дальше. К Атлантике. К морской, к океанской стихии. Нева — и пронзительный ветер. Нева — и безумный век. Нева — и время. Чье? Наше. И — судьбы. И человек. Нева — и город. Пальмира Северная. Здесь сыро. Или холодно. Или — жара. Или — завтра. Или — вчера. Сновидение? Или явь? Наваждение? Что же, славы! Нутряная вода. Дремучая. Болотная. И пучинная. Вода — ну, стерва! Оторва. Курва? Скорее — прорва. Вода — непрерывная. Вечный двигатель. Непререкаемая. Прочная. Неиссякаемая. Вода — из-под льда. Небо — в воде. В небе — вода. Вода — навсегда. И над нею — звезда.

Город... Ох, этот город!  
 Всем городам город.  
 Город — распахнутый ворот.  
 Круговорот лет.  
 Выход — куда? В Европу?  
 К морю? А вдруг — к потоку?  
 Ветер — откуда? С моря?  
 Фосфорно-мглистый свет.

Петербург, одним словом. Питер.  
 Со своим притяжением сильным.  
 С бесконечно-коротким прощанием.  
 С неизменным потом прощанием.  
 С неизбежным к нему возвращением.  
 И — числом календарным, неожиданным, обернуться нежданной встречей когда-нибудь снова готовым.

Петербург, со своим столь знакомым и все-таки сызнова, странно, до жути, а там только шаг до блаженства, разительно праздничным, исстари — новым, решительным, в прибалтийских дождях крещением.

То-то нам, со своим — в пространстве и сквозь время — перемещением, был он — правом на волю, был — маревом, заревом, кровом.

Нам открыт был наш век повсеместно.  
 Коль сумеешь — всему внимай.  
 Но — Москва есть Москва, как известно.  
 И в Москве продолжался — май...

...Однажды, в шестидесятых, услышав мои переводы с грузинского и расчувствовавшись до слез неожиданных, Андрей решил попытаться их напечатать, а если получится, то, может быть, и стихи мои напечатать, хотя бы подборку, для начала пусть неболь-



шую, но и то хорошо, в моем-то положении, — и повел меня, человека, не издаваемого во пределах родных, в редакцию журнала «Дружба народов».

А вернее — повез. И — с комфортом. На машине. Своей, разумеется.

Был он автором в этом журнале.

Все его там прекрасно знали.

Все — любили. А как же — иначе?

Это — Битов, это — Андрей.

И его — нельзя не любить.

Вот мы с ним и поехали. Вместе. Не на выпивку. По делам.

За рулем он сидел уверенно и, по-своему, театрально, словно летчик-ас за штурвалом быстрокрылого самолета.

Очень шло ему это, все-таки — не ходить, как другие люди, по делам или просто так, — но именно ездить. В машине. Просто так. Потому что — нравится. И особенно — по делам.

Битов был — на коне. В седле.

На мягком сиденье своем восседал он свободно, привычно откинувшись на скрипучую, при торможенье пружинящую и такую удобную, что воспевать ее можно, спинку.

С места срывался резко — и машина его, вливаясь в потоки шумные транспортные, вырываясь из них, обособливаясь, летела, скользила, сквозила, стремилась, вперед и вперед, по вздымавшей свои этажи к небесам то слева, то справа, расстилавшей асфальт под колесами, чтоб удобнее было ехать вдаль куда-то, к желанной цели, беспокойной, бескрайней Москве.

Добрались до редакции. Вышли на скрипучий, утопанный снег. Захлопнули дверцы. Шагнули, один за другим, за порог.

Внутри было тесно, тепло.

За столами, плотно заваленными громоздящимися, наподобие восточных ступенчатых пагод, бумагами в папках с тесемками и грудями всяких книг, сидели какие-то люди.

Оказалось, что сплошь — это надо же, что за чудо журнальное — дамы.

Завидев Битова, все они оживились, заулыбались.

Закричали:

— Андрей! Андрей! К нам пожаловал сам Битов!

И волнение их охватило — да такое, что растеряешься с непривычки, — ведь как ликуют! Словно праздника дождались.

Дамы с мест уже поднимались — и рвались навстречу Андрею.

Дамы пели что-то по-птичьи, щебетали, охали, ахали.

Дамы — рады были Андрею.

Битов — здесь!

Какая работа?

Подождет работа.

— Андрей!

— Как мы рады!

— Здравствуйте, здравствуйте!

— Вот сюрприз так сюрприз!

— Андрей!

— Вы надолго к нам?

— Вы откуда?

— Вы куда?

— Вы к нам?

— Наконец-то!

- Дождались!
- Мы рады!
- Андрей!

Дамы — рады. И Битов — рад.

Мне — пути уже нет назад.

Мне — стоять и молчать. И — ждать.

Что же — дальше? Да что гадать!

Андрей, сняв очки, протирая запотевшие стекла платком, огорошил восторженных дам заявлением громким своим:

— Я привел к вам сегодня поэта гениального. Да, это правда. Вот знакомьтесь, Володя Алейников. Перед вами, сейчас. Он — гений.

Дамы — все до единой, услышав это — сразу оторопели.

Я смутился. Взглянул на Битова.

И сказал:

— Ну зачем же — так?

— Ничего! — дружелюбным тоном успокоил меня Андрей. — Говорю все, как есть. Как думаю. А народ — пускай привыкает.

И народ — все дамы, сраженные наповал словами Андрея обо мне и моей гениальности несомненной, — с трудом привыкал.

И к тому, что я молод совсем.

И к тому, что явно стесняюсь.

И к тому, что Андрей говорил обо мне, безусловно, всерьез.

Нас обоих, поэта с писателем, двух друзей, пригласили присесть.

На расшатанном стуле, сжимая свою старую зимнюю шапку с опущенными ушами, в помещении теплом снятую, расстегнув пальто, размотав шарф на шее, руки сложив на коленях, глядя смущенно вдаль куда-то, поверх голов, я сидел под взглядами, быстрыми, перекрестными, любопытными, дам притихших редакционных, элегантных и молодежавших, неуютно себя ощущая и не зная, куда мне деваться.

Битов, глядя на дам ласково, но и строго, из-под очков, с профессорской ноткой в мягком, низком, с баритональным бархатом властным, раскатистом голосе, невозмутимо, уверенно, продолжал говорить обо мне:

— Володя — следует помнить всем — основатель СМОГа.

Дамы переглянулись мигом. И — напряглись.

Битов сурово спросил их:

— Знаете вы — о СМОГе?

— Как же, как же! Конечно, знаем! — быстро ответили дамы.

И вновь меж собою, с таким значением, переглянулись.

Эх, грустно подумал я, вот он, преткновения камень! Теперь-то все уж точно, точнее некуда, не впервой ведь это, пропало.

Говорил же я, специально, по дороге сюда, в редакцию, говорил, и серьезно, Андрею, чтоб запомнил: ни слова о СМОГе!

Так нет же, ну как нарочно, с этого он и начал.

Будто не знает, чего стоил мне этот СМОГ — и как это все обернулось жестоко потом для меня.

И еще неизвестно совсем, сколько лет, может, всю мою жизнь, потому что бывает всякое, предстоит мне все это расхлебывать.

Да чего уж теперь! Слово — сказано. А оно, как известно каждому, и особенно в нашей стране замечательной, не воробей.

К тому же и это приставшее ко мне величание — гением.  
Ну разве нельзя без этого хоть когда-нибудь обойтись?  
Приклеилась, как ярлык, и не отдерешь, и не пробуй, ко мне, задолго до СМОГа, эта самая гениальность.

Можно ведь было представить меня сейчас поскромнее.

Люди — сплошь незнакомые.

Кто я такой — для них?

Так, молодой человек.

С Андреем сюда пришел.

Может так быть? Может.

Мало ли что он захлеб им обо мне рассказывает!

Люди они — казенные, подневольные, государственные.

В советском печатном органе, под надзором властей, работают.

Редакционные люди.

Люди — официальные.

А тут, ни с того ни с сего, — СМОГ! Да еще и — гений!..

Андрей между тем, указывая на меня простертой ладонью, продолжал говорить внимающим любимицу писателю дамам:

— Володя Алейников — знать об этом следует вам — знаменитый молодой поэт. Вы читали его стихи?

— Нет, не читали! — взоры потупив, ответили дамы.

— А я вот, представьте, — читал! — сказал им с укором Андрей. — И продолжаю читать. И наизусть кое-что могу прочесть, при желании. Замечательные стихи!

— Верим, верим! — сказали дамы.

— Надо стихи Володины издавать, — сказал им Андрей. — Может быть, с этим в дальнейшем и возникнут какие-то сложности. Я вполне допускаю это. Но Володю — надо издать. Сейчас. И потом — издавать. И я вижу, кажется, выход. Переводит Володя с грузинского. Замечательно переводит. Я слышал. Мне — очень понравилось. И ведь это — как раз для вашего журнала. Рекомендую вам — его переводы!

— Ах, так? — опять меж собою переглянулись дамы. — Ну, это другое дело. С этим у нас куда проще, нежели со стихами. А то, как сказать-то вам, знаете ли, — обратились они ко мне, то ли ансамблем слаженным, то ли наперебой, да это уже и неважно, ведь всех их воспринимал я от смущения, от ощущения себя здесь — белой вороной, — всех заодно, вот этих редакционных дам, во множественном числе. — А то, ну как объяснить, понимаете ли, Володя, — СМОГ. Мы ведь в курсе дела. Не на луне живем. Кое о чем наслышаны. Стихи напечатать — сложно. А вот переводы ваши с грузинского — это можно попробовать напечатать.

— Вот и попробуйте! — твердо и призывно сказал им Андрей.

На стенах редакционного тесноватого помещения разглядел я, резко сощурившись, какие-то надписи, подписи.

То, что в столбик записано, — это, скорее всего, стихи, — догадался я, не пытаясь прочесть хоть одну строку.

А короткие надписи — видимо, афоризмы, остроты всякие.

Ну а подписи — вон их сколько там — их отсюда и не разглядишь.

Редакционные дамы увидели, что смотрю я, сидя на стуле расшатанном и шурясь, на стену, исписанную от пола до потолка почти, во всю ширину, так, что и места на ней свободного не остается.

— Володя! — журча и звеня приветливыми голосами, обратились они ко мне. — А вы нам прямо сейчас что-нибудь не напишете? Стихотворение. Или хотя бы четверостишие. У нас — такая традиция. Наши любимые авторы свои автографы нам оставляют — вот здесь, на стене.

— Да вы ведь, поймите меня, ничего моего и не знаете! — совсем уж смутился я. И растерялся даже немного. Потом спохватился и продолжил: — Так вот, неожиданно, с места в карьер, спонтанно, я не привык. Вы меня врасплох застали. К тому же — я ведь не ваш еще автор. Вы уж простите меня, но писать я сегодня не буду ничего. Если случай представится — то еще напишу, потом.

— Ну, потом так потом. Понимаем! — дружелюбно сказали дамы.

Андрей с интересом писательским наблюдал, как я, деликатно вроде бы, но и решительно, проявляя характер твердый, на ненужную мелочовку не покупаясь, отказываюсь оставлять в редакции этой, по капризу дам, свой автограф.

— Да хоть что-нибудь напиши, — подзадорить меня он попробовал неуклюже, — любые строчки. Хочешь, я подскажу тебе, что здесь можно сейчас написать?

— Нет, нет, Андрей! — отмахнулся я от него. — Спасибо. Не надо. Нельзя так вот, сразу же, лишь бы обнародовать что-то свое, хотя бы на этой стене, привлекать людское внимание любым, даже этим, поспешным и ненужным, в общем-то, способом

— Ну, как хочешь! Дело твое! — пожал плечами Андрей.

Дамы снова переглянулись.

— Вы, Володя, — сказали они, — приходите к нам. Со своими переводами. Кстати, они с собой у вас или нет?

Я ответил им просто:

— Нет.

— Вот и ладно! — сказали дамы. — Ничего. Это все поправимо. Вот мы с вами договоримся — и придете вы к нам с переводами, на машинке перепечатанными, как положено. Хорошо?

Я сказал:

— Хорошо, я приду.

— Переводы ваши внимательно мы посмотрим, — сказали дамы, — и обсудим потом их, и что-нибудь, посоветовавшись, решим.

— Смотрите и обсуждайте, советуйтесь и решайте. Обязательно! — сделал акцент на слове последнем Битов.

— Ну что же, Андрей, — сказал я, взглянув на него вначале, а потом и на дам-редакторш, — мы вроде договорились. Пойдем? Наверно, пора!

— Пойдем! — согласился Андрей.

Попрощались мы с милыми дамами.

— До свидания!

— До свидания!

— Заходите к нам!

— До свидания!

Белых ручек легкие взмахи.

Взгляды быстрые — и пытливые.

— До свидания!

— В добрый путь!

И — улыбки, почти Джокондины.

Холодок подведенных глаз.

Восклицания:

- В добрый час!
- До свидания!
- Ждем!
- Привет!

Потемнел ли впрямь — белый свет?

Или — рано темнеть ему?

Что за странности? Не пойму.

Иль неймется Третьему Риму?

Снег нагрянул. За снегом — дым.

Город замер — и стал седым.

Время СМОГа?

Мы вышли — в зиму.

Андрей открыл дверцы машины.

Мы забрались вовнутрь.

— Ничего из этой затеи не выйдет! — с грустью, нахлынувшей внезапно, вымолвил я.

— Почему? — озадачился Битов.

— Потому. Потому что — СМОГ.

— Ну и что? — Андрей удивленно посмотрел на меня. — Ничего я, получается, не понимаю.

— Зато я хорошо понимаю, — так ответил ему я тогда. — СМОГ, Андрей, это значит — запрет. СМОГ — это чуть ли не рок. Для меня — хороший урок. СМОГ — это значит — и нынче, и впредь — не пускать на порог. В редакции, например. И газетные, и журнальные. И, само собою, в издательства. Там ведь не идиоты законченные сидят. Все они хорошо знают — и все понимают. Директивы и распоряжения, сверху идущие к ним, старательно выполняют. В том числе и о нашем СМОГе. Там напрямую сказано, по-советски: не издавать! Там, в циркулярах этих, я, между прочим, первым номером числюсь. Так-то. По алфавиту, естественно. Поскольку моя фамилия с буквы «А» начинается. Да еще потому, что власти не желают меня печатать.

— Да? — протянул Андрей. — А я им начал — со СМОГа. Я ведь хотел — как лучше.

— Сказал бы ты им или вовсе ничего не сказал о СМОГе, — пояснил я устало Битову, — это не столь уж и важно. Все равно они, эти дамы, сразу же сообразили бы, что я-то и есть тот самый Алейников. Тот, которого приказано — не печатать.

— Но все-таки ты попробуй, — буркнул Андрей, — принеси им свои переводы. Вдруг да получится с публикацией?

— Принести-то я принесу, — сказал я, — да вот относительно публикации — сомневаюсь. И даже не сомневаюсь, а знаю, уже сейчас: ничего с ней, увы, не получится. Время такое — сложное — у меня. Свежи у властей наших воспоминания — о недавнем прошлом, смогистском, как его именуют, моем. Появляюсь я часто на людях или редко — везде я чувствую неприятное, странноватое, с подковыркой какой-то, внимание — ко мне, ко всему, что я делаю, что говорю и так далее, и внимание это значит — непрерывное наблюдение. Плевал я на это, конечно. Да противно, поверь. И грустно. Терпеть приходится. Что же делать? И ждать, как всегда. Жить — и ждать. Да только — чего?

Битов, блеснув очками, закурил, взглянул на меня как-то искоса, сквозь белесый дым табачный, и промолчал.

Шумно вздохнул. Завел машину. Тронулся с места. Быстро довез меня до дому.

Сильный, белый, обильный, спящий, резко, наискось, густо летящий, с грустью, к радости предстоящей, снег округу заполонил.

Снег, скрывающий все обиды, все следы, от покрова Изида к легким радугам светлой Ириды уносящий все, что хранил.

Снег — белизна. Как с чистого листа — в несусветной темени.

Снег — пелена. Что ж, выстоим сызна — в чистом времени.

Пелена, за которой, похоже, никакого просвета не видно.

Белизна, за которой все же проясняется что-то скрытно.

Попрощались мы, как-то наскоро, без особых эмоций, с Андреем.

Почему-то — устали оба.

Говорить было вроде бы не о чем.

Все и так уже было сказано.

Нитью вьющейся с чем-то связано.

С чем? Поди угадай. Попробуй.

Снег казался — белой чащобой.

Дымом. Скопищем зимних дум.

Битов был насуплен, угрюм.

Знать, на это была причина.

Зафырчала его машина.

Он уехал на ней — сквозь снег.

Словно тихий покинул брег.

Вдаль умчался. И — вглубь. И — ввысь.

Вихри снежные поднялись.

Белизна сомкнулась вокруг.

Снег — и СМОГ. Словно брат и друг.

СМОГ — и снег. Словно да и нет.

С черным вечером — белый свет.

Я остался один, в глубине тишины, посреди снегопада.

Постоял. Поглядел — куда?

В неизвестность, скорее всего.

И — пошел домой восвояси.

Хлопнула дверь подъезда.

Лифта я ждать не стал.

По сырым, скользким ступеням поднялся на четвертый этаж.

Позвонил. Подождал. Мне открыли.

Я стряхнул с себя снег — и вошел...

Переводы в «Дружбу народов» я принес. Потом. С неохотой.

У меня их — взяли. Сказали, что посмотрят. Что надо звонить, узнавать... С публикацией этой ничего, конечно, не вышло.

Все заглохло — само собой. Будто не было ничего.

Кроме зимнего дня — и снега.

Кроме снега — и слов о СМОГе.

Кроме снега — и зимнего сна.



---

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

---

Вера ХАРЧЕНКО

## ФЕТ И КОСМОС

Об Афанасии Фете написано немало: библиография по творчеству Фета в 2016 году уже содержала 608 позиций, а к 2020-му, юбилейному для Фета году наблюдается выход еще ряда работ, что неудивительно: поэзия Фета приковывала самое пристальное внимание еще при жизни поэта. Фет дружил с Толстым, пытался заниматься земледелием, но при этом был еще и философом, изучал Платона, Шеллинга, Шопенгауэра, замечательно переводил античных авторов. «Лучше твоих переводов не читал, да, признаюсь и читать боюсь и, могу сказать, боюсь не найти в них той красоты подлинника... без которой немислима поэзия», – 16 марта 1892 года писал Фету Яков Полонский. Но главное, пожалуй, заключается как раз в том, что Фет сочинял свои удивительные, дивные стихи, которые до сих пор волнуют активно мыслящую публику. С детства, с юности хранит наша память: «Шепот, робкое дыханье, / Трели соловья...», «На заре ты ее не буди, / На заре она сладко так спит...», «Мама! Глянь-ка из окошка – / Знать вчера недаром кошка / Умывала нос...», «Я пришел к тебе с приветом / Рассказать, что солнце встало...».

Далековато до космоса? Конечно! Но тем не менее проблема космического в творчестве Афанасия Фета остается значимой, если не сказать краеугольной.

Большинство исследователей подходят к проблеме «Фет и космос» через мифологию Фета. Так, Г. П. Козубовская рассматривает проблематику мифа, подчеркивая, что мифопоэтика Фета не была предметом специального исследования, представления о Фете как о поэте сменились другой установкой: Фет выступал только как предшественник символистов. На преодолении такого подхода и выстроена вся эта книга<sup>1</sup>. И да-

---

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинин (Тверь), окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного национального исследовательского университета. Автор более 600 научных работ и пяти поэтических сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали ВВЦ (ВДНХ). Живет в Белгороде.

<sup>1</sup> Козубовская Г. П. Поэзия А. Фета и мифология. 4-е изд., М.: ФЛИНТА; Наука, 2016. 320 с.

лее следуют три трактовки мифа: миф как сон, миф как игра и миф как принцип бытия и мышления. Скажем здесь же, что книга вышла 4-м изданием, что тоже весьма значимо, поскольку все творчество Фета в ней последовательно и интересно интерпретировано сквозь столь характерную для XVIII—XIX веков мифологию. Здесь и изменения мифологического сюжета, и мифопоэтическая картина мира у Фета (*ночь, огонь/свет, солнце...*), и лирический субъект с его метаморфозами. Мифология автором понимается удивительно широко и максимально конкретно, что в соединении дает уникальную картину, относящуюся к Фету, и только к Фету.

Согласимся, что мифология в прошлых веках была значительно действеннее, нежели сейчас. Более того, интерес Фета к античности, возникший в годы учебы в пансионе, не ослабевал на протяжении всей жизни поэта. Об этом можно прочитать у В. Боткина, А. Дружинина, а также у А. Голенищева-Кутузова, В. Львова-Рогачевского, и в этом отношении Фет равен Пушкину, как утверждает Г. П. Козубовская. Процитируем: *Так в художественном мышлении Фета оформляется «скульптурный миф» греческого искусства, в котором допустима деформация природы ради красоты* (с. 22).

Почему мы подробно останавливаемся на этой книге (а она скорее монография, нежели учебное пособие!), так это потому, что хотя у мифа Фета вроде бы и писали, но Г. П. Козубовская находит свое видение, делает свое значимое обобщение, отталкиваясь от поэзии Фета, от конкретных строк и стихов. «Пространственные локусы» — здесь рассматриваются следующие, как сказали бы мы, концепты. Это горы, стороны света, сад, лес, дом, дорога, водные локусы, время. Все раскрывается по отдельности, но в целом вырисовывается комплексная картина лирики поэта. *В поэзии Фета гора — граница, разделяющая два пространства, снежное и мятежное, по вертикали и горизонтально* (с. 116). Другой локус — «суточный цикл» вбирает в себя ночь, день, временные меры и поэтические символы времени, а также музыкальное время. «Сквозные образы» — это сон, зеркало, музыка. Получается, что раскрытие мифологии у Фета выстроено на раскрытии ключевых слов, последовательность, расположение которых уже говорит о многом.

Рассуждая о космическом у Фета, вчитаемся в некоторые выводы: *Таким образом, первый способ изменения интерпретации мифа связан у Фета с мифологизацией сюжета, что находит выражение в игре с сюжетом и со временем* (с. 47). *Фет как бы выносит культуру за скобки, обращаясь напрямую к мифу... вместо мифа, осмысленно-го как культура, предстал миф, понимаемый как природа* (с. 49). *В поэзии Фета любимая им идея о взаимосвязи микро- и макрокосма реализуется в поиске адекватных средств для выражения внутренних переживаний «природного» человека* (с. 163).

Мы выделили сейчас наиболее значимые места, показывающие (это важно!), что природное у Фета трактуется на порядок выше «культурного». Эти идеи книги подтверждены щедрой цитацией стихотворений Фета, дополнены фрагментами его переписки, но также обязательными отсылками к работам Б. Эйхенбаума и П. Флоренского, С. Аверинцева и С. Лурье, А. Ф. Лосева и К. Бархина, Ю. М. Лотмана и Т. В. Цивьян. Всего задействовано в книге 193 источника, почему мы и считаем, что это, повторим, скорее монография, а не учебное пособие.

Суть литературоведческого анализа может быть хорошо видна на примере мифологемы души, находящейся между «болью» и «сладостью». *«Боль» репрезентируется в перерастании одной субстанции в другую; так возникают цепочки, в основе которых муки блаженства от ощущения слияния боли и радости* (с. 167). Далее анализируется цепь: *цветок — пчела — звук — мед*. «Я» и «ты» не только взаимопроницаемы, но могут обращаться в каждое из явлений органического мира. А еще далее речь заходит вообще о немоте, молчании, в которых выражается благоговение перед красотой мира: *«иду*



я молча», «и я стою уже безумный и немой». Так что вывод, к которому приходит исследователь в самом конце изложения, представляется доказанным, обоснованным, валидным. Таким образом, «огонь» и «вода» как космические субстанции — проявление волнения (трепета, вдохновенья), страданья, возбуждающего исчезнуть, потонуть, сгореть, воспарить, вознестись — одним словом, «стать природой» (с. 171). Мифология мифологией, но главное, подчеркивает исследователь, «стать природой».

Возьмем другой подраздел книги: «Лирический герой как единство субстанций: метафорика Фета». Сначала вычерчиваются параллели: 1) душа — свет («И я знаю — низойдут их яркие лучи ко мне и трепетом, и песней»), всего рассмотрены здесь три ассоциации), 2) душа — волна (вода): «А нынче — как моя душа, волна светла» (одна ассоциация), 3) душа — вода — музыка: «И мои зазвучат песнопенья, — но в зыбучих струях ты найдешь разве ласковой думы волненье, разве сердца напрасную дрожь» (в третьей позиции анализируется шесть ассоциаций). Но это не все. Далее раскрывается, что лирический герой существует у Фета в двух полярных состояниях: выделенности из природы и слияния с ней. «Все растет и рвется вон из меры». И наконец, сугубо романтическая проекция: человек и его тень. Встреча с тенью у Фета драматична, тень становится предвестием выпадения из времени, но в то же время тень рассматривается как «живительница подземного царства». Исследователь проводит разницу между трактовкой тени в ранней лирике поэта и в поздней лирике, именно с этим «сопряжен ужас от встречи с собственной тенью» (с. 185). Но кроме «тени» речь заходит о «раздвоении» человека, о двойственных оценках («...я уже не знаю, что добровольным зовется и что неизбежным на свете»), об обострении ощущений радости и счастья перед закатом. И вот самый конец подраздела: Психологическая основа метаморфоз — оборачиваемость состояний; по Фету лирический экстаз сродни безумию: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик (с. 187).

Миф как Космос и миф как текст исследуются в связи с поэтикой Фета, по-своему преломляющей законы Космоса. Это новое знание? Безусловно. «Стать природой» — принцип бытия и мышления Фета, сформулированный в поэзии, — означает переход русской поэзии на новую ступень освоения мифологии.

Так умно, доказательно и, главное, понятно написана вся эта книга. Приведем еще один отрывок из «сквозных образов: макро- и микромира». Ключ к пониманию фетовского женского изображения — зеркало: смягчая действительное, оно создает идеальную проекцию, в которой проявляются провиденциальные свойства зеркала как отгадчика судьбы: «В этом зеркале под ивой уловил мой глаз ревнивый сердцу милые черты... Мягче взор твой горделивый... Я дрожу, глядя, счастливый, как в воде дрожишь и ты»... Так зеркало становится выражением эстетических принципов поэта (с. 211).

Книга замечательно выстроена и выполнена. Она действительно раскрывает тему «Поэзия А. Фета и мифология». Мифы — это утопии? Может быть, однако... «Кажется, что рисовать утопии бессмысленно. Но отказ от них означает отказ от будущего» (Хорхе Луис Борхес). Впрочем, призывать современных поэтов к изучению мифологии вряд ли уместно. Мы подробно продемонстрировали, как тема космоса раскрывается у Фета через постоянное обращение к мифам и мифологии, но, видимо, есть и иные пути космической увертюры. Во всяком случае, тема «Фет и космос» требует новых, дополнительных изысканий.

Оттолкнемся от цитаты из Фета. Источник мифологизации Фет видит в самой русской жизни: «...Как и везде, наша русская жизнь любит подчас необъяснимое» (с. 18). О да, конечно! Но не слишком ли мы увлеклись этим необъяснимым?

У Фета есть стихотворение (мы привели отрывок выше): «Шепот, робкое дыханье, / Трели соловья, / Серебро и колыханье сонного ручья...» И есть еще похожее стихотво-

рение: «*Это утро, радость эта, / Эта мощь и дня и света...*» Помните? Здесь на синтаксическом уровне высказана мысль о ценности всего земного, безусловно, но есть стихи и о живом внимании к высшему миру, к космосу. Рассмотрим отрывок из стихотворения 1858 года «Заря прощается с землею...». Название, по первой строке говорящее: заря принадлежит не только земле. В стихотворении будто бы нет мифологии, но высшее, космическое есть. *Как незаметно потухают / Лучи и гаснут под концец! / С какою негой в них купают / Деревья пышный свой венец! // И все таинственней, безмерней / Их тень растет, растет, как сон; / Как тонко по заре вечерней / Их легкий очерк вознесен! // Как будто, чуя жизнь двойную / И ей овеваны вдвойне, — / И землю чувствуют родную / И в небо просятя оне.* Деревья выступают как связующие нити между землей и космосом. Но какие нити? Купающие в лучах свой *пышный венец!* И далее: *Как будто чуя жизнь двойную и ей овеваны вдвойне...* Мысль о единстве земного и космического (но не холодного, далекого, а родного и мягкого, как все земное) прочитывается в этом стихе. Идея единства земли и космоса очень важна для Фета. Вспоминается афоризм: «В этом мире наша первая обязанность состоит в том, чтобы устраивать произвольные островки порядка и системы», — считал Н. Винер. *Островки порядка* — конечно же, однако *произвольные*, на том и поэзия основана.

Годом ранее написано стихотворение «Бездна», оно тоже о космосе. *На стоге сена ночью южной / Лицом ко тверди я лежал, / И хор светил, живой и дружный, / Кругом раскинувшись, дрожал. // Земля, как смутный сон немая, / Безвестно уносила прочь, / И я, как первый житель рая, / Один в лицо увидел ночь. // Я ль несся к бездне полуночной, / Иль сонмы звезд ко мне неслись? / Казалось, будто в длани мощной / Над этой бездной я повис. // И с замираньем и смятеньем / Я взором мерил глубину, / В которой с каждым я мгновеньем / Все невозвратнее тону.*

Мы выделили полужирным шрифтом строки, которые приближают нас к космосу. Космос интерпретируется как продолжение земли: *Казалось, будто в длани мощной / Над этой бездной я повис...* Сильное стихотворение! Написать так может человек, часто думающий о космосе, представляющий его как продолжение земли и представляющий землю как часть космического мира. «Активно разрабатываемые и ярко описываемые сценарии будущего заставляют считаться с собой в настоящем, меняя иногда ход текущих событий»<sup>2</sup>. Сейчас пишут о редукции авторизации как всеобщей и весьма тревожной проблеме<sup>3</sup>. Личность уходит, растворяется, и что же?

Космос уходит из поэзии, но космос — это наше спасение в будущем, и игнорировать его нельзя. «Поэтому „космический прорыв“ — это социосистемная необходимость и вопрос высшей, онтологической безопасности», — развивает эту мысль в своей статье Сергей Переслегин<sup>4</sup>. Вот почему надо вновь и вновь возвращаться к Фету, учиться у Фета. Нет, не мифологии (хотя почему бы и нет?), а трепетному отношению к космосу. Космос Фета — это свой, мягкий, таинственный мир, единый с землей и остро нуждающийся в нашей сегодняшней любви.

<sup>2</sup> Ковалев В. А. Новации в российской политике и попытки их освоения силами отечественной фантастики // Полис: Политические исследования, 2008, № 3. С. 173.

<sup>3</sup> Секацкий А. Не только о Швейцарии // Новый мир, 2015, № 4. С. 164.

<sup>4</sup> Переслегин С. Б. В колыбели. Космос как возможность спасения // Нева, 2011, № 4. С. 145.

---

ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО

---

Наталья ГРАНЦЕВА

## НЕМЦЫ В ВИНДЗОРЕ

### Странный демарш

8 января 1947 года выдающийся англо-американский поэт У.-Х. Оден поведал студентам Школы социальных наук, где он читал цикл лекций о Шекспире, свое мнение о комедии великого британца «Виндзорские насмешницы». Добросовестные студенты законспектировали лапидарное суждение маститого лектора. В современном издании<sup>1</sup> это суждение ограничилось семью строками и 47 словами. Приводим их полностью:

«Виндзорские насмешницы» — на редкость скучная пьеса. Мы можем быть благодарны автору за то, что она была написана, так как она вдохновила Верди на со-здание «Фальстафа», великого оперного шедевра. Господин Пейдж, Шеллоу, Слендер и хозяин гостиницы исчезают. Мне нечего сказать о пьесе Шекспира, так что послушаем Верди.

Издатели опросили студентов, чьи конспекты легли в основу книги лекций У.-Х. Одена, о подробностях этого демарша. Выяснилось, что в течение академического часа Оден проиграл девять грампластинок с записью «Фальстафа», сопровождая каждую сторону кратким изложением сюжета. Лишь один молодой студент громко выражал недовольство, жалуясь, что Оден обязан был читать лекцию.

Мы тоже выразили бы недовольство или хотя бы задали лектору вопрос: неужели поэт ничего содержательного не может сказать о произведении? Или сказать не хочет? Или — что еще страннее — не может?

Подумайте сами: почему все пьесы лектор может проанализировать и сообщить аудитории что-то важное и существенное для понимания поэтических технологий, а в этом — единственном! — случае не может? Может быть, для этого есть особая причина?

Конечно, рассказывать об исторических хрониках или о великих трагедиях в течение академического часа поэту не составит труда. Например, конспект лекции о «Гамлете» в указанной выше книге уложился в 12 страниц, а конспект лекции о трагедии «Троил и Крессида» — в 24 страницы. Но и анализ творений Шекспира-комедиографа тоже получился у Одена не менее содержательным. Например, конспект лекции о комедии «Бесплодные усилия любви» уместился в 18 страниц, таков же книжный

---

Наталья Анатольевна Гранцева — поэт, эссеист — родилась в Ленинграде, окончила Литературный институт им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в Санкт-Петербурге.

<sup>1</sup> Оден У.-Х. Лекции о Шекспире. М.: Издательство Ольги Морозовой, 2008.

объем лекции о комедии «Сон в летнюю ночь», 24 страницы издания отданы на анализ комедии «Как вам это понравится»... Не обошел вниманием лектор и другие веселые произведения Шекспира: «Укрощение строптивой», «Комедию ошибок», «Два веронца», «Двенадцатая ночь», «Все хорошо, что хорошо кончается»... И о каждой из комических пьес У.-Х. Оден нашел что сказать своим молодым слушателям.

Почему же ему оказалось «нечего сказать о пьесе Шекспира» о веселых женах из Виндзора? И что таким экстравагантным образом демонстрировал Оден? Любовь к Верди? Восхищение оперным Фальстафом? Или невозможность сказать в публичном пространстве о том, что в корне противоречит оценкам традиционного уважаемого шекспироведения? Видимо, здесь есть какая-то тайна...

Попробуем беспристрастно взглянуть на это необычное произведение, названное «на редкость скучным», несмотря на то, что и само название отрицает представление о скуке и что в центре веселых приключений находится один из сценических любимцев всех времен и народов — сэр Джон Фальстаф.

Вот что сообщает российская энциклопедия «Шекспир»<sup>2</sup>.

#### **«Виндзорские насмешницы» («Веселые жены из Виндзора»)**

Эта комедия Шекспира была впервые напечатана в 1602 году под очень длинным названием «Чрезвычайно занятая и весьма остроумная комедия о сэре Джоне Фальстафе и виндзорских насмешницах. Содержащая разные забавные выходки уэльского рыцаря сэра Хью, судьи Шеллоу и его премудрого племянника мистера Слердера. С пустым хвастовством прапорщика Пистоля и капрала Нима. Как она не раз исполнялась слугами досточтенного лорда-камергера в присутствии ее величества и в других местах».

Регистрация издания состоялась в январе 1602 года. «Виндзорские насмешницы» часто датировали 1600 или 1601 годами. Это подтверждала и книга Мереца (1598), где пьеса не была упомянута. <...> Однако в XX веке нашли документ, подтверждающий, что комедия исполнялась 27 апреля 1597 года (в день святого Георгия) на гринвичском празднике в честь ордена Подвязки. Очевидно, это была премьера.

Кому — как. Нам, например, совершенно не очевидно, что это была премьера. А если это была она, почему ее название не значится в книжице Мереца? Ведь там значатся многие из пьес, написанных Шекспиром до 1598 года, даже не найденная до сих пор комедия «Вознагражденные усилия любви»!

Вызывает подозрения в сам факт внезапно «обретенного» спустя триста лет документа. История шекспироведения знает немало примеров внезапно обретенных... фальшивок. Есть и другие нестыковки.

Есть ли традиция в Британии потешать публику в праздник Святого Георгия frivolными развлечениями о распутных женах? Мы о таком не слышали. С другой стороны — весенний религиозный праздник никак не может быть увязан с эльфами и феями, порхающими по ночам в июле. А весь пятый акт комедии «Виндзорские насмешницы» посвящен именно этому!

Шекспироведы считают, что именно так в шекспировское время проходил праздник в честь ордена Подвязки. Документальных данных об этом не существует в природе. Никаких внятных указаний в шекспировском тексте на другие особенности этого праздника найти невозможно. А что возможно найти? Только название гостиницы, где неделю живут герои, — гостиница называется «Подвязка».

Городок, где расположена гостиница, называется у Шекспира Виндзор.

<sup>2</sup> Шекспир. Энциклопедия. М.: Алгоритм, Эксмо; Харьков: Око, 2007.

Не факт, что День ордена Подвязки Елизавета проводила в апреле 1597 года в этом месте. Королевская резиденция была и в Гринвиче, о чем прямо сказано в «обретенном» документе.

Так что шекспировская виндзорская «Подвязка» отношения к ордену Подвязки не имеет. Да и никаких членов королевской семьи в количестве 24 человек (так по статуту) в комедии Шекспира мы не наблюдаем. Есть пара-тройка рыцарей неизвестной орденской принадлежности, но это все представители «среднего класса»: судья, пастор, фламандский ловелас Фальстаф...

Традиционное шекспироведение считает, что комедия «Виндзорские насмешницы» была написана по заказу королевы-девственницы. Потому что... «Королева любила проводить время в Виндзоре»<sup>3</sup>. Аргумент слабый.

Может быть, королева планировала провести апрельский праздник в Виндзоре, но внезапно переменяла решение и вынудила 24 членов королевской семьи срочно мчаться в Гринвич? (Допустим, по причине лучшей безопасности.)

Спустя сто лет после общепризнанной в филологическом мире даты публикации комедии «Виндзорские насмешницы» (кварто 1602) уже никаких сомнений у шекспироведов не было.

«В 1702 году автор адаптации «Комический любовник или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа» Джон Деннис сообщил в предисловии, что комедия Шекспира была заказана королевой Елизаветой. Об этом же спустя семь лет писал Николас Роу»<sup>4</sup>.

Выдающийся шекспировед Г. Брандес пишет: «Самые веские внутренние причины говорят в пользу предания, что эта комедия возникла по приказанию королевы Елизаветы. На заглавном листе древнейшего издания in-quarto (1602) сказано: „Эта пьеса играна часто группой почтенного лорда-камергера, в присутствии ее величества, и в других местах“»<sup>5</sup>.

Существенные дополнения в «предание» вносит и российский исследователь:

«„Виндзорские насмешницы“ были написаны в течение двух недель к определенному сроку (к 23 апреля 1597) <...> Это первая у Шекспира комедия о современности и единственная, действие которой происходит в Англии и в Виндзоре. Здесь — одна из королевских резиденций, но здесь же — обычный провинциальный городок, куда и попадает сэр Джон Фальстаф»<sup>6</sup>.

Неужели у английской королевы был так дурен вкус, что для развлечения высококультурной публики она избрала такой непритязательный материал? Видимо, в конце своей бурной жизни Елизавета Тюдор слишком много времени проводила за чтением низкопробной итальянской беллетристики! Иначе заказ королевы не был бы увязан с выведением на подмостки жирного беспринципного циника (Фальстаф ей очень понравился!), и со сценической переработкой сюжетов, извлеченных из дешевых книжонок. Энциклопедия «Шекспир» сообщает:

«Основная сюжетная линия — ухаживание Фальстафа сразу за двумя женщинами, миссис Пейдж и миссис Форд, которые, зная об этом, издеваются над пародийным Дон Жуаном, то назначая ему свидание, то пугая возвращением мужа, — напоминает новеллу итальянского писателя Страпароллы из сборника „Тринадцать весело проведенных ночей“ (1550–1553). <...> Из того же сборника заимствована корзина с грязным бельем, в которой прячут Фальстафа».

Несмотря на то, что пьеса писалась по указанию венценосной заказчицы (так считают авторитетные шекспироведы!), издание кварто 1602 года отличается огромным ко-

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Брандес Г. Неизвестный Шекспир. Кто если не он? М.: Эксмо, Алгоритм, 2012.

<sup>6</sup> Шайтанов И. О. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 2013. Серия ЖЗЛ.

личеством искажений и пропусков. В пьесе выброшены или поменяны местами целые куски! За такую откровенную халтуру следовало бы отправить на эшафот издателей — но милосердная королева никого не казнила, хотя и была еще в то время жива. Странно.

А может быть, она и не заказывала Шекспиру эту пошловатую безделицу? В традиционном шекспироведении утвердилось мнение, что пьеса не только скучная (У.-Х. Оден), но и мещанская по духу, нетипичная для Великого Барда.

«Ни в одной из шекспировских пьес тон не отличается таким прозаическим, мещанским духом. Пьеса „Виндзорские проказницы“ является единственным произведением поэта, написанным почти исключительно прозой, и единственной его комедией, где действие происходит только в Англии и где рисуется жизнь третьего сословия»<sup>7</sup>.

«„Виндзорские насмешницы“ — единственная пьеса Шекспира, большая часть которой написана прозой. Это естественно для нетипичной в творчестве Шекспира бытовой комедии»<sup>8</sup>.

Основная сюжетная линия комедии — ухаживания Фальстафа за двумя замужними женщинами — так считают современные исследователи. Хотя гипетрофированное либидо рыцаря-чревоугодника и поклонника хереса — по наблюдению тех же исследователей! — ведет его к совершенной атрофии мозга: ведь он трижды подряд попадает в расставленные виндзорскими проказницами ловушки! Сначала его в корзине грязного исподнего белья вываливают в реку. Потом переодетого женами-насмешницами в наряд старухи-гадалки избивают палками. И наконец — ночью осыпают градом насмешек и шуток, нещадно щиплют и щекочут...

Все правильно. Но с одной поправкой. Все эти события происходят во второй половине комедии. А что в первой? Как назло, анализа первых сцен комедии в трудах респектабельных шекспироведов не найти днем с огнем! Как будто они не знают, что содержание пьесы невозможно понять, пока не будет понято содержание первых сцен первого акта!

Так может быть, основная сюжетная линия — не романтические злоключения Фальстафа?

### **При чем перчатки? При чем борода?**

Первая сцена первого акта.

Мировой судья Шеллоу мечет громы и молнии: его кровно оскорбил сэр Джон Фальстаф! Его — эсквайра и хранителя актов! Оскорбленный судья грозит подать жалобу в Звездную палату, в королевский суд!

Он так громогласно возмущается, что даже путается в словах. В русском переводе это звучит так: вместо слова старый герб — произносит слово горб, а вместо слова серебряные ерши (на гербе) — произносит серебряные вши.

Судье поддакивает его племянник Авраам Слендер. Он тоже не силен в латыни: вместо выражения категорически и безвозвратно — произносит аллегорически и безвозвратно. Пастор Гью Эванс латынь знает лучше, но его речь тоже не обходится без ошибок.

Судья Шеллоу так разгневан, что даже угрожает квалифицировать оскорбление со стороны Фальстафа как мятеж!

Пастор стремится успокоить судью и утверждает, что королевский суд мятежами не занимается, рассмотрение дел о мятеже не входит в его компетенцию. Одновременно намекает на то, что хорошо бы женить племянника судьи Слендера на девице Анне

<sup>7</sup> Брандес Г. Неизвестный Шекспир. Кто если не он? М.: Эксмо, Алгоритм, 2012.

<sup>8</sup> Шекспир. Энциклопедия. М.: Алгоритм, Эксмо; Харьков: Око, 2007.

Пейдж: девушка богата, дед оставил ей в наследство 700 фунтов, которые она получит по достижении 17 лет. А ведь еще будет и наследство от отца...

Судья спрашивает у племянника — согласен ли он жениться на Анне? Слендер готов ради дяди хоть в воду прыгнуть. А вот сможет ли он полюбить прелестную Анну? Юноша уклоняется от прямого ответа.

Все трое отправляются в дом, где обитает семейство Пейдж. Но оказывается, что именно там находится Фальстаф с его дружбанами.

Тут и выясняется, чем именно оскорбил Фальстаф мирового судью Шеллоу.

Во-первых, Фальстаф побил слуг судьи.

Во-вторых, подстрелил оленя судьи.

В-третьих, Фальстаф ворвался в дом лесничего судьи.

Фальстаф начинает пререкаться, он не согласен с обвинениями.

Пастор примирительной, но искаженной латынью пытается погасить ссору:

Э в а н с .

Сэр Джон! Pausa verba! В молчании благо!<sup>9</sup>

Фальстаф нагло парирует: какая там палка верба? Слендер, я вам, кажется, проломил голову?

Итак, уже в первых репликах первой сцены мы видим четырех героев, которые скверно владеют латынью: судью Шеллоу, пастора Эванса, юношу Слендера и Джона Фальстафа. Последний вообще не понимает латинских, а может быть, и английских слов.

Дружки Фальстафа тоже вступают в перепалку.

Бардольф обзывает Слендера бенберийским сыром.

Ним призывает палку вербу резать его!

А Пистоль вообще обнажает меч и обзывает Слендера Мефистофелем, чертом остробородым!

Миротворец Пейдж вместе с пастором Эвансом пытаются разобраться в существе дела. Пастор даже ведет протокол беседы (в своей записной книжке).

Фальстаф прямо спрашивает у Пистоля: он ли стянул кошелек у Слендера?

Слендер клянется своими перчатками, что кошелек украл Пистоль. И второй раз клянется, перечисляя содержимое украденного кошелька (а там новенькие шестипенсовики и фишки для игры в кости).

Невозмутимый Пистоль не признается, обзывает пастора иностранцем, а Слендера грозит вызвать на бой.

Тогда струхнувший Слендер обвиняет в краже Нима и снова клянется перчатками!

Устрашенный угрозами Нима показать свой характер, Слендер снова меняет свои показания: теперь в краже обвиняется Бардольф...

Тут-то и выясняется: юноша Слендер так напился в компании собутыльников-картежников и любителей азартных игр, что ничегошеньки не помнит и напрасно обвиняет Фальстафа и его друзей в краже: он сам все пропил и проиграл! Так всегда бывает с ботаниками, с непривычки быстро теряющими разум и память.

Вот он — раненый олень судьи Слендера! Рана нанесена его кошельку! Поэтому так внимательно судья Шеллоу прислушивается к совету пастора женить племянника на прелестной Анне Пейдж!

Здесь впервые появляется миссис Пейдж, за которой будет приударять впоследствии жирный рыцарь, а также слуга Слендера Симпл.

<sup>9</sup> Весь Шекспир. Виндзорские насмешницы. Перевод С. Маршака и М. Морозова. М.: Олма-Пресс, 2004.

Слендер спрашивает у слуги: где моя книжка сонетов и любовных песен? Значит, этот ботаник-рохля еще и поэт? Намерен читать стихи Анне?

Увы, сообщает слуга Симпл: да вы же сами, сударь, отдали их этой пышке Алисе в День всех святых, за две недели до Михайлова дня!

Значит, юноша Слендер уже очарован некоей Алисой и даже подарил ей свои стихи и сонеты? Значит, Слендеру нравится Алиса? Зачем же он соглашается жениться на Анне Пейдж? Из-за денег? Конечно, ведь все свое состояние пропил и проиграл! А из ценностей у него остались только перчатки, которыми он и клянется!

Родители Анны приглашают всех на праздничный обед. Сама Анна выходит к потенциальному жениху, приглашая его в дом.

Но Слендер отказывается идти в дом Пейджей. Услышав собачий лай, пугает Анну тем, что в город привели медведей. Затем утверждает, что обожает медвежью травлю. Затем радуется тому, что женщины визжат при виде медведей, ведь медведи — грубые и неприличные животные.

Создается такое ощущение, что Слендера Анна чем-то обидела... И хотя в конце концов Слендер входит в дом, но не упускает случая показать Анне, что он не невежа. И первым в дом не войдет, а непременно пропустит вперед девушку... Да, он это говорит, но все-таки действует как невежа: «Но вы сами этого пожелали!»

#### Вторая сцена первого акта

Она состоит всего из трех реплик — двух Эванса и одной Симпла. Пастор поручает Симплу разыскать дом, где живет доктор Каюс и его служанка миссис Квикли. Служанка — подруга Анны Пейдж. Пастор Эванс просит в записке миссис Квикли замолвить словечко в пользу Авраама Слендера.

#### Третья сцена первого акта

Действие происходит в помещении отеля «Подвязка». Здесь безмянный отеллер берет себе в помощники слугу Фальстафа — Бардольфа. Теперь юный гуляка станет трактирным слугой, будет разливать пиво. Самого Фальстафа хозяин гостиницы называет насмешливо трактирным Геркулесом и храбрым Гектором... Фальстаф выясняет у Пистоля и Нима, знают ли они миссис Форд? Собирается приударить за ней, поскольку ее муж богат, а рыцарь сейчас на мели... Планирует пополнить кошелек за счет богатых женщин...

Размечтался о двойном будущем альфонса! Да с такими слугами, как Ним и Пистоль, каши не сварить — оба молодчика задумали сообщить обоим мужьям виндзорских жен о коварных планах своего патрона! Пистоль поэтически возвышенно обзывает сэра Джона («Сияло солнце над навозной кучей!»), желает ему пойти по миру и называет его в поэтическом экспромте — «фригийским турком»!

Что за чудеса? Неужели не только пастор Эванс — иностранец (с Уэльских гор), но и сэр Джон Фальстаф — иностранец (турок)? Поэтому и плохо владеют латинским языком?

#### Четвертая сцена первого акта

Здесь мы видим миссис Квикли и доктора Каюса.

По поручению пастора слуга Симпл приносит записку подруге Анны Пейдж (см. вторую сцену). Девушка выясняет, кто такой Слендер:

Миссис Квикли:

Это который же Слендер? Уж не тот ли, что носит большую бороду? Широкою и круглою, как нож у перчаточника?



Симпл:

Да нет! Какая там борода! У него этакое маленькое бледненькое личико с этакой маленькой, желтенькой бородкой.

Служанка его аттестует как человека тихого нрава, а Симпл добавляет, что Слендер может быть сильным только по сравнению со слабыми...

Еще один иностранец (француз) доктор Каюс вообще, похоже, не знает ни одного латинского слова, а изъясняется исключительно на ломаном французском. Служанка миссис Квикли передразнивает хозяина, повторяя его языковые ошибки: вместо фанатично — покорно говорит флегматично, вместо меланхолия — милохолия....

Но довольно. Уже первые страницы комедии «Виндзорские насмешницы» дают достаточно информации для того, чтобы мы узнали исторических героев, запечатленных в новых ролях нового спектакля. Эти сквозные персонажи прошли перед нами в нескольких комедиях. Каждый из них сыграл по несколько ролей, предписанных драматургами. Их было, как всегда, два.

Когда же происходили события, изложенные в комедии «Виндзорские насмешницы»? Об этом сказано в самом начале первой сцены первого акта: эти события происходили после Дня всех святых (1 ноября) и Михайлова дня (21 ноября) — в неделю, предшествующую празднику Рождества. То есть находящиеся в Виндзоре драматурги (в данном случае Шеллоу и Эванс) сочинили традиционный рождественский фарс.

Как и договаривались год назад, в декабре 1602 года. События той поры описаны в комедии «Бесплодные усилия любви». За прошедший год немало изменений произошло в судьбах молодых героев и героинь, встретившихся на территории францисканского монастыря. Но именно в декабре 1603 года герои и героини собирались встретиться вновь, чтобы доказать неизменность своих чувств. И вот в новом рождественском фарсе мы видим, что остроумные капуцинки по-прежнему насмеяются над образовательным уровнем своих женихов-иностранцев, а женихи уже выполнили почти все предписания своих юных пассий. Помните?

В комедии «Бесплодные усилия любви».

Самое просто задание на год дала капуцинка Мария Лонгвиллю, который подарил девушке при знакомстве жемчуг:

Мария:

Я через год сменю

Мой траурный наряд на друга сердца.

По сути, девушка ничего сверхъестественного не требовала от молодого человека. Она уже в мыслях решила стать его женой.

В комедии «Виндзорские насмешницы» мы видим эту добродушную непритязательную парочку как супругов мистера Пейдж и миссис Пейдж.

В комедии «Бесплодные усилия любви».

Вот что велела сделать королю Фердинанду французская принцесса, которой он подарил бриллиант (перстень):

Принцесса:

Ваших клятв

Не нужно мне, но вы должны сейчас же

Отправиться в какой-нибудь приют,  
 Зброшенный, пустынный, отдаленный  
 От всякого веселья: будьте там,  
 Покамест все двенадцать знаков неба  
 Не совершат свой годовой обход.  
 И если жизнь суровая, глухая,  
 Нетронутым оставит то, что ты  
 Мне предложил в разгаре страсти, если  
 Морозы, пост, угрюмое жилище  
 И грубая одежда не убьют  
 Роскошного и молодого цвета  
 Твоей любви и устоит она  
 Перед таким тяжелым испытаньем —  
 Тогда чуть год окончится, приди  
 И именем своей заслуги требуй  
 Меня к себе — и девственной рукой,  
 Которая теперь твою сжимает,  
 Клянусь я быть твоею.

А вот что произошло в комедии «Виндзорские насмешницы» через год.

Анна Пейдж (французская принцесса) испытала верность чувств любимого, его смирение и терпение к превратностям жизни, свободу чувств и помыслов от наличия богатства и бриллиантов. Юноша смирил тщеславие и гордыню, не считал зазорным служить другим (под именем Симпл-Простак), был в переписке с возлюбленной. Усилия влюбленных были вознаграждены — в рождественскую ночь 1603 года девушка дала согласие на брак.

В комедии «Бесплодные усилия любви».

Вот какой жестокий наказ дала на предстоящий год насмешнику Бирону остроумная Розалина, которой краснобай-балагур подарил алмаз:

Р о з а л и н а :

...Я хочу,  
 Чтоб целый год, день за день, за немymi  
 Страдальцами ухаживали вы  
 И с бедными больными говорили  
 Без умолку. И будет ваша вся  
 Обязанность — все силы остроумья  
 Употреблять на то, чтобы могли  
 Несчастные страдальцы улыбаться. <...>

Б и р о н :

Так целый год? Ну, будь что будет: я  
 На целый год иду острить в больницу.

А вот что произошло в комедии «Виндзорские насмешницы» через год. Герой, изначально не желавший учиться и считавший, что всему научит сама жизнь, хотя и пошел отбывать испытание в больницу, возомнив себя доктором, но остался тем же: он и родной язык (якобы французский) уже плохо помнил и коверкал на каждом шагу,

и латынь не одолел. Недаром пастор Эванс заявляет, что доктор Каюс разбирается в латыни и в медицине не больше, чем миска овсяной каши... Но и его покорная влюбленность вознаграждена — рядом с ним в доме находится уже в роли замужней женщины (миссис) шустрая и вездесущая большеглазая брюнетка — лучшая подруга Анны Пейдж.

По сути — в пьесе «Виндзорские насмешницы» три влюбленных пары, известные нам не только по комедии «Бесплодные усилия любви», но и по другим шекспировским комедиям, в рождественскую ночь уже счастливо соединились. Не потому ли на первых страницах «Виндзорских насмешниц» мы видим единственного юного холостяка, который собирается жениться? Так, может быть, это и есть основная сюжетная линия?

В образе Авраама Слендера мы без труда узнаем бесхарактерного отличника, талантливого рохлю, обидчивого конформиста, бедного гордеца, сверхзадача которого — разбогатеть. В комедии «Бесплодные усилия любви» мы видели его в образе Дюмена, который подарил возлюбленной перчатки.

В комедии «Бесплодные усилия любви».

Вот чего пожелала добиться в течение года Дюмену Катарина в комедии «Бесплодные усилия любви»:

К а т а р и н а :  
Хорошее здоровье, честность сердца  
И бороду — три эти вещи я  
Желаю вам с тройным расположеньем.

И вот теперь в рождественские дни 1603 года мы видим этого несчастного ботаника в образе Слендера — картежника, проигравшегося в пух и прах, — видимо, в надежде разбогатеть. Но ныне в кошельке его пусто, и по-прежнему единственная ценность, которой он клянется, — это перчатки... Здоровье его также не ахти — напивается до потери риз. Но все-таки, может быть, он продолжает любить ту, к которой лежит сердце? Ведь ее наказ отрастить бороду он выполнил!

Поэтому приятель и дразнит его Мефистофелем, а злоязычная кухарка Квикли издевательски описывает его тощую растительность на подбородке как широкую круглую лопату перчаточника?

Что ж, бесхарактерность этого героя тоже, оказывается, имеет свои пределы. Он падок до денег, но свою любовь к пышке Алисе, которой посвятил целую книгу песен и стихов, не променяет на выгодную женитьбу.

Авторы рождественского фарса 1603 года заставили Слендера (Дюмена) немало поволноваться и поревновать, используя в своей сценической композиции неумолимого ловеласа Джона Фальстафа, который откровенно волочил за миссис Форд. А ведь миссис Форд и звали Алисой, о чем прямо сказано в шекспировском тексте!

Далее все становится очевидно. Об этом четко поведано в исходной пьесе «Бесплодные усилия любви»:

Когда ж четыре сих героя  
Понравятся в ролях своих,  
То, в платье облачась другое,  
Они сыграют остальных.

В рождественском фарсе 1603 года одни и те же исполнители появлялись в разных костюмах, играя несколько ролей каждый. В данном сюжете, где действовали юные ино-

странцы, прибывшие в Англию и плохо знающие латынь, английский и французский, роли распределились таким образом:

Роль Хозяина гостиницы и немецкого герцога играл судья Шеллоу.

Роль слуги Рэгби играл пастор Эванс.

Роль сына Пейджа Уильяма и Симпла играл Фентон.

Роль Френка Пейджа играл Ним.

Роль Каюса играл Пистоль.

Роль Слендера играл Форд (он же играл роль Брука)... И т. д.

Как понятно из текста Первого фолио (1623), все они в эти холодные декабрьские дни находились в теплом помещении — и одновременно на одной сцене.

В русских переводах (и позднейших изданиях послешекспировского времени) этого не видно. Заботливые издатели оснастили публикации списками действующих лиц и указаниями на разные места действия... Но создатели Первого фолио прекрасно понимали специфику рождественских фарсов, поэтому на сцену выходили все герои сразу:

Enter Iustice Shallow, Slender, Sir Hugh Euans, Master Page, Falstoffs, Bardolph, Nym,  
Anna Page, Mistresse Ford, Mistresse Page, Simple.

Эти странные молодые люди, ищущие лучшей будущности на чужбине, эти немцы-иностранцы, подчиняющиеся своему немецкому герцогу, внезапно прибывшие в Виндзор, обязаны своему счастью — своим вознагражденным усилием любви — в немалой степени и бесстыдно озорному шутнику и чревоугоднику, украсившему страницы комедии «Виндзорские насмешницы».

«Что же касается сэра Джона Фальстафа, то он станет одним из величайших шекспировских образов, единственным героем, переходящим не только из пьесы в пьесу, но из хроники в комедию и обратно»<sup>10</sup>.

«Фальстафу предстояло стать одним из самых любимых персонажей мировой литературы, что останется вечной загадкой для тех, кто ставит знак равенства между любовью и моральным совершенством. Но для тех, кто не видит никакой добродетели в войне, правительственной пропаганде, квасном патриотизме, тяжелом труде, педантичности и кто дорожит падшей человечностью, когда она обнаруживается в мошенничестве и острологии, здесь нет никакой тайны. Дух Фальстафа — великий столп цивилизации»<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Шайтанов И. О. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 2013. Серия ЖЗЛ.

<sup>11</sup> Берджесс Э. Шекспир. Гений и его эпоха. М.: ЗАО «Изд-во Центрполиграф», 2001.

---

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

---

**Александр Мелихов. На Васильевский остров...: Роман. СПб.: Лимбус Пресс, 2019. — 416 с.**

Он уже состоялся как личность, пятидесятилетний герой романа, от лица которого идет повествование: доктор, профессор, главный теоретик лакотряпочной отрасли (юбилейная телеграмма пришла за подписью министра). Единственное, что может его задеть, — презрение к истине, фальшь. «Произнести слово, не измусолив трех монографий, кого-то не дослушать, чего-то не дочитать — все это вызывает у меня чувство совершенной гадости. ...Вступая в спор, большинство людей стараются не узнать что-то, а защититься от знания — даже не услышать: перекричать, обругать, заткнуть глот...» Его жизненное кредо: ответственность за тех, кого любишь. Он — человек размышляющий. Память постоянно возвращает его во времена беспечной студенческой юности, к годам взросления. Анализируя прошлое, он, самый преуспевший из своих друзей, хочет понять закономерности, повлиявшие на судьбу его умных, смелых, одаренных, уверенных в своем блестящем будущем товарищей. Почему растаяли их надежды и жизнь сложилась не так, как хотелось? Какие черты характера повлияли на выбор пути, какие принципы определили их судьбу? Куда загнали их фантомы, за которыми они гнались? Едко, остроумно Александр Мелихов расписывает «страсти» по распределению дипломников, по аспирантуре, по диссертации: механизмы, действующие в научном сообществе, подводные течения, русско-еврейский вопрос. Размышляет герой и о собственной эволюции, о том, как шло становление его личности: прощание со страстными влюбленностями и бешеными обидами от единственного слова, преодоление зависимости от чужих суждений («молодость: не факты, а мнения тебя заботят»), от лихорадочной нужды безостановочно с кем-то делиться, в ком-то отражаться, от самоудовлетворения фантазиями. Резюме: «А мир внешний в отличие от мира внутреннего не позволял довольствоваться самоуслаждением — он требовал итога, поступка»; «любые самоуслажденческие игры возможны лишь на бетонном фундаменте долга». Любовно изображается Ленинград, впрочем, город существует в двух измерениях и одновременно: Ленинград времен молодости героя и Петербург нынешний, и в первую очередь Васильевский остров, где на матмехе ЛГУ учились герой и его друзья, НИИ, где он работал. Улицы, здания, звуки, цвета, голоса, запахи, атмосфера советской жизни. «Здесь раскидывалось уличное кафе, где я заказал шесть бутербродов с ветчиной — высчитал, что так выйдет самая дешевая удельная калория, официантка думала, что шучу... А за этим строительным забором укрылись подвалы ресторана „Кавказский“, кой, если удавалось разжиться лишней десяткой, мы посещали, отстояв часовую возбужденную очередь, вкусить пижонского шика в восточном вкусе. Что за мускулистые подушечки лаваша там подавали — даже распаханные по карманам они и назавтра не осыпались и пружинили на зубах. Купаты змеями обвивали сталь шампуров, словно эскулапов посох, две-три реплики с соседями по столикам, вспрыснутые двумя-тремя бокалами гурджани и саперави, мгновенно распускались роскошными мужскими дружбами». Это густонаселенный роман. Основная сюжетная линия разветвляется, переплетается с второстепенными, кадры из разных времен сменяют друг друга. Студенческие друзья и их жены и подружки, сложные захватывающие судьбы, замечательная жена героя, добросовестная, чистосердечная, энергичная Катька, его любовный роман с аспиранткой,

щемящая нежность, отталкивание и любовь в отношениях героя с престарелыми родителями, проблемы с его собственными детьми. Но эта книга не просто многоуровневый роман, но и философское произведение, развивающее мелиховскую концепцию «человека фантазирующего», продолжение исследования роли фантомов в жизни конкретного человека и общества в целом, своего рода демонстрация того, куда фантомы заводят. Но — «с ними опасно, без них — невозможно». «В былые времена боевые песни слагали и горланили не для того, чтобы раздухариться и разойтись: их пели, чтобы воевать, — ни о каком искусстве для искусства никто не мог и помыслить, все гимны и хороводы чему-нибудь, да служили: богам, плодородию, свадьбам, похоронам... Но вот культура объявила себя своей собственной целью, ценности деяния были пережеваны и выплюнуты ценностями переживания — так истощившийся распутник, уже не способный на страсть к реальной женщине, начинает задрочиваться до смерти: долгий дрейф от эпоса к лирике сегодня завершается стремительным спуртом от индивидуализма к героину. Солипсизм как высшая стадия эгоизма: от “Существенны только мои интересы, к „Существую только я“. Уход во внутренний мир — это же так поэтично... Алкаш, торчок, шизофреник — окончательное торжество духа над материей, мира внутреннего над вульгарным внешним. Что общего у наркомана с романтическим лириком? И тот и другой считают высшей ценностью переживания, а не презренную пользу». Жестокий приговор нынешним временам. «Все должно служить человеку, и только он ничему не должен служить, и он это быстро просекает: любое усилие ради другого превращается в непосильную обузу. Казалось бы, уж какой кайф — любовь! Но — риск неудачи, столько хлопот, чтобы завоевать, а с победой новая ответственность: кормить, защищать... Нет уж, спокойнее оставить от любви голый секс». Жестокая отповедь нынешним временам. «„Но если все время смотреть в глаза горькой правде, для чего тогда и жить?“ Как для чего — назло! Назло этой твари — жизни: а вот я все равно буду жить и делать то, что считаю возможным, раз уж невозможно все остальное. „Но разве таким способом можно достичь счастья?..“ Что-о?! Да кто вам сказал, что мы живем для счастья, какая гнида выдумала это подлое слово, из-за которого мир с каждой минутой уходит все глубже под вселенскую помойку предательств, жестокостей и лжей?.. Думать, что человек живет для счастья, все равно что верить, будто он ест для удовольствия, а не для того, чтобы не подохнуть с голоду». Чувством долга руководствуется повзрослевший герой романа А. Мелихова.

**Евгений Степанов. Татьяна Бек: на костре самоожжения.**

**М.: Вест-Консалтинг, 2019. — 164 с.: ил. — (Судьбы выдающихся людей).**

Поэт и время. Поэт и судьба. Татьяна Александровна Бек (1949–2005). Поэт, прозаик и издатель Евгений Степанов познакомился с Т. Бек в 1986 году: зашел в редакцию журнала «Дружба народов» в гости к своему знакомому, выяснилось, что тот уволился, а в его комнате, в отделе поэзии, сидит неизвестная ему женщина. Показал ей свои стихи. Через неделю она написала о нем хорошие слова на первой полосе в «Комсомольской правде». Е. Степанову было двадцать два года. Она взяла над ним шефство, учила поэтическим и филологическим азам-премудростям. Уже потом он узнает, что так подвижнически она занималась и с другими поэтами, продвигала их творчество в печати, на радио. Их дружба длилась более двух десятилетий, до самой ее смерти. Они писали друг о друге, обменивались стихами понравившихся им авторов, печатали эти стихи в изданиях, где работали. Долгие годы жили по соседству, тесно общались, говорили о смысле в поэзии и прозе, о поэтах-современниках, о книгах, о свойственной обоим «пассионарной неуместности», обсуждали общих знакомых. Общение с ней,

человеком с юмором и самоиронией, знатоком русской поэзии, было великой роскошью. Эта книга — дань любви и уважения к другу и выдающемуся поэту. Она включает собственные воспоминания Е. Степанова и его аналитические размышления о творчестве Т. Бек. Каким она была человеком? Непростым — порывистым, увлекающимся, резким. Жила небогато. Иногда денег не было совсем. Но никогда не просила. О ее личной жизни, не самой счастливой, Е. Степанов пишет скупно. И подробно — о насыщенной литературной жизни, которую вела Т. Бек: писала стихи, рецензии, делала интервью, составляла книги других поэтов, работала над архивами родителей — писателей А. Бека и Н. Лойко, редактировала чужие рукописи, преподавала в Литературном институте. Она была членом редколлегии и обозревателем журнала «Вопросы литературы», сотрудничала с «Общей газетой» и «Независимой газетой». «Она никогда не имитировала работу, а действительно вкалывала, как вкалывали ее предки, в том числе родители, родившиеся (это, на мой взгляд, очень важно!) до революции. То есть генетически она была — оттуда, из дореволюционной России, когда люди умели работать не за страх, а за совесть. ...И Татьяна — горя творческим огнем, как она писала, на „костре самосожженья“, встала вровень с родителями». Е. Степанов размышляет о судьбе поколения Т. Бек, познавшего две общественно-политические системы в своей жизни — социализм и капитализм. В СССР талантливые и признанные, вовлеченные в литературный мейнстрим авторы и великая андеграундная поэтическая группа, которую власть не замечала и никуда не пускала, существовали параллельно. После перестройки они слились в единый и мощный поток. Но если в СССР можно было жить литературным трудом, то в новой России ситуация изменилась. Советские издательства перестали издавать поэтические сборники, новых издательств еще не появилось. После 1987 года у Т. Бек, как у многих других поэтов, возникли проблемы с публикациями. Советская система была к ней благосклонна, ее активно печатали в периодике, выходили книги. В «новое время» у нее вышло только три книги, и то небольшими тиражами. Одна эпоха закончилась, в новой эпохе Т. Бек и многим другим представителям интеллигенции места не нашлось. «Вот эту эпоху безвременья она и выразила, написав честно и жестко: „Я вымираю, — как речь и раса, / Перебродившая чересчур“». Поэт Е. Степанов в главах «Рифменная система Татьяны Бек», «Разные редакции» делает профессиональный анализ поэтического мастерства Т. Бек, служившего главной задачей: показать тончайшие нюансы характера лирической героини, практически неотделимой от автора, личности с душой страдающей и высокой. «Стихосложение было и остается для меня доморощенным знахарским способом самоврачеванья: я выговаривалась... и лишь таким образом душевно выживала», — писала Т. Бек. Е. Степанов щедро наполняет свою книгу стихотворениями Т. Бек, передающими мироощущение поэта и человека, мироощущение, трагизм которого усиливался с годами. Книгой о неумолимой, лавинообразно, сокрушительно приближающейся кончине называет он сборник «Облака сквозь деревья». Общее настроение ее передают строки: «Как выпить жизнь до дна / И не сойти с ума? / Одна. Одна. Одна. / Сама. Сама. Сама». Это сказано не о себе, говорит Степанов, а о времени, в котором живет поэт, о своей генерации, об этносе. Ключевыми называет строки: «А вчера спросила Блока: / Чем заполнить дни, / Если кончилась эпоха / И не теплятся огни?» Роковым аккордом ее жизни, считает Степанов, стал тяжелый конфликт с представителями литературной братии, возникший из-за ее остро отрицательной реакции на панегирическое письмо ряда писателей в адрес Туркменбаши с предложением перевести на русский язык его стихи. «Негоже ни поэтам, ни мудрецам пред царями лебезить, выгоду вымогаючи», — ответила Т. Бек. Последовали звонки домой с оскорблениями и даже угрозами, а ведь со многими она была давно и хорошо знакома, работала вместе. «Она, конечно, очень сильно, смертельно устала, поскольку

была поэтом, то есть человеком без кожи, беззащитным и сильным», — пишет Е. Степанов. Она скончалась, по официальной версии, от обширного инфаркта, однако многие обсуждали вероятность самоубийства из-за травли, развязанной против нее. Вопрос остается открытым. В книге немало страниц посвящено литературной среде, безжалостной и беспощадной, и все-таки единственной, которую Бек знала с детства. В книгу включены интервью и блиц-интервью с поэтами и писателями, близко знавшими Т. Бек, дружившими с ней десятилетиями или учившимися у нее в Литинституте стихам и пониманию правды, испуганному всматриванию в ткань словесную и житийную. Они размышляют о ее поэзии, цитируют любимые ими стихи Т. Бек, говорят о ее роли в своей жизни и ее месте в пантеоне отечественной изящной словесности. Эта книга о большом поэте с трагической судьбой.

**Нина Сапрыгина. По следам тайн Шекспира. Харьков: Мачулин, 2018. — 160 с.: ил.**

«Хочу, чтобы мы навсегда расстались с образом Шекспира как старого бисексуала, который пристаёт с физической любовью к тем знатным, у кого недавно искал покровительства; как человека неискреннего, алчного и примитивного, с потугами на сальное остроумие. А такой он в большинстве русских переводов сонетов. Но будь он таким, он не стал бы учителем человечества». В произведениях Шекспира автор предстает как чрезвычайно эрудированный, высокообразованный человек, владеющий языками, знающий другие страны, быт самых высокопоставленных кругов тогдашнего английского общества, включая монархов, знакомый с придворным этикетом, родословными, языком самой высокородной знати. Мог ли таким автором быть Шакспер из Стратфорда, недоучка, мелкий ростовщик, в завещании расписавший все, от посуды до кровати, и — ни слова о книгах, а многие книги стоили дорого. Смерть этого Шакспера литературные круги не заметили, хотя в те времена было принято отзываться на смерть даже не очень известного поэта. О том, кто был Уильям Шекспир, величайший драматург, поэт и писатель всех времен и народов, спорят двести лет. Н. Сапрыгина придерживается антистратфордианских взглядов и развивает версию, убедительно обоснованную еще И. Гилюловым, что под псевдонимом Шекспир скрывался Роджер Мэннерс, граф Ратленд (1576–1612). Она скрупулезно анализирует детали биографий Шакспера из Стратфорда, в жизни которого немало несимпатичных историй. И задается вопросом: а совместимы ли писательство и коммерция, гений и крохоборство? Ее ответ, подтвержденный мнением психологов и литераторов: нет, несовместны. Подробно представлена биография пятого графа Ратленда. Здесь важны все нюансы. Происходя из королевского рода и, следовательно, обладая правом на престол (хотя из благоразумия не предъявлял таких претензий), Ратленд входил в придворный круг и был хорошо осведомлен о тайных пружинах государственной политики. Более половины пьес Шекспира связаны с изображением высших кругов общества и проблемой верховной власти в государстве. В 1596 году молодой граф отправился в Италию, где учился в университете города Падуя. Его однокашниками по университету были студенты из Дании, их имена попали в трагедию «Гамлет» — Розенкранц и Гильденстерн. В то время среди студентов Падуанского университета Ратленд являлся единственным англичанином. В его биографии вообще многочисленны совпадения с деталями шекспировских пьес. Использование семантико-смыслового подхода, предполагающего поиск отражения историко-биографических реалий в текстах, при обращении к сонетам Шекспира, позволило, как считает автор, проникнуть ей в тайну сонетов. Одна из главных развиваемых автором идей — об обратном порядке сонетов, то есть что они писались в последовательности,



обратной той, что напечатаны в Кварто 1609 года. Такое прочтение — от последнего сонета к первому — не только выявляет их соответствие биографии Ратленда, но и полностью разрушает миф о сонетах Шекспира. О том, что они в основном о любви. О том, что в них изображен треугольник, двое членов которого придерживались нетрадиционной ориентации и спорили о женщине. (Гомосексуальность автора как ключ к сонетам первым предложил Оскар Уайльд.) Версия Н. Сапрыгиной намного значительнее и трагичнее. Эпоха Шекспира — это время казней, доносов, пыток и сломанных судеб. История прошла и через судьбу Ратленда. Он участвовал в восстании против королевы Елизаветы, скорее, не по собственным убеждениям, а потому, что был другом лидера восставших графа Эссекса. И вместе с Эссексом и своим покровителем и другом Саутгемптоном вышел на площадь с вооруженными отрядами сторонников. А потом арест, допросы, пытки, суд. Эссексу и четверем его соратникам отрубили головы во дворе Тауэра на глазах у других осужденных по его делу. Еще несколько человек предали казни через потрошение на площади Тайберн. Ратленда через девять месяцев заключения в Тауэре отпустили на волю, назначив колоссальный штраф. Граф Саутгемптон вышел на свободу только после смерти королевы Елизаветы в 1603 году по амнистии короля Иакова I. Исследователи творчества Шекспира отмечают, что именно с 1601 года в творчестве поэта наблюдается резкий перелом в сторону трагического мироощущения. В биографиях других кандидатов на авторство, кроме Ратленда, в это время не происходило трагических поворотов. В 1603 году была впервые опубликована трагедия «Гамлет». И снова важная деталь: король назначил Ратленда главой делегации, посланной в Данию по случаю рождения наследника датского престола. В 1604 году вышло второе, увеличенное издание «Гамлета», где появились детали, относящиеся к дворцу датского короля. Н. Сапрыгина дает и свой перевод некоторых сонетов Шекспира (а каждый перевод — это вклад в культуру), и свои комментарии к ним. И вместо сомнительного любовного треугольника открывается истинная драма. Самое главное и страшное событие в жизни Ратленда — восстание и судьба друзей. И в сонетах — отсылки к казням, воспоминания и печаль о погибших друзьях, переживания о разрыве дружбы с графом Саутгемптоном, считавшим отпущенного на свободу Ратленда предателем. Барду было что шифровать в своих сонетах: даже спустя годы упоминать имена «преступников» запрещалось. Да и сонет 116 — это не воспевание союза двух гомосексуалистов, как любят сейчас комментировать, а посвящение свадьбе графа Ратленда и Елизаветы Сидни. Само слово *marriage* (женитьба) — предполагает бракосочетание мужчины и женщины, а не объединение в метафорический или реальный союз двух гомосексуалистов, в XVII веке однополых браков не было. Отзвуки жизни Елизаветы Сидни и таинственной истории ее мнимой смерти Н. Сапрыгина находит в пьесах «Отелло», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Много шума из ничего», «Буря». Отдельные главы книги посвящены реальным и фальсифицированным изображениям Барда, подтверждающим версию, что Шекспир — это Ратленд. Несколько в стороне от основной линии исследования находятся два эссе о шекспировской теме в творчестве Михаила Булгакова и Александра Грина.

**Шамиль Куряев. Русский хлеб в жерновах идеологии. СПб.: Алетейя, 2019. — 386 с.**

Сыт человек или голоден? — ключевой вопрос бытия, утверждает Шамиль Куряев, и ответ на него является определяющим при оценке любой исторической эпохи. Отсюда повышенное внимание представителей противоборствующих идейных лагерей к продовольственной проблеме. Идеинная борьба сопровождается активным историческим

мифотворчеством. Размах маятника умело создаваемого общественного мнения велик. Так, в конце 1980-х — начале 1990-х в ходе демонтажа советской системы «все знали» ужасный Советский Союз и процветающую Российскую империю, а уже к концу «лихих девяностых» возник постперестроечный синдром: «потерянным раем» и ностальгически вспоминаемым «золотым веком» оказался Советский Союз, а его антитеза — Российская империя — была обречена обернуться адом. Главными разработчиками и распространителями черной легенды о дореволюционной России, в том числе мифа о голоде в дореволюционной России, автор считает «несоветчиков», поборников «советского ренессанса». Он подчеркивает, что своей книгой хотел противостоять активно-му историческому мифотворчеству, базирующемуся на предвзятых публицистических работах, конъюнктурной беллетристике и манипуляциях с официальной статистикой. Острая полемика с несоветчиками, разбор их трудов — основное содержание книги. Автор идет «след в след» за современными авторами (М. Калашников, И. Пыхалов, П. Краснов, С. Нефедов). Приводит обширные цитаты, опровергает их интерпретации дореволюционных публицистических произведений, воспоминаний современников, статистических данных. Критическому разбору подвергаются и публицистические труды известных дореволюционных авторов, наиболее часто цитируемых «несоветчиками»: «ниспровергателя и анархиста» Л. Толстого, «социалиста-утописта» А. Энгельгардта, «непоколебимого монархиста» И. Солоневича. Ш. Куряев дает этим авторам убийственные характеристики, но и восстанавливает купюры в цитатах из их произведений, допущенные современными авторами. Куряев — автор едкий, задиристый. Вот его ответ на заявление историка-математика С. Нефедова, что одной из главных причин голода в дореволюционной России была прожорливость лошадей, из-за чего хлеба для самих крестьян не оставалось: «Ведь к мужицкому столу, отталкивая крестьянских детей, протискивались прожорливая лошадь!.. — Попробовал бы какой-нибудь горожанин кормить свою лошадь „в основном зерном“, она бы у него быстро околела — либо от заворота кишок, либо от ламинита». По мнению Куряева, современные российские несоветчики ведут свою работу по двум основным направлениям: всемерное возвеличивание СССР и беспощадная критика дореволюционной России. И появление в постсоветской России мифа о голоде в дореволюционной России не случайно. Слишком много в перестроечные и постперестроечные годы появилось страшной правды о голоде в Поволжье в 1921—1922 годах, о голодоморе 1932—1933 годов, о голоде во время ленинградской блокады и послевоенном голоде 1946—1947 годов. Опровергнуть это невозможно, поэтому для ослабления воздействия негативной информации утверждается, что «при царе было еще хуже». Еще одна цель: доказать, что Россия Николая II была обречена на революцию. Автор представил и свое видение исторических событий, связанных с голодом. Он подробно, со статистическими выкладками, в сравнении с другими странами, рассматривает место Российской империи в мировой хлеботорговле, состав импорта и экспорта, распределение выручки, структуру посевных и урожайность в России и других странах, истинное положение русского крестьянина и подлинные проблемы в аграрном секторе России. Отмечает нюансы статистического учета в России, тогда не совершенного. Так, по его мнению, надо учитывать факт занижения крестьянами показателей урожайных данных (меньше урожайность — ниже подати), в то время как в СССР показатели урожайности завышались. Подробно освещены события 1891—1892 годов, вошедшие в историю под названием Царь-голод: конкретные меры администрации, пусть и не всегда эффективные, деятельность либеральной общественности, сведенная лишь к критике администрации. Статистика показывает, что умирали не от голода, а от болезней, поражавших ослабленные организмы (сыпной тиф, дизентерия, холера, оспа), из-за потребления

в пищу некачественных продуктов и суррогатов. Подробно рассмотрена и продовольственная ситуация в России и Германии во времена Первой мировой войны. Интересное «филологическое» замечание: в предреволюционную эпоху слово «голод» имело гораздо более широкое значение, нежели сегодня. Так называлась всякая обозначившаяся нехватка каких-либо видов сырья, промышленных и сельскохозяйственных товаров, продовольствия или хотя бы скачкообразный рост цен на них. Сегодня подобные проблемы обозначаются словами «дефицит», «нехватка» «подорожание», «перебои», но никак не «голод». Применительно к сельскому хозяйству и продовольствию слово «голод» обозначало просто сильный неурожай, недород и — как следствие — значительный недостаток собственных зерновых (в той или иной местности). Это надо учитывать при обращении к дореволюционным источникам, где говорится о голоде. Автор проводит параллели между «голодом» в дореволюционной России и в СССР, и если в имперской России голод был вызван не политическими решениями, а стечением крайне неблагоприятных природно-климатических факторов и, как следствие, неурожаем, то в СССР причины его рукотворные. Советская аграрная политика, да и вообще СССР вызывают у автора полное неприятие. Ш. Куряев постоянно подчеркивает, что изучать надо факты, а не их политическую интерпретацию, и делится историческими сведениями о голодных годах в истории нашего государства.

Публикация подготовлена  
**Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

Редакция благодарит за предоставленные книги  
Книжную Лавку Писателей  
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,  
[www.lavkapisateley.spb.ru](http://www.lavkapisateley.spb.ru))

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## РОССИЯ И ЗАПАД

### Об отношении Православной церкви к инославным вероисповеданиям

#### Часть 1

Для того чтобы составить объективное мнение по этому вопросу, следует привести авторитетное для Православной Церкви высказывание святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского (1821—1867), причисленного ныне к лику святых Русской православной церкви. В своей книге «Разговоры между испытующим и уверенным в Православии Греко-Российской Церкви» (СПб., 1815), этот авторитетнейший богослов писал: «Никакую Церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложной. Христианская Церковь может быть либо чисто истинной, исповедующей истинное и спасительное Божественное учение без примешения ложных и вредных мнений человеческих, либо нечисто истинной, примешивающей к истинному и спасительному веры Христовой учению ложные и вредные мнения человеческие»<sup>1</sup>. По учению святителя Филарета, «одесную часть» нынешнего христианства составляет «Восточная его половина», или, что то же, «Святая Восточная Церковь». Другая же половина нынешнего христианства — это «разномыслящие Церкви», или «западные» христиане, и в их числе Западная церковь, или «Церковь Римская». Сказав о «двух половинах нынешнего христианства», святитель заявляет: «Изъявленное мною справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не простирается до суда и осуждения западных христиан и Западной Церкви». Святитель утверждает: «Как Восточная, так и Западная Церковь «равно суть от Бога», поскольку они имеют один общий дух, который от Бога есть»<sup>2</sup>.

В начале XX века Константинопольская Патриархия обратилась к Поместным православным церквям с посланиями, в которых для обсуждения были предложены различные вопросы, в том числе и об отношении к инославным Церквям. (Тогдашнее положение Константинопольского Патриарха в исламской Турции было неустойчиво, и он стремился заручиться поддержкой влиятельных европейских держав.) В ответном

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

<sup>1</sup> Разговоры между испытующим и уверенным в Православии Греко-Российской Церкви. СПб., 1815. С. 28—29.

<sup>2</sup> Цит. по: Православие и экуменизм. М., 1998. С. 21—22.

послании к Вселенской Патриархии от 25 февраля 1903 года было сказано: «Что касается наших отношений к двум великим разветвлениям христианства — латинянам и протестантам, то Российская Церковь вместе со всеми Автокефальными Православными Церквями всегда молится, ждет и пламенно желает, чтобы эти некогда чада Матери-Церкви и овцы единого стада Христова, а теперь завистью вражиею отторгнутые и заблудшие, «покаялись и пришли в познание истины», чтобы они снова возвратились в лоно Святой Соборной и Апостольской Церкви, к своему Единому Пастырю», — писали члены Синода, обращаясь к Константинопольскому Патриарху<sup>3</sup>.

Своеобразным комментарием этой части Ответного послания могут быть строки, принадлежащие перу Н. А. Бердяева и помещенные в сборнике «Православие и экуменизм». В своей статье «Вселенскость и конфессионализм» русский философ так рассматривает поставленную проблему: «Не только для католиков, но и для всякого человека, видящего в своей конфессии абсолютную полноту истины, остается лишь вопрос о личном обращении других в эту конфессию. Католики понимают под соединением Церквей присоединение к Католической Церкви. Но также и православные понимают под соединением Церквей присоединение к Православной Церкви <...> Для православных и католиков само словосочетание „соединение Церквей“ неточно и двусмысленно, ибо они верят в существование единой видимой Церкви»<sup>4</sup>.

Возвращаясь к тексту Ответного послания 1903 года, можно привести тот его абзац, в котором выражается надежда на сближение с христианами Запада, как с католиками, так и с протестантами. «Мы верим искренности веры их во Пресвятую и Живоначальную Троицу и потому принимаем крещение тех и других, — отмечается в тексте послания. — Мы чтим апостольское преемство латинской иерархии и приходящих к нашей Церкви клириков их принимаем в сущем их сане <...> „Сердце наше расширено“ (2 Кор. 6,11), и все возможное готовы мы сделать, чтобы способствовать утверждению на земле вожделенного единства»<sup>5</sup>.

В документах папской канцелярии данная проблема излагалась «с точностью до наоборот», и, комментируя это обстоятельство, Н. А. Бердяев пишет: «В прошлом попытки унии между католичеством и православием носили совсем внешний характер, церковно-правительственный, и совершались без внутреннего духовного единения. Эти унии обыкновенно приводили к обратным результатам и вызывали еще большую вражду. Нигде нет такой вражды между православными и католиками, как в странах, в которых есть униатство. Очень характерно, что максимально отталкивают православных те католики, которые являются специалистами по восточному вопросу и по Православию, профессионалы так называемого «соединения Церквей»<sup>6</sup>.

Несмотря на межконфессиональную полемику, имевшую место в начале XX века, в отечественных богословских кругах бытовало благожелательное отношение к Римско-католической церкви, как части Древней неразделенной церкви. Так, по словам профессора С.-Петербургской духовной академии прот. И. Л. Янышева, «в римском католицизме, несмотря на новый его догмат о непогрешимости и всевластии пап, не верующих ему осуждающий на вечную гибель, Православная Церковь до сих пор признает полноту благодати даже священства, раздающего дары благодати во всем мире»<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Ответное послание Святейшего Правительствующего Синода ко Вселенской Патриархии (25 февраля 1903 г.) // Церковные ведомости, 14 июня 1903 г, № 24, С. 252—256.

<sup>4</sup> Бердяев Н. А. Вселенскость и конфессионализм // Сборник «Христианское воссоединение». Париж: ИМКА-Пресс, 1933. С. 63—81.

<sup>5</sup> Ответное послание. С. 57.

<sup>6</sup> Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 143—144.

<sup>7</sup> Янышев И. Л., прот. Новые официальные и другие данные для суждения о вере старокатоликов // Оттиск из «Церковного вестника» за 1902 г. СПб., 1902. С. 6.

Дальнейшему развитию православно-католических связей помешала Первая мировая война и последовавшие за ней социальные изменения в России. Тем не менее о стремлении к восстановлению утраченного единства свидетельствовал из-за «железного занавеса» заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергей (Страгородский). В годы массовых гонений на Церковь он нашел время и силы уделить внимание проблеме христианского единства. Этому посвящена статья митрополита Сергея, опубликованная в «Журнале Московской Патриархии» в 1931 году под названием «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам». «Одно и то же исповедание трактуется Церковью различно не только в различные периоды времени, но и одновременно различными Поместными Церквами различно, и, что особенно требует внимания, это различие не ведет к разрыву общения, — писал будущий патриарх. — Для примера можно указать на западные исповедания. При патриархе Филарете (1619–1633. — *Авт.*) наша Русская Церковь всех западных христиан перекрещивала, а теперь мы (и Церковь Сербская) протестантов принимаем через миропознание, а латинян конфирмованных — через покаяние, причем латинские священники признаются в сущем сани»<sup>8</sup>.

Из вышесказанного следует, что отечественные богословы оценивали православно-католические отношения с позиции *икономии*. Что же касается Зарубежной Русской православной церкви (РПЦЗ), то ее чада составляют меньшинство в инославном окружении, и вполне понятно, что они занимают в этом отношении более жесткую позицию (*акривия*). Вот как она изложена на страницах одного из печатных изданий РПЦЗ.

Русская православная церковь строго придерживается изложенного в Символе веры учения, что Церковь Христова едина. Как Тело Христово и единственный ковчег спасения, как столп и утверждение истины, Церковь никогда не разделялась и не исчезала, но всегда на протяжении всей истории христианства преподавала чистое учение Евангелия в изобилии благодатных даров Святого Духа.

Имея повеление от Самого Господа Иисуса Христа, Церковь призвана осуществлять свою апостольскую миссию «проповедовать Евангелие всей твари» (Мк. 16. 15). Поэтому на протяжении своей тысячелетней истории Русская церковь просвещала светом Христовой правды как те народы, среди которых она находилась, так и народы окрестных стран. Одновременно она стремилась к возвращению в спасительное лоно Церкви отделившихся христиан других исповеданий и с этой целью еще в XIX веке создавала особые комиссии для диалога с ними, принимая при этом во внимание различие в степени их удаленности от веры и практики Древней церкви.

Православная церковь исключает всякую возможность литургического общения с инославными христианами. В частности, представляется недопустимым участие православных в литургических действиях, связанных с так называемыми экуменическими, или межконфессиональными, богослужениями. В целом же формы взаимодействия с инославием Церковь должна определять на соборной основе, исходя из своего вероучения, канонической дисциплины и церковной целесобразности.

При этом не отвергается возможность сотрудничества с инославными, например, в деле помощи обездоленным и защиты гонимых, в совместном противостоянии безнравственности, в осуществлении благотворительных и образовательных проектов. Уместным может быть и участие в общественно значимых церемониях, в которых представлены и другие конфессии. Кроме того, диалог с инославными остается необходимым для свидетельства им о православии, для преодоления предрассудков и опровер-

<sup>8</sup> Сергей (Страгородский), митрополит. Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам // Журнал Московской Патриархии, 1931, № 2—4. Цит. по: Православие и экуменизм... С. 90.

жения ложных мнений. При этом не следует сглаживать и затуманивать реально существующие различия между православием и иными вероисповеданиями<sup>9</sup>.

Все попытки сближения или диалога между православными и инославными, предпринимавшиеся в России на протяжении нескольких столетий, были обусловлены социально-политическими факторами. Именно это обстоятельство препятствовало обеим сторонам достигнуть полного единства в вере. Как писал Ф. М. Достоевский, «все то, чего желают в Европе, все это давно уже есть в России, по крайней мере, в зародыше и в возможности, и даже составляет сущность ее в том виде, в каком и должны эти идеи всемирного человеческого обновления явиться: в виде Божеской правды, в виде Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на земле и которая всецело сохраняется в Православии»<sup>10</sup>.

### **СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ И ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ**

О жизни святых просветителей славян имеется много исследований, но в отечественной церковно-исторической литературе сравнительно мало места уделялось важному вопросу: к какой Церкви принадлежали свв. братья — Восточной или Западной? Этот вопрос особенно актуален в наше время — эпоху развивающихся межхристианских связей и в связи с продолжающимся всеправославно-католическим диалогом.

Как известно, значительную и плодотворную часть своей жизни свв. Кирилл и Мефодий провели на Западе — в Моравии. Именно здесь они отстаивали главный принцип своей деятельности — сохранение и развитие славянского богослужения. Прибыв в Моравию в период начала борьбы между главами Римской и Константинопольской церквей, свв. Кирилл и Мефодий пришли в страну, которая в то время уже несколько отличалась от Востока в своем церковном развитии. В связи с этим встает вопрос: как отнеслись свв. Кирилл и Мефодий к тем церковным новшествам на Западе, с которыми они здесь встретились, приняли ли они их или остались верны верованиям и обычаям Восточной церкви? Далее возникает и другой вопрос: были ли свв. Кирилл и Мефодий приверженцами римского папы и, молясь о единомыслии славян, имели ли они в виду Рим и папу как основу для воссоздания единства?

Таким образом имена свв. Кирилла и Мефодия призваны объединять славян между собой и в то же время могут стать причиной церковных нестроений. Эта проблема должна быть проанализирована, поскольку еще в середине XIX века появился целый ряд католических писателей: Гинцель (Ginzel), Ракки (Racki), Стульц (Stulz), Билий (Bily), Леже (Leger), которые проводили ту мысль, что хотя свв. Кирилл и Мефодий и вышли из лона Восточной церкви, но они перенесли свою деятельность на Запад, посвятили ему все свои силы, приняли все особенности западного вероучения, вступили в тесные отношения с римскими папами и всю жизнь оставались их ревностными приверженцами.

И эти предположения не оставались лишь уделом научных дискуссий; так, например, папа Лев XIII (1878—1903) хорошо понимал, какое значение для славянского мира имеют свв. Кирилл и Мефодий, он считал, что, связав эти имена с Римом, он крепче привяжет к ней униатов из западных славян, и, может быть, надеялся на то, что и православные славяне («схизматики») после этого будут лучше расположены к римскому престолу. В 1880 году свв. Кирилл и Мефодий были признаны святыми Римско-католической церкви, их имена были внесены в католические календари для молитвенного поминовения.

<sup>9</sup> Вестник Германской епархии, № 4, 2005. С. 19—20.

<sup>10</sup> Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 г. СПб., 1895. С. 217.

В том же 1880 году папа Лев XIII издал энциклику, в которой объявил о канонизации свв. Кирилла и Мефодия. «Исполняя высокий долг проповедания христианства, — таковы были начальные слова энциклики, — римские первосвященники всегда посылали проповедников святого Евангелия к разным народам. Подобно этому, дело совершенная апостольской обязанности они поручили Кириллу и Мефодию, мужам святейшим».

Далее папа Лев XIII писал: «Хотя оба проповедника христианства, о которых мы говорим, вышли к языческим народам из Византии, однако их миссия совершалась или прямо по распоряжению апостольской кафедры, или, что случалось чаще, с ее одобрения». Именно в Риме, по словам папы, родилась мысль предпринять дело просвещения славян; здесь свв. братья клялись в верности римскому престолу, здесь они были посвящены в епископский сан и получили право посвящать и других. Здесь же, наконец, папой Иоанном VIII (872—882) было одобрено богослужение на славянском языке.

В заключение своего послания папа Лев XIII повелевал внести имена свв. Кирилла и Мефодия в римские календари, заботиться о неукоснительном соблюдении всего написанного в энциклике и убеждал всех христиан молиться свв. братьям, «чтобы они споспешествовали христианскому делу на всем Востоке и возвращению согласия Востока с волей истинной» (то есть римской. — *Авт.*).

В связи с данной темой следует рассмотреть три вопроса: 1. Можно ли в пребывании свв. братьев на Западе усматривать их разрыв с Восточной православной церковью и ее традициями, 2. Как относились свв. Кирилл и Мефодий к догматическим верованиям, обрядам и традициям Запада, 3. Каковы были отношения свв. Кирилла и Мефодия к западной церковной иерархии.

Одним из важных письменных источников, которым следует воспользоваться при анализе данных вопросов, являются так называемые «Паннонские жития» свв. Кирилла и Мефодия. Автор «Паннонских житий» исповедует догматы веры согласно учению Восточной церкви, с почтением говорит о Византии, но он же с уважением относится и к Западу, и, в частности, к римскому папе. Таким образом, кроме фактической достоверности, «Паннонские жития» обладают ценным качеством — беспристрастностью и объективностью.

Как повествуется в «Паннонских житиях», в конце 862 года из Моравии в Константинополь прибыло посольство с просьбой направить в Моравию миссионера, который мог бы научить местных жителей истинам христианской веры на их языке. Посольство было принято радушно, и выбор пал на Кирилла как на человека, знавшего славянский язык и имевшего миссионерский опыт. В помощники ему был назначен его родной брат Мефодий. Свв. Кирилл и Мефодий, составив славянскую азбуку и переведя на славянский язык Священное Писание, отправились в Моравию. Путешествие в Моравию — это первый шаг в их деятельности в отношении Запада, где им было суждено потрудиться на благо Православной церкви.

Необходимо учитывать стремление моравов к церковной независимости. Дело в том, что после завоевания Карлом Великим (742—814) южнославянских княжеств, с конца VIII века Моравия была подчинена в церковном отношении ведению зальцбургского епископа. Ко времени деятельности свв. Кирилла и Мефодия в Моравии эта область в церковном отношении по-прежнему была разделена на несколько епархий, подчиненных зальцбургскому архиепископу<sup>11</sup>.

Но утверждая свою власть над Моравией, латинское духовенство мало заботилось о просвещении народа светом христианского учения, так что даже в середине IX века Майнцский собор (852 г.) называл христианство моравов «грубым». Заботы латинского духовенства склонялись не столько к распространению христианства в Моравии, сколь-

<sup>11</sup> Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий по документальным источникам. СПб., 1869. С. 56.



ко к сбору десятины. Кроме того, в средние века церковная зависимость влекла за собой и потерю политической самостоятельности<sup>12</sup>. Таким образом, обращаясь в Константинополь, моравский князь Ростислав рассчитывал получить епископа, который был бы независим от Зальцбурга. Такое стремление ясно выражается в речи моравского посла, обращенной к императору: «да посли ны, владыко, **епископа** и учителя такового», — здесь содержится просьба о епископе.

В ту эпоху церковно-политическая ситуация в Центральной Европе была сложная. В это время начались споры между Константинопольским Патриархом Фотием и Римским Папой Николаем I по поводу притязаний папы на Болгарию<sup>13</sup>. В связи с этим некоторые католические исследователи утверждали, что свв. Кирилл и Мефодий, не желая участвовать в споре между Константинополем и Римом (причиной которого они якобы считали действия патриарха Фотия), удалились на Запад под папское покровительство.

Но нельзя считать, что причиной прихода свв. братьев на Запад был раскол между Церквями, виновником которого свв. братья якобы считали Константинопольскую церковь, а точнее — патриарха Фотия. В то время когда в Константинополь прибыло моравское посольство (то есть в конце 862 года), еще только начали выясняться притязания папы Николая I, но никаких решительных действий ни со стороны Константинополя, ни со стороны Рима еще не последовало, и эти события никак не могли повлиять на свв. Кирилла и Мефодия при их отправлении в Моравию.

Будучи в церковном единении с Константинопольской церковью, свв. Кирилл и Мефодий отправились на Запад, но они не выходили из юрисдикции Константинопольского Патриархата. И впоследствии свв. Кирилл и Мефодий сохранили свои симпатии к родине на протяжении всей своей жизни и выражали их при каждом удобном случае. Даже кончина св. Кирилла в Риме может дать свидетельства о постоянном единении свв. братьев с Востоком. Погребение св. Кирилла (869 г.) было совершено весьма торжественно. Папа пригласил на него всех бывших в то время в Риме греков и тем самым засвидетельствовал, что св. Кирилл был для них близким по духу человеком.

Еще одним свидетельством непрерывавшихся духовных связей свв. братьев со своей Церковью служит путешествие св. Мефодия в Константинополь, которое он предпринял незадолго до своей кончины по приглашению византийского императора и патриарха Фотия. Император принял св. Мефодия со всеми почестями и одобрил его учение и деятельность: «и из его учеников удержал священника и диакона с книгами и, много одарив, проводил его опять со славою до его местопребывания. Также и патриарх» (Житие св. Мефодия, гл. 13). Слова «также и патриарх» доказывают отсутствие разрыва свв. братьев с патриархом Фотием. Как и при их отправлении в Моравию, так и при возвращении св. Мефодия Константинопольским Патриархом был тот же Фотий. Это доказательство настолько очевидно, что некоторые католические ученые даже подвергли сомнению подлинность «Паннонского жития» именно на том основании, что не допускали мысли, что св. Мефодий предпринял путешествие в Константинополь только «для того, чтобы поклониться Фотию, главному деятелю византийской схизмы».

«Паннонское житие» сохранило еще одно упоминание о духовной связи св. Мефодия с Востоком, а именно — в повествовании о кончине св. Мефодия. Там говорится следующее: «Когда же все люди собрались в церковь, больной благословил царя, князя, духовенство и весь народ» (Житие св. Мефодия, гл. 17). Таким образом, в свои последние минуты жизни перед смертью св. Мефодий не забыл проститься со всеми близкими ему людьми, но о папе он не упомянул ни одним словом. При погребении св. Мефодия

<sup>12</sup> Голубинский Е. История Русской Церкви. М., 1880. Т. 1. Ч. 2. С. 293.

<sup>13</sup> См.: Лебедев А. П. Римская и Византийская Церкви в их взаимных отношениях и спорах в IX, X и XI вв. М., 1875. С. 25–26.

богослужение было совершено на трех языках: латинском, славянском и греческом. Богослужение на двух первых языках вполне понятно: латынь на Западе была во всеобщем употреблении, славянский язык был введен в богослужение самим св. Мефодием, и было необходимо почтить его память богослужением на этом языке. Совершение же богослужения на греческом языке может быть объяснено тем обстоятельством, что св. Мефодий был в постоянном союзе с Греческой церковью.

О том, что Западная церковь считала свв. братьев принадлежавшими Востоку, можно видеть и при анализе некоторых памятников древнего искусства. Можно упомянуть про изображение, сохранившееся до настоящего времени в древнем римском храме св. Климента. Над входными дверями на стене имеются изображения свв. Кирилла и Мефодия, «оба изображены епископами, в облачении Восточной Церкви, оба держат епископский посох, наподобие посохов греческих, загнутых с обеих сторон». Это изображение датируется временем до XIV века, и это говорит о том, что в то время на Западе еще не обособляли свв. Кирилла и Мефодия от Восточной церкви и изображали их так, какими их запомнили по преданию.

Еще одно подобное доказательство было обнаружено в той же церкви Св. Климента в Риме. В 1858 году здесь были открыты стены и колонны древней базилики. На них были видны фрески, изображающие все основные эпизоды жизни свв. Кирилла и Мефодия. На них свв. братья также изображены в облачении Восточной церкви<sup>14</sup>. Одна из фресок представляет св. Мефодия, крестящего через погружение одного славянина. Св. Мефодий изображен с нимбом, в архиепископском омофоре, он возлагает руки на молодого славянина, который стоит в реке по пояс; фреска датируется IX—XI веками. Это изображение подтверждает, с одной стороны, что свв. Кирилл и Мефодий совершали крещение через погружение, то есть по греческому обряду, а с другой — показывает, что тогда это признавала и ничего странного в этом не видела и Западная церковь, поскольку она считала свв. братьев членами Восточной церкви.

Следует также рассмотреть догматические воззрения свв. Кирилла и Мефодия, и это важно сделать по следующей причине. Хотя в IX веке в Западной церкви было еще довольно мало отличий в вероучении по сравнению с Востоком, однако в это время начали уже выявляться различия Западной и Восточной церквей в догматическом и обрядовом отношениях. Так, в IX веке учение об исхождении Св. Духа *и от Сына (Филиокве)* уже почти повсеместно утвердилось на Западе, хотя еще не было официально внесено в Символ веры. Поэтому необходимо выяснить отношение свв. Кирилла и Мефодия к такого рода отклонениям Западной церкви от православного вероучения.

Основное место в этом отношении принадлежит учению об исхождении Св. Духа. Как известно, в первый раз учение об исхождении Св. Духа и от Сына (*Филиокве*) появилось в Испании в VI веке для противодействия арианам и долгое время не выходило за пределы Испании. Но в конце VIII или в начале IX века учение о Филиокве перешло во Франкскую церковь, несмотря на то, что многие западные богословы считали это прибавление к Символу веры нарушением святоотеческих определений. В начале IX века это учение стало проникать в Римскую церковь при активном участии императора Карла Великого, который был противником Византии. Но не все папы рассматриваемого периода принимали Символ веры с добавлением Филиокве.

В связи с этим необходимо выяснить, как относился к Филиокве папа Иоанн VIII (872—882), поскольку имя этого папы тесно связано с именем св. Мефодия по вопросу о Филиокве. Именно перед этим папой св. Мефодий был обвинен латинским духовен-

<sup>14</sup> См.: Воронов А. Д. Главнейшие источники истории свв. Кирилла и Мефодия. Киев, 1877. С. 309—311. См. также: А. П. Письмо из Рима (О раскопках в базилике св. Климента с целью отыскать мощи св. Кирилла) // Духовная беседа, 1863, т. XIX, № 46. С. 475—481.

ством в неправославии и этим же папой он был оправдан. Можно привести слова папы Иоанна VIII из его послания к патриарху Фотию по случаю Константинопольского собора 879 года. На этом соборе, в частности, был затронут вопрос и об исхождении Св. Духа. По этому поводу папа писал патриарху Фотию: «Твое братство (так папа обращается к патриарху. — *Авт.*) знает, что бывший незадолго перед этим ваш посланный, испытав нас касательно святого Символа, нашел, что мы соблюдаем его целым, каким он изначала предан нам, ничего не прибавляя и не убавляя, ибо знаем, сколь тяжкое осуждение ожидает осмелившихся это сделать. Итак, чтобы успокоить вас относительно того члена (Символа веры), который был причиной соблазна в Божиих Церквах, еще раз объявляем твоей честности, что мы не только не произносим его (Филиокве), но и осмелившихся по безрассудству сделать это, осуждаем как нарушителей божественных словес и искажителей богословия Владыки-Христа, апостолов и отцов»<sup>15</sup>.

Эти слова папы Иоанна VIII свидетельствуют о том, что он не считал возможным допустить официальное добавление к Символу веры. Что касается св. Кирилла, то ни один письменный источник, современный свв. братьям, не дает указаний относительно того, как он смотрел на вставку Филиокве. Дело в том, что первый период своей жизни он провел на Востоке, где вообще ничего долгое время не знали о Филиокве. А сравнительно небольшой период времени, проведенный им на Западе, не представил ни одного известного нам случая, который дал бы ему повод высказать православный взгляд на Филиокве. Но помня о тех духовных связях, которые имел св. Кирилл с патриархом Фотием, несомненно то, что он никогда не забывал наставлений своего учителя. Если же вспомнить, с какой активностью противодействовал патриарх Фотий введению Филиокве в Болгарии, то можно не сомневаться в том, что и его ученик так же твердо усвоил православное учение об исхождении Св. Духа от Отца.

Что касается позиции св. Мефодия по этому вопросу, то она тем более не подлежит сомнению, так как засвидетельствована документальными источниками, современными свв. братьям. Прежде всего подтверждение православных взглядов св. Мефодия по вопросу о Филиокве можно найти в том, что православное учение об исхождении Св. Духа высказывает один из его непосредственных учеников — автор «Паннонских житий». В предисловии к житию св. Мефодия автор, изложив кратко учение о Святой Троице, так говорит о Св. Духе: «От Того же Отца и Св. Дух исходит, яко же рече Сам Божиим гласом: „Дух истинен, иже от Отца исходит“» (Житие св. Мефодия, гл. 1). Ранее это учение, несомненно, засвидетельствовал сам св. Мефодий и передал его своим ученикам, один из которых и выразил православные воззрения своего учителя по этому вопросу.

Другое, но уже не косвенное, а прямое доказательство православных воззрений св. Мефодия по вопросу о Филиокве приводит тот же его ученик, повествуя о борьбе св. Мефодия с латинским духовенством во время пребывания св. Мефодия в Моравии. В житии, в частности, говорится следующее: «Сих же всех не терпя старый враг, въздвиже некая на нь... овы яве, а другая таи, иже болят *иопаторьскою ересью*, и слабейшая со-вращают к себе с правого пути, глаголюще: нам есть папеж власть, а сего велит вон изгнати и учение его» (Житие св. Мефодия, гл. 12).

Автор жития ясно различает, с одной стороны, латинское духовенство с его «иопатрьской ересью», а с другой — св. Мефодия и его учение. Под «иопатрьской ересью», с которой не было согласно учение Восточной церкви, подразумевается мнение об исхождении Св. Духа от Отца и Сына (греч. — *Иу кз Патрос*)<sup>16</sup>, которое в то время уже широко было распространено среди западного духовенства. Настаивая на этом ложном

<sup>15</sup> Цит. по: «Духовная беседа», 1859, кн. 7. С. 2—3.

<sup>16</sup> Платонов И. В. Антиэнциклика или братское слово православного славянина к славянам католикам. Харьков, 1882. С. 403.

учении, латиняне встретили, как повествует автор «Паннонских житий», отпор со стороны св. Мефодия.

Указания на православные воззрения св. Мефодия по вопросу о Филиокве содержатся и в древних церковных текстах служб свв. Кириллу и Мефодию, составленных вскоре после написания «Паннонских житий», послуживших для них источником. Так, в службе свв. Кириллу и Мефодию по одному из списков, есть следующий тропарь: «Мефодие блаженне... от Отца Утешителя не от Сына яве глаголя исходяща»<sup>17</sup> (2-й тропарь). Тропарь подобного же содержания находится и в списке, найденном ректором Московской духовной академии прот. А. В. Горским в Московской Синодальной библиотеке, где говорится: «Ересьм всем противьн явися благодатию Мефодие, достойными ответы (от) Отца Параклита исходяща, а не Сыноу глаголя нъ равньством Троицю чести исповедающе»<sup>18</sup>. Прот. А. В. Горский так переводит этот тропарь: «Благодатию Божиею ты против всех ересей дал достойный ответ, и Параклита (Св. Духа) именовал исходящим от Отца, а не от Сына, научая воздавать Троице равную честь». Вот что писал прот. А. В. Горский о содержании обнаруженного им текста тропаря: «Здесь ясно указывается на отношение св. Мефодия к возникшему тогда спору между Церквами — Восточной и Западной об исхождении Духа Святого и свидетельствуется Православие славянскаго проповедника и пастыря»<sup>19</sup>.

Показания неофициальных источников, свидетельствующие о православии св. Мефодия в учении об исхождении Св. Духа, находят подтверждение и в документальных данных. Можно упомянуть, например, о послании папы Стефана VI (885—891) к моравскому князю Святополку, написанном вскоре после смерти св. Мефодия. Похвалив Святополка за приверженность римскому престолу, папа затем старался доказать истинность учения об исхождении Св. Духа и от Сына. Затем папа переходит к воззрениям св. Мефодия: «Относительно же Мефодия, — пишет он, — мы крайне удивились, услышав, что он упорно держится суеверия, а не назидания, споров, а не мира»<sup>20</sup>.

Можно подкрепить эти сведения словами протестантских исследователей, углубленно изучавших эпоху деятельности свв. Кирилла и Мефодия. Вот что пишет один из них: «Из позднейших обстоятельств (то есть во время правления папы Иоанна VIII. — *Авт.*) с достоверностью следует, что Мефодий никогда не принимал римского учения, будто Св. Дух исходит от Отца и Сына»<sup>21</sup>. Такой же вывод делает и другой протестантский ученый, проводивший свои исследования в середине XIX века: «Мы не смеем сомневаться, — пишет он, — что Мефодий в учении об исхождении Св. Духа следовал Греческой Церкви, и поэтому вступил в резкое противоречие с франкским духовенством»<sup>22</sup>.

Но со стороны католических богословов следует утверждение, что если бы св. Мефодий не исповедал бы Символ веры с Филиокве, то папа никогда не возвел бы его в сан епископа Западной церкви<sup>23</sup>. Необходимо ответить и на эти доводы. Действительно, уже в Древней церкви при посвящении в епископский сан от кандидата требовалось официальное исповедание веры. О св. Мефодии известно, что он при вступлении в этот сан устно и письменно (*verbis et litteris*) излагал свое исповедание веры. Но дело в том, что в официальном исповедании веры обыкновенно излагалось не частное уче-

<sup>17</sup> Кирилло-Мефодиевский сборник М., 1866. С. 251.

<sup>18</sup> Там же. С. 294.

<sup>19</sup> Там же. С. 282.

<sup>20</sup> Цит. по: Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 142.

<sup>21</sup> Wattenbach. Beitrage zur Geschichte der christlichen Kirche in Mahren und Bohmen. Wien, 1849. S. 23.

<sup>22</sup> Dummler. Die Pannonische legend vom Heiligen Methodius. Archiv fur Kunde osterreichischer Geschichtsquellen. Wien, B. XIII, 1854. S. 195.

<sup>23</sup> Racki. Wiek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda. Zagreb, 1857. S. 330; Leger. Cyrille et Methode. Paris, 1868, chap. VIII. P. 141.

ние какой-либо Поместной церкви, а общецерковное, утвержденное и признанное всей Вселенской церковью, и пока какое-либо богословское мнение не было признано истинным всей полнотой Церкви, оно не могло войти в официальное изложение веры. Этим требованием — излагать в официальных исповеданиях веры и вообще во всех официальных документах только общецерковное учение, объясняется и то, что римские папы в своих общительных грамотах воздерживались от добавления в Символ веры Филиокве. Так, папа Адриан II (867—872), по свидетельству патриарха Фотия, «Духа от Отца исходяща исповедал». Таким образом становится понятным, какие требования мог предъявить папа по отношению к св. Мефодию при посвящении его во епископа — исповедания общецерковного вероучения, а не частного мнения Западной церкви.

Разность в учении об исхождении Св. Духа составляла основное отличие Востока и Запада в рассматриваемый период времени. Другие отличия, церковно-обрядового характера, не имели такого серьезного значения, как догматические. Но если бы рассмотреть и эти незначительные отличия традиций Востока и Запада, можно было бы увидеть, что и здесь свв. Кирилл и Мефодий были приверженцами Восточной церкви.

Среди многочисленных свидетельств того, что свв. Кирилл и Мефодий держались греческого обряда, имеется послание папы Иоанна XIII (965—972) к богемскому королю Болеславу от 972 года, в котором содержится разрешение на основании епископской кафедры и женского монастыря. При этом папа в качестве необходимого условия добавляет, что «богослужение должно быть совершаемо не по обряду народов болгарского или русского, но учреждаемое епископство должно во всем следовать учреждениям и постановлениям апостольского престола»<sup>24</sup>. Отсюда следует, что обряды, введенные св. Мефодием в Богемии, не были одинаковы с римскими, но приравнивались папой к болгарским и русским и, следовательно, были близки греческим.

Упоминание о русских христианах в папском послании весьма знаменательно, что свидетельствует о том вкладе, который внесли свв. Кирилл и Мефодий в процесс первоначальной христианизации Киевской Руси. Уже при киевских князьях Аскольде и Дире, современниках свв. Кирилла и Мефодия, в Киевской Руси имелись христиане, хотя это были в основном иноземцы. Число христиан в Киевской Руси значительно увеличилось в начале X века; при князе Игоре и св. равноап. княгине Ольге здесь было много церквей, из которых киевская «соборная», церковь Св. Илии, упоминается в договоре, заключенном между князем Игорем и византийским императором в 944 году.

Но со времени правления князя Владимира христиане на Руси были не только из пришельцев. Из достоверных исторических источников известно, что Киевская Русь в IX—X веках имела международные связи не только с греками, но и с дунайскими болгарскими и угорскими русскими, уже просвещенными христианской верой от свв. Кирилла и Мефодия. Что же касается св. равноап. князя Владимира, то он решил уподобиться болгарским князьям Борису и Симеону, также просвещенными свв. Кириллом и Мефодием, и стать для Киевской Руси тем, чем были свв. братья для западных славян. Как известно, возвращаясь из похода после взятия Корсуни, князь Владимир принес в Киевскую Русь славянские богослужебные книги, тексты которых были переведены свв. Кириллом и Мефодием.

Вскоре после кончины св. князя Владимира его сын Ярослав (1019—1054) продолжил начатое его отцом дело духовного просвещения русского народа и утвердил на прочном основании дело, начатое свв. первоучителями славян. Подобно свв. братьям, князь Ярослав приступил к переводу книг «от грек на словенское письмо», по-видимому, тех, которые ранее не были переведены свв. Кириллом и Мефодием.

<sup>24</sup> Цит. по: Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 153.

Плоды христианского просвещения, воспринятого славянскими народами от святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, постоянно оказывали свое влияние на духовную жизнь Восточной Европы. Но, к сожалению, на Руси их имена на долгое время исчезли из церковного обихода. В 1862 году, когда праздновалось 1000-летие со времени основания русского государства, Русская православная церковь впервые после долгих лет забвения стала праздновать память первоучителей, просветителей славянских народов свв. братьев Кирилла и Мефодия.

...31 декабря 1980 года папа Иоанн Павел II в апостольском послании *Egregiae virtutis* провозгласил святых солунских братьев Кирилла и Мефодия сопокровителями Европы наряду со святым Бенедиктом Нурсийским. Тем самым папа напомнил о духовном единстве всей Европы, единстве, основанном на Евангелии. Важно, что папа писал об этом еще тогда, когда Европа была разделена Берлинской стеной. В энциклике *Slavorum Apostoli* (2 июня 1985 г.) Иоанн Павел II назвал святых Кирилла и Мефодия «подлинными предшественниками экуменизма» и признал неувядающую актуальность их дела, которое «может только обогащать и культуру Европы, и ее христианскую традицию и стать таким образом надежной основой ее вождельного духовного обновления». Ценность этой традиции не ограничивается историей. Святые Кирилл и Мефодий были мостом между Востоком и Западом. И по сей день они являются примером христианского универсализма, разрушающего границы, умиряющего ненависть, а людей различных рас и культур объединяющего в любви Христа, Спасителя всех людей.

# Contents

## Prose and Poetry

- Alexander Klimov-Yuzhin.** Poems • 3  
**Svetlana Rosenfeld.** *Equilibrium on the Wire. Novel* • 10  
**Vladimir Spektor.** Poems • 104  
**Oleg Zakharov.** *Fried Eggs for Two. Wet Story. Short stories* • 108  
**Alexander Sobolev.** Poems • 119

## Universe of Childhood

- Nikolay Khlestov.** *Mom Has Arrived. Short story* • 124

## Translations

- William Shakespeare.** *Sonnets. Translation by Nina Saprygina* • 127

## Memory of Victory

- Dmitry Zinoviev.** *Fear and Horror of Occupation. Documents and Statements of Residents of Pavlovsk and Gatchina* • 136  
**Yulian Frumkin-Rybakov.** *Armor of Russia* • 148

## From the Archive

- The Blockade of Lev Druskin. Foreword by Alexander Shchelkin* • 172

## Criticism and Essays

- Vladimir Aleinikov.** *Bitov: Sixties* • 184

## Petersburg Bookman

- Art of Reading.** *Vera Kharchenko. Fet and Space. Notes of a Stranger.* *Natalya Granteva. Germans in Windsor. Book Island. Elena Zinovieva's Publication* • 223

## Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** *Russia and the West. On the Attitude of the Orthodox Church Towards Non-Orthodox Religions. Part 1* • 244

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“»,  
e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 26.03.2020. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 1500 экз. Заказ № 770  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СТР  
в Первой Академической типографии «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28